

International Literary Magazine

# KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

ЛЬВОВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК

#73

KRESCHATIK  
International Literary Magazine



Международный  
литературно-  
художественный  
журнал



Главный редактор

**Борис Марковский** (*Германия*)

тел. (+49) 5631-50-31-42

Зам. гл. редактора

**Елена Мордовина** (*Киев*)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

**Андрей Коровин** (*Москва*),

**Виталий Амурский** (*Париж*),

**Борис Херсонский** (*Одесса*),

**Игорь Савкин** (*Санкт-Петербург*),

**Борис Констриктор** (*Санкт-Петербург*),

**Владимир Алейников** (*Коктебель*),

**Вальдемар Вебер** (*Аугсбург*),

**Сергей Шаталов** (*Донецк*),

**Айдар Хусаинов** (*Уфа*)

Художник

**Иван Граве** (*Санкт-Петербург*)

*Год издания девятнадцатый*

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются*

*При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна*

**Адрес редакции:**

B. Markowskij, Tränke Str. 16

34497 Korbach, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2016 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

## Поэзия

Петр Брандт / <i>СПб.</i> /	Красота	5
Григорий Вахлис / <i>Иерусалим</i> /	«Не снится мать...»	25
Дмитрий Близнюк / <i>Харьков</i> /	«Пыль на стеклах...»	72
Михаил Наумов / <i>Берлин — Киев</i> /	«В туманной и морозной мгле...»	85
Ия Кива / <i>Донецк — Киев</i> /	«Не ходи на кладбище...»	99
Жанна Сизова / <i>Лондон</i> /	Куратор пустоты	124
Борис Левит-Броун / <i>Верона — Киев</i> /	«Тишина. Закрывать глаза?..»	152
Валерий Юхимов / <i>Одесса — Киев</i> /	«С упорством садовой улитки...»	173
Татьяна Ретивова / <i>Киев</i> /	У погоста моего	187

## Проза

Каринэ Арутюнова / <i>Киев</i> /	Бумажный театр	11
Вячеслав Харченко / <i>Москва</i> /	Спутник. <i>Повесть</i>	31
Тамара Ветрова / <i>г. Лесной</i> /	Смерть вошла в дом. <i>Рассказ</i>	76
Владимир Порудоминский / <i>Кёльн</i> /	Аспиранты. <i>Рассказы</i>	87
Борис Хазанов / <i>Мюнхен</i> /	Три рассказа	103
Владимир Загреба / <i>Париж</i> /	Параллелепипед	127
Юрий Холодов / <i>Саванна — Киев</i> /	Браки совершаются на небесах	153
Вл. Ешкилев / <i>Ивано-Франковск</i> /	Тёмно-синяя сторона правды	177
Юрий Винничук / <i>Львов</i> /	Аптекарь	192
<i>Перев. с укр. Елена Концевич</i>		
Игорь Павлюк / <i>Киев</i> /	Массовка. <i>Повесть</i>	220

## Переводы

Райнер-Мария Рильке	Последний дом. <i>Стихи</i>	183
<i>Перев. с нем. М. Бабкиной</i>		
Георг Трактль	Осень. <i>Стихи</i>	184
<i>Перев. с нем. М. Бабкиной</i>		
Стефан Цвейг	Брюгге. <i>Стихи</i>	186
<i>Перев. с нем. М. Бабкиной</i>		

Лана Перулайнен / Львов / <i>Авторский перевод с укр.</i>	«На земле спасенья не бывает...» <i>Стихи</i>	216
Василь Кузан / Трускавец / <i>Перев. с укр. А. Дудка</i>	Этот поезд. <i>Стихи</i>	267
Вагиф Султанлы / Баку / <i>Перев. с азерб. Надира Агасиева</i> <i>Перев. с азерб. Натаван Халиловой</i>	Два рассказа	270
Игорь Павлюк / Киев / <i>Перев. с укр. В. Науменко</i>	Самопародия. <i>Стихи</i>	276
Василь Махно / Нью-Йорк / <i>Перев. с укр. С. Бельского</i>	Нитка. <i>Стихи</i>	305
Юрко Издрык / Калуш / <i>Перев. с укр. С. Лазо</i>	Third. <i>Стихи</i>	317
Ярослав Павуляк / 1948–2010 / <i>Перев. с укр. С. Лазо</i>	«В моей каморке среди ночи...» <i>Стихи</i>	321

## Контексты:

### эссеистика, критика, библиография

Сергей Лазо / Тернополь /	Музыканты уходят из мира...	279
Михаил Окунь / Аален /	Последние известия	308
Михаил Сухотин / Москва /	Самиздат на папиросной бумаге	329
Лев Бердников / Лос-Анджелес /	Бодрая сила	332



## Петр БРАНДТ

*/ Санкт-Петербург /*

### КРАСОТА

I

Краса — удел путей прямых  
с их яркой, смелою игрою,  
но в ней есть строгость, а порою  
и след знамений роковых.  
Где красота — там и страдальцы,  
и средь ликующей толпы  
на розах сыщутся шипы,  
в кровь раздирающие пальцы.

В оленьем теле — дух природы,  
не пощадивший никого,  
в борьбе за выживание рода  
ковавший грацию его.  
Их род средь тысячи напастей  
ушел от гончих и стрелков  
и оказался крепче пастей  
голодных, северных волков.

В огне нежнейшего бриллианта  
стрелой, что бьет наверняка,  
пленяет душу знатока  
страсть игрока и дуэлянта.  
Иной алмаз завидной славы  
разит сердца из рода в род  
воскресшим ревом горной лавы  
и вулканических пород.

Во взгляде гордой, светской львицы  
соседей и кнут, и сласть,  
непререкаемая власть  
святой, ведуньи иль блудницы.  
Но если с ним в сердца людские,  
как ядовитая игла,  
проникнут чары колдовские,  
то жди удар из-за угла:  
изменой, злобой, униженьем  
тех душ, что в простоте святой,  
пленившись этой красотой,  
отвергнуты с пренебреженьем.  
Удар от зримых и незримых  
врагов, от тайной их татьбы  
и от путей необоримых  
свое взыскующей судьбы.

С красой и сладко, и легко,  
Но с ней и смерть — недалеко.

## II

Сей дар — погибель иль спасенье?..  
И все ж, без всякого сомненья,  
пока отпущено нам жить,  
мы жадно пьем и будем пить  
из неразгаданной и страстной  
сей чаши — грозной и опасной,  
в чаду унылого житья  
напиток бурный и разящий,  
но может быть, в себе таящий  
один из смыслов бытия.

2016 г.

\* \* \*

Увы, дух времени — притворен.  
И средь пощечин и сластей  
на ниве Божией плодотворен  
огонь отвергнутых страстей —  
лишь он великое свершает...

Дождется верного плода  
побег, который орошает  
лишь родниковая вода.

Род вольный обретет права,  
лишь став великим государством.  
Порой становится лекарством  
лишь ядовитая трава.

Судьба испробует истца,  
как драгметалл в плавильной печи,  
как через смерть, средь смертной сечи  
переступившего бойца.  
Чтоб все мечты его расстроив,  
ему оставить только миф,  
в нем все иллюзии убив  
у пьедесталов лжегероев.  
Чтобы на плод, что в срок созрел,  
обрушив всю несправедливость,  
в нем воспитать необоримость  
для яда собственных же стрел.

*2015 год*

## **ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ**

Случайный встречный бабьим летом,  
ты гость с просроченным билетом.  
Ты не найдешь в душе моей  
веселой лени прошлых дней.

Из глубины созвездий вечных  
или из недр тайн сердечных  
иных миров иной резон  
стучится в сумрачный сезон

средь завсегдатаев печальных  
унылых кабачков случайных,  
где как не впасть в глубокий сплин  
от сарафанных их былин.

Смотрюсь в вечерние витрины:  
вербены, астры, георгины,  
лелея собственную блажь,  
как ностальгический мираж.

Гудит реклама средств лечебных,  
тесня гербарий трав врачебных,  
как старый шмель, что залетел  
в пустырник, в мак иль в чистотел.



Из-под прилавка с пол-аршина  
торчит остаток крепдешина,  
багровый бархат и сатин,  
тесьмы атласный серпантин.  
Украшен кованым барьером  
и довоенным интерьером  
овал конструкций и лекал  
оконных стекол и зеркал.  
Сверкает в их глубинах дымных  
огнями люстр старорежимных  
минувший век, как гвоздь в виске,  
в его триумфах и тоске.

2015

## АКТЕРСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Вы и буяны, и фрондеры,  
и флегмы с мудростью змеи,  
меня пригревшие актеры,  
по жизни спутники мои.

Звучат цыганские куплеты.  
Зажглись их судеб амулеты,  
над блюдом с бронзовым ребром  
сверкнув столовым серебром.

Сверкнув огнем надежд минувших,  
увы, не раз их обманувших,  
сердца их потчевших медком,  
горячим, сладким шепотком.

И восхитителен и жуток,  
как зверь, что мчится на ловца,  
летит заряд актерских шуток,  
разя и радуя сердца.  
Здесь старомодного покроя  
два романтических героя  
друг другу льстят наперебой,  
смирясь с собственной судьбой.  
Смежает длинные ресницы  
столичных ВУЗов выпускница,  
теперь вернувшись из глуши  
в обитель родственной души.  
Парами винными согреты  
сидят артисты оперетты.

К ним над бутылку с тусклым дном  
льнут в умилении хмельном:  
без двух минут звезда экрана —  
колоратурное сопрано,  
певец, эстрадный пародист  
и цирковой эквилибрист.

В таких собраниях актерских  
без указаний режиссерских  
в который раз, опять не впрок,  
судьба являет свой урок.

Носясь по жизненному кругу,  
они порой летят друг к другу,  
как мотыльки на зов свечей,  
от злых соблазнов и речей.

Их праздник призрачен и странен.  
Их сон обманчив, но желанен,  
как забытье от дум дурных  
в объятьях сладких и родных.

Давно сроднившись с их юдолюю,  
спешу к актерскому застолию,  
как говорят, приняв на грудь,  
в их славном буйстве утонуть.

Я снова сам себе угоден,  
и беззаботен, и свободен.  
Я в просветленье иль в бреду —  
не знаю,... но с собой в ладу.

2016 г.

## **ВИНА ИТАЛИИ**

*На тему Юрия Ольшанского*

Где вьются, сливаясь с чертой горизонта,  
кусты виноградных плантаций Пьемонта,  
крестьянин, вдыхая курительный дым,  
поил меня белым вином молодым.

Как свет, что томится в божественных узах,  
в глубоких, сырых погребах, в Сиракузах,  
как призрачный луч в измеренье ином,  
мерцали бутылки с палермским вином.

Как сонный мираж, пред моими очами  
сверкал в полумгле золотыми свечами  
в хрустальных бокалах прозрачной слезы  
вишневый настой сицилийской лозы.

Приветствую вас, итальянские вина:  
Сентина, Грекетто, Лагрейн, Бардолино,  
впитавшие соки великих времен,  
хранящие гений забытых имен.

Где розовый мрамор и красная глина  
сгорали в янтарных огнях Капельсина —  
вина триумфальных собраний людских  
у некогда главных ворот городских,  
во мгле суеверий, среди тьмы наваждений  
я впитывал ясность латинских суждений  
среди грозною мощью исполненных лиц,  
спокойно глядящих с имперских гробниц.

Как шепот колдуньи, как очи пирата,  
мне душу взрывало вино Катарратто,  
суля мне победный и доблестный бой,  
пусть даже, в неравном сраженьи с судьбой.

В грядущих веках вдохновенно и зримо  
пребудет в сиянье бессмертного Рима  
коней боевых олимпийская злость  
везде, где растет виноградная гроздь.

Спасая свои одинокие грезы,  
в пустом ресторане, у виллы Боргезы  
я тоже засну ностальгическим сном,  
один на один с итальянским вином.

2015 г.

# Каринэ АРУТЮНОВА

/ Киев /



## БУМАЖНЫЙ ТЕАТР

### *Время на Андреевском*

Время на Андреевском остановилось.

Остановилась и я.

Как так получается, что часы, разложенные на капоте старого автомобиля, старинные и не очень, а также те, которые красуются на моем запястье, показывают одно и то же время — последние мгновения августа, залитые солнцем улицы, подрагивающие тени на стенах домов. Время остановилось, оно хочет остаться в этом дне, в последнем субботнем дне уходящего лета.

В воздухе — прозрачность сентября, — ясность, осознанность, если хотите, зрелость. Нет места иллюзиям. Зато сколько свободы! Свободы вкусившего и познавшего...

Рыжеют, золотятся деревья и купола.

— Скажите, почем ваши шляпы, мадам?

— По деньгам, мужчина, по деньгам!

Немолодой мужчина и средних лет дама, — типичная «тетя Роза», жгучая брюнетка с такими глазами и подвижным ярко накрашенным ртом.

— Я семь лет не был в ваших краях, я семь лет не был на Подоле...

### *Телефон*

И потом, знаешь ли, телефонов не было.

То есть, они были, конечно же, — у других, на каких-то более благополучных этажах, — и бог ты мой, каким же чудом и благом казались повисшие в изнеможении трубки, — телефона ждали как Мессии, — вот проведут телефон, — мечтательно произносили они, воображая феерически доступную легкость соединения, контакта.

У них было все, ну, или почти все. Допустим, начало жизни, — по странному совпадению проистекающее вровень с чьим-то закатом.

Закат прекрасно просматривался с чужих балконов, — с нашего наблюдалась веселая и беспорядочная кутерьма, затрапезная изнанка улицы, — бархатные чернобривцы вперемежку с полыхающими подсолнухами, сверкающие спицы новехоньких велосипедов, — еще одна мечта, так и оставшаяся мечтой, впрочем, — вышагивающие вдоль клумб девицы в мини, на десятисантиметровой платформе (когда-нибудь, когда-нибудь), молчаливое пока еще осуждение в подштопанных губах поколения уходящего. Уютное тепло — а там было действительно тепло, даже зимой — старого двора.

Уход казался (тогда еще казался) противоречием, ошибкой, недоразумением, которое разрешается каким-нибудь необыкновенным, но быстроедействующим способом. Пока что у них было все.

Например, возможность оставаться в неведении относительно того, что будет дальше. Ведь телефона не было. Но вести, однако же, просачивались, в виде голосов, — со свистящими, пугающими интонациями. Выражение непритворного ужаса, и повисшая (в лестничном пролете) пауза свидетельствовали о том, что новостям, особенно дурным, присуще безудержное распространение, — ведь люди, если верить последним исследованиям, и есть лучшие приемники и передатчики.

И все же, телефона ждали.

Когда у нас будет телефон — и вновь пауза, подразумевающая торжественность события, которое вот-вот, уже почти, уже более чем, но все еще не свершится, — и множество иных событий, связанных с леденящей посреди ночи трелью, с колотящимся где-то у горла сердцем, — о, господи, только не это, — и множество всего, что случится после, в другой, телефонной (а, значит, более благополучной жизни), остается за кадром.

С какой важностью снималась первая в жизни трубка (ее тяжесть, блеск, цвет — все казалось значительным), — и эта весомость всякого поступающего сквозь мембраны слова, и искаженный голос, к которому привыкаешь не сразу, и другие голоса, — случайные и нет, которых ожидаешь с холодеющими ладонями, — а что вы скажете о длинных зимних вечерах с урчащей на коленях кошкой (собакой) подле молчащего агрегата, уже облегченного, — вместо диска — кнопки (впоследствии обнаружится ненадежность всего подозрительно легкого, нового, простого — электроника, что вы хотите, — разве можно сравнить чугунное прошлое с электронным, сиюминутным), — сиюминутное овладевает бытием, и, что вполне естественно, сознанием, и вот слова, уже не подобранные, не вылепленные с божественным придыханием, сыплются как попало, вызывая приступ скуки, раздражения, гнева, — да возьмите же кто-нибудь трубку, — но домо-

чадцы, погруженные в себя, отнюдь не торопятся вынырнуть оттуда, — звонок стал досадным недоразумением, и то, что раньше было и слыло чудом, внезапно перестало быть таковым.

Нам провели телефон, — и медленный вдох, и выдох предвкушения, подразумевающий ту самую благуя весть, которая иным способом не доберется, не настигнет, — изматывающие минуты и часы ожидания, нанизанные на тугой шнур, — вы помните первозданную тяжесть его, металлический блеск, космический холод — он создан был для важного, а не того, что сплевывается, точно семечковая шелуха.

Для важного, слышите вы? — держась за прутья, стоит она над лестничным пролетом — тем самым, что казался пугающе глубоким, бездонным тогда, в беспроводные, беспечные времена, — и вести, мыча и шелестя, наползая одна на другую, проникают в вентиляционные отверстия, в кое-как залатанные щели старого дома, — обваливаются с рассыпавшейся штукатуркой, — от них бегут стремглав, укрываются в дальней комнате без окон, — там можно отсидеться, сцепив зубы, переживая нестерпимый момент проникновения. Но вот телефонная трель. Настойчивая, вползающая в любой угол, на любой этаж, — она длится и длится, пугая равномерностью сигнала, и что-то подсказывает ей, что это не соседский мальчишка с признанием в вечной любви, и не студенческие проделки школяров, и даже не предвыборная кампания...

На ощупь, в темноте, — нашаривает провод, — выдергивает его решительно, чуть ли не с мясом, оглушенная в момент тишины, — гораздо более опасной, тревожащей, нежели трели и гудки.

Нам проведут телефон, — скачет она, склонив голову набок, — оттуда, с балкона второго этажа, мир все еще кажется забавным, пока на нем, на этом самом этаже, нет телефона, нет ничего, посягающего на время, на блаженство неведения — ни долгих бесед, ни тягостного молчания, ни поздравлений, ни соболезнований, ни долгих, в десятилетия, пауз между тем и другим.

\* \* \*

Давай, говорю, попробуем viber, viber мы еще не пробовали, скайп был, аська — кто-нибудь помнит сейчас эту самую аську? Где она, ау, помнят ее разве только убеленные сединами пионеры онлайн. Скайп был позже, никакого сравнения! Где они, вдохновенные свитки, километровые папирусы привата, мегабайты и киловатты вздохов, уверений, шепота, двусмысленных намеков и нескромных предложений.

А что было до? Ну, до всего, до аски, вайбера, скайпа, фб, — как забивались стрелки, как выяснялись отношения? Чем жили? И, главное, зачем...

Давай попробуем *viber*, в *viber* у нас еще не было, в *viber* мы нерешительны, почти девственны, мы робеем и медлим, помнишь, как...

Как в те времена, когда позвонить можно было исключительно с улицы, из автомата через квартал, потому что в вашем все трубки оказывались вывороченными, вырванными с мясом, помните?

Кто-нибудь помнит, чем пахло внутри телефонной будки зимой? Этот тяжеловатый, металлический оттиск сотен и тысяч рук, пальцев, губ, смешанный с непрменным аммиачным духом и запахом перега-ра, подтаявшего снега, резины и чьих-то чересчур сладких духов.

Кто-нибудь помнит треск и гудки, звук брошенной трубки? кто-нибудь помнит монетку, рычаг? Как правило, последнюю, вот про-скальзывает она, проваливается в желоб, скатывается и звякает там внутри, и это весьма драматичный момент, во-всяком случае, в этот вечер, ноябрьский или февральский, неважно, потому что за преде-лами разогретой отчаяньем будки темный, враждебный мир, и только лишняя двушка, — скажите, у вас найдется лишняя двушка? — и только лишняя, закатившаяся под покладку или случайно обнаружен-ная на истоптанном полу, — еще не веря собственным глазам, вы на-гибаетесь, удерживая мокрую варежку в зубах, и вновь вращаете диск, тот самый номер, который, конечно же, вряд ли когда-либо вспомните, в веренице других, важных и не очень, — номеров, букв, паролей от ящиков и страниц...

Одно маленькое письмо, одна короткая телеграмма, пустой зал главпочтамта, массивная дверь, шершавая бумага, перо с ворсинка-ми, чернильница, всего несколько слов, которые пишешь и пишешь, комкаешь, швыряешь в корзину, и, расправив новенький бланк, вы-водишь то самое, помнишь?

Одно.

### ***Падал снег***

Пуговка носа за стеклом, два блестящих глаза, — сегодня он не-прменно помашет рукой, — озябший амур нахмурил выпуклый лоб, целясь из лука в невидимого соперника, — заснеженный бронзовый барельеф над крыльцом, скользким булыжником вымощенная мосто-вая, и полукружьями выступающие балконные решетки с замыслова-тыми металлическими виньетками, а еще, — винтовые лестницы, о, это головокружительное ощущение подъема, разрезающее шаг, оста-навливающее дыхание. Окна прикрыты ставнями, за ними прячутся цветочные горшки, и фикусы, покрытые многолетней пылью, и чей-то бледный профиль за сдвинутой занавеской, и клочья грязной ваты в проеме между стеклами...

Один за другим вспыхивают полураскрытые бутоны фонарей, и желтые потеки на снегу темнеют, — серое вмиг становится лило-вым, — тот неуловимый час, когда на городской площади прибавляет-ся народу, а звон трамваев проступает из белого безмолвия дня. На-

ступает вечер. Забежать в булочную, прижать пористый горячий хлеб к покалывающему боку, свернуть за угол, — нащупав пальцами остывающую корочку, отломить, преломить, замереть.

На сей раз он взмахнет рукой, и, расплываясь в улыбке, поймает траекторию ее взгляда. Не побоится обернуться, — стараясь идти как можно более прямо (возможно, чуть поскользнется на повороте), и побежит к дому, нелепо подбрасывая ноги в полудетском восторге, а дома вновь будет слоняться от шкафа к окну, от окна к прихожей, в отчаянии прижимать ладони к вискам, пытаясь мысленно оказаться там, под ее окнами.

\* \* \*

— Посмотрел! Посмотрел! — вприпрыжку она понеслась к зеркалу, — показав язык самой себе, трижды крутанулась на одной ножке, и запустив тонкие пальцы в проволочную шевелюру, запела что-то невообразимо фальшивое, но миленькое, какой-то пошлый мотивчик, что-то про Марусю и капитана, — перевирая слова, застряла и увязла окончательно...

Бросилась терзать и тормозить сонную беременную кошку, надкусила яблоко и повела носом, — впрочем, носиком, — прелестным, с едва заметной горбинкой. Из кухни доносилось знойное шипение, а включенное радио долдонило о чем-то хорошо поставленным бархатным баритоном. За баритоном пряталось хорошо выбритое самодовольное мужское лицо с прищуренными глазами.

— Зося! — в комнату вплыла старушка в мягких войлочных тапках, похожих на обрезанные валеночки, в шерстяном платке крестнакрест через спину и грудь. Вместе с ней ворвалось облачко кухонного жара, и аромат печеного, — продолжая что-то бормотать и улыбаться собственным мыслям, Зося выхватила с блюда горячий кружок и поднесла ко рту. За окном крупными хлопьями повалил снег.

По длинному коридору, слабо освещенному подмигивающей лампочкой, стараясь не расплескать воду, пронес тазик в комнату. В мыльный раствор окунул помазок и, пристроив зеркальце к полке, выбрил худые щеки и острый подбородок до болезненной бледности Пьеро, до глубоких порезов в трудных местах, — напевая привязавшийся невесть откуда мотивчик, ринулся к телефонному аппарату в коридоре. С полотенцем на плече и остатками пены на шее, — да! да! — слушаю, — долго стоял, вслушиваясь в многозначительное молчание, — але, але, — уже неуверенно, — улыбаясь, — улавливая в тишине звуки радио с жизнерадостной канонадой мужских и женских голосов. Что-то поскрипывало, звенело в тишине, где-то с грохотом упало и покатилось, — раздался женский крик и захлебывающийся рев, — сколько раз, — я говорила, говори-ила! Маленький Зиня Цехновицер, прихрамывая и кивая косматой головой, прошелестел на



кухню, прижимая шахматную доску к извиняющемуся боку, — потом! потом! — в трубке что-то шелкнуло, — короткие гудки, — он растерянно вытер кончиком полотенца шею...

Не торопитесь, голубчик, — я подожду! — голова Цехновицера еще раз показалась в приоткрытой двери и исчезла.

Прижав трубку к груди, удерживая смех, она постояла еще с минуту. И вдруг загрустила, поскучилась, постарела даже, схватила уснувшую было кошку и подошла к окну. По-прежнему падал снег.

### ***Когда-то***

Когда-то я читала под подушкой с фонариком.

Когда-то я каталась с горки, теряла варежки, в коридоре вкусно пахло снегом, и мама уже с порога кричала: веник! веник! И можно было сладострастно отряхивать себя веничком, грохотать санками, шуметь, топтать и все такое.

Когда-то я любила декабрь.

Потому что в конце декабря был праздник. И ожидание праздника тоже было праздником само по себе.

И дело не в салате оливье, не в бое курантов и не в постпраздничном похмелье.

Дело в нем, в ожидании.

Когда ждешь чего-то доверчиво и искренне, ты это что-то в итоге получаешь.

Праздник не купишь на новогодней распродаже. Праздник — это не всегда много и не всегда шумно.

Я помню эти полные предвкушения дни, елочные базары, запах хвои и снега. Я помню эту радость, это ни с чем не сравнимое чувство кануна.

Я помню улицу Перова, скрип полозьев, себя, укутанную в красную шубку, родителей, идущих впереди.

Я помню нашу маленькую комнатку и маленький светящийся экран, часы тишины и счастливой уверенности в том, что это навсегда, — мама, папа, ты и маленький брат, с которым можно будет играть, но гораздо позже, — объясняет мама, склоняясь над кроватью, стоящей между книжными полками и секретером. Пока что он спит, и это наполняет дом чем-то невыразимо прекрасным. Минуты блаженной тишины, шорох секундных стрелок, мерцание огней, там, за окнами моего дома.

### ***Урок иврита***

Израиль научил меня спокойствию.

Как разъяснить непосвященному сочетание левантийской ослабленности, марокканской взвинченности (внутри у каждого марок-

канца ждущая своего часа пружина, и, если уж этот самый час настал, то затолкать пружину вовнутрь не представляется никакой возможности), тайманской (йеменской) медитативности, персидской гибкости, польско-немецкой расчетливости и такой, знаете ли, внешней скудости, закрытости (в сравнении с шумным сефардским радушием), — и здесь я намеренно не упоминаю выходцев из благословенных Мелитополя или Бердичева, — куда деваться московскому снобизму и петерской утонченности, и одесско-кишиневской, допустим... афористичности. А что с обитателями ташкентской махалли, — как быть с хранителями узбекских традиций?

Как совместить несовместимое в одном, так сказать, котле? Возненавидеть одних и полюбить прочих? Возлюбить всех? Возненавидеть себя?

Как быть с вторжением в личное пространство, имеющее место решительно повсюду, начиная с автобусной остановки и заканчивая...

Здесь ровно все наоборот. Личное пространство, незыблемое в государственных и медицинских учреждениях, истаивает уже на пороге, когда, допустим, торгующий у выхода лоточник живо, а, главное, искренне, интересуется здоровьем вашей бабушки.

Как быть с хитро прищуренным глазом, с фамильярным «тыканьем», с доверчиво дышащим в лицо соседом? продавцом фалафеля? таксистом?

Израиль учит быть собой. Не париться по поводу воображаемого несоответствия неким стандартам. Да, я такая. Какая есть.

Священное слово «магия ли». Магия — положено. Магия ли — положено мне, магия лах — положено тебе — шепчет, почти интимно вжимаясь в меня упругим бюстом, консультант по благовониям в суперфарме, — роскошная сефардка, предки которой по материнской линии держали бакалейную лавку в Фесе, допустим, или Касабланке, а по отцовской — пасли овец в предгорьях благословенного Явана, — магия лах, хамуда (ты этого достойна, милая), — шепчет продавец мамтаким (сладостей) на шукке Кармель, — губы его слиплись, будто в поцелуе, глаза источают патоку, зной, пальцы пахнут мускатом и мускусом, тахинной халвой и эфиопским кофе, — магия лах, — подмигивает зеленщик, — магия — взрывается шук всеми цветами и запахами, возможными в этом прекраснейшем из миров, — от немислимых благовоний и благодеяний изнемогает ваша изнуренная долгим постом плоть, мается душа, — под кожей, точно магия, пульсируют, пробуждаются неведомые доселе желания, — сладострастие пожирает изнутри...

Но! — снаружи вы остаетесь абсолютно спокойным. Непринужденно выслушиваете маклера с золотым магеновидом на мохнатой груди, по пути небрежно пробуя все, что вам несомненно «магия» — горсть соленых фисташек, сладкий миндаль, разъятые на истекающие оранжевым соком дольки клемантины, — вы пробуете это небрежно,

походя, лавируя между остервеневшими тележками, отпихивая чьи-то локти, вы продираетесь сквозь бесконечность глаз, рук, пальцев, запахов, предложений (скромных и не вполне), вы с честью выдерживаете испытание изобилием, и, главное, выходите из этого живым.

Израиль научил меня спокойствию. Я не тоскую по изобилию, — я точно знаю, что оно существует. Я точно знаю, что благодеяния разлиты щедрой дланью Того, чье имя не принято упоминать всуе, и, если не суетиться, не ерзать, не скрестись в запертую дверь сведенными судорогой пальцами, то рано или поздно благодеяния эти доберутся до вас. Или не доберутся. Или как-то еще. В общем, как-то оно непременно будет. В той или иной форме. Так или этак.

А пока, можно, не торопясь, смолоть горсть отборнейших зерен, смешать немного мелких, тускло-коричневых, сухих, и крупных, глянцевого, жирных, будто маслины из Каламаты, — поставить на раскаленную конфорку тяжелую медную джеззу, и ждать. Слушать, как соединяются душа кофе и душа воды, как гудит, поднимается лава, густая, точно желание, отрезвляюще горькая, тягучая, как мугам, — из всех сокровищ мира выбрать одно, но с точной уверенностью, что оно ваше.

### ***Ностальжи***

Мне не нравятся аляповатая позолота, полушарие всплывающего будто остов погибшего космического корабля «Глобуса». Совершенно неуместное в окружении добротных сталинских сооружений, — дань бездарному гламуру двухтысячных. Не нравятся — «удобная пешеходная дорожка» на Андреевском взамен неудобной каменной брусчатки, с которой боролись, боролись и, наконец, добились. Не нравятся старые здания там же, выкрашенные в бодрый канареечный взамен благородно обшарпанного. Нет, я за добротные коммуникации, канализации и прочие достижения дня сегодняшнего. Но оставьте милое, затрапезное, с морщинами и шрамами. Не надо перетянутых ботоксом, лишенных человеческого выражения улиц. Нет, по-прежнему чуден Днепр при ясной погоде, роскошны склоны, и древние деревья шумят над головой. В этом году природа особенно буйствует. Подпитанная умеренными осадками, благоухает, источает ароматы... Те, из детства. Запах реки, камыша, ряски. Клонятся меланхоличные тополя, кручинятся женственные ивы. Вон там, помнишь, был пруд. Пруда нет, зато псевдояпонский парк с японскими же сакурами и одинокой пагодой, особенно одинокой посреди унылого спального района выстроенных на скорую руку девятиэтажек. Хоровод бездарных ларьков. В равнодушии окружающей тебя среды — масса преимуществ. Оно, равнодушие это, исключает из себя человеческий фактор. Воспоминаниям не за что цепляться, не по чем ностальгировать. Оно исключает, выталкивает — тебя. Как можно испытывать

благородное чувство ностальгии по стеклопакетам и однообразным, лишенным индивидуальности домам, в лучшем случае — удачной компиляции из немецкого конструктора. Вот тебе город. В нем как бы дома и как бы трамваи. Ты в нем как бы жил. Вон там — был пруд. А там — школа. Пакетик влажных салфеток годен до 2020 года. Сколько отпущено воспоминаниям? Они уйдут вместе с нами, не задерживаясь ни на чем. Скользнут по гладким стенам, вспыхнут фальшивой позолотой и канут в свинцовых водах времени.

### ***Бумажный театр***

Они возвращаются через двадцать, нет, тридцать лет. Запрокинув головы, высматривают своих.

Помните, жила здесь девочка — каждый день она выносила во двор картонную коробку с бумажными куклами. И показывала театр.

Расстоянием между ладонями он изображает девочек рост и возраст. Макушкой она упирается в середину ладони, и замирает, сощурившись от удовольствия. Ей всегда хотелось старшего брата. Не чтобы она защищала, а ее. Но под ногами вечно вертелись мелкие. Ровесники младшего. И тогда приходилось изображать сильную, бесстрашную. С распростертыми над стриженными головами могучими крыльями. Приходилось драться. Мирить. Разнимать.

Помните, жила здесь девочка с бумажным театром.

Ей было девять. Потом двенадцать. В шортах, китайских кедах, полосатой майке. Индеец Джо. Они за ней табуном ходили, канючили, ждали чуда.

Это была девочка-чрево вещатель. Пищала и басыла разными голосами, передвигая бумажные фигурки внутри картонной коробки. Она умолкала, когда появлялись взрослые. Взрослые все портили. Одним своим присутствием портили. Все переставало быть настоящим. А понарошку... бумага становилась просто бумагой. И персонажи оказывались плоскими, нарисованными, безжизненными.

Взрослые задерживали дыхание. Старались ходить на цыпочках. Улыбались ободряюще. Но все напрасно. Все рассыпалось. Истории умирали, скукоживаясь на глазах.

Помнитесь, она жила на втором. Или даже на третьем. Нет, на втором.

Расстоянием между ладонями он изображает прошлое. Рост. Вес. Упрямую макушку. Дожди июньские, стучащие по крыше. Кажется, там бабушка еще жила. У всех жили бабушки. Почти у всех.

Мальчика звали Эдик. Или Феликс. Ушлый, крутолобый, весь в отца. Все время что-то на что-то менял. Глаза его загорались от непреодолимого желания. Иметь это что-то сию минуту. Выбегал, возвращался с пылающими ушами, сжимая в ладони некий предмет, достойный обмена.

Помните, здесь жила девочка?

Она играла гаммы... Со второго этажа слышно хорошо. И на первом, и на четвертом. Долго играла. Спотыкаясь. То ускоряя, то замедляя темп.

— Слушайте, дайте уже покой, немножко чтобы было уже тихо, — точно гриб, выростала на пороге соседка, с перекошенным от мигрени оплывшим лицом. — Хотя бы уже в воскресенье дайте людям покой. — Держась за висок, отступала к лифту. И наступала уже тишина. Крышка со звоном захлопывалась, зато открывалось окно с любопытной девочкиной головой в торчащих как попало заколках.

Он помнил эту девочку. С нотной папкой, ударяющей по ногам. С заколками этими дурацкими, в школьном платье, чуть более коротком, чем положено. Ему нравилось. То, как медленно она идет, специально медленно, это же дураку ясно. Сразу видно, как сильно она торопится в эту свою музыкальную школу.

— Рита! Вернись, ноты забыла...

Да, возможно, ее звали Ритой. Эту странную девочку из другой жизни.

— Ну что, ждем? Едем? — таксист кивает, но не слишком торопит. Счетчик включен. Дело хозяйское. Целый день, с одного кладбища на другое. Там у меня баба с дедом, а там...

Он называл ее «ба». Или баба. Баба Фейга. Во дворе ее дразнили — Ягой. Бабой Ягой. Глубоко посаженные глаза под густыми бровями, нависающий над верхней губой нос, смуглая кожа, вывернутые губы. Широкоплечая, ходила, переваливаясь, на коротких ногах.

Иди до бабы, иди до меня, — горячая пятерня ерошила торчащие вихры, крупная брошь на необъятной груди царапала до крови.

— Киця моя, иди до бабы. Баба даст вкусное.

Например, коржики из мацы. Болтая ногами, они уплетали эти самые коржики за милую душу, — и Толик с пятого, и Жиртрест, — те самые, которые дразнились, — беззлобно, впрочем, — протянутая из окна первого этажа тарелка с пылающими коржиками, сырниками и еще... такими, треугольничками из слоеного теста, щедро усыпанными корицей и сахаром, — тогда еще не было никаких ушей Амана, — просто коржики, внутри которых, боже ты мой, чего только не наблюдалось, — и тебе изюм, и чернослив, и орехи, — на, это для деда, — дед жил в однокомнатной квартире напротив, собственно, иначе и быть не могло, — разве могли ужиться вместе взрывная Фейга и мечтательный «деда». Дед Ньюма в результате множественных комбинаций своего деятельного сына осуществил давнюю мечту, — целыми днями читать газеты, отрываясь разве что на походы в киоск. За следующей порцией новостей.

Несколько раз день в Ньюмину дверь врывалась накрытая салфеткой тарелка, за ней — обтянутая синим трикотажем (отчего-то «ба» носила синее, только синее, оно так шло ее ярко-синим не выцве-

тающим с возрастом глазам) фигура, и дом (с нижними и верхними соседями) замирал в ожидании неминуемого. Старые, а как молодые, честное слово, — улыбались свидетели.

Начиналось вполне безобидно. С энергичного (Фейга все делала с энтузиазмом) раздвигания плотно закрытых штор и проветривания.

— Наум, как же можно. Весь день в духоте.

Дед, смиренно улыбаясь, приступал к трапезе. Он молчал. Пока молчал. Надо дать женщине выговориться. Пусть она все скажет.

И Фейга говорила. Она начинала издалека. В какой-то момент казалось, что все обойдется, что обед или ужин уж на этот раз не окажется поводом для выяснения отношений.

Выяснение уходило корнями в бесконечно далекие времена, — в те времена, когда Фейга одна — «тянула всю эту подводу, вот этими вот руками, Ньюма, а где был ты? Там? Я одна кормила всю эту банду, спасибо Яше с четвертой обувной, он закрывал глаза на мою фигуру, — а я была молодая, молодая, Ньюма, — я была перец с солью, но — главное — дети, — я кормила детей, — чем? — балетками я их кормила, — по несколько пар за смену я носила вот в этом декольте, — хорошие шили балетки, и Яша (ангел, а не Яша) молчал, только опускал глаза, чтобы не щупать мою фигуру, и не знать, что делается в моем декольте. А я была перец с солью, аджика с огнем, я была молодая, Ньюма, но у меня были — Ленечка, Левушка, Сима, — и слава богу, вахтеры на проходной тоже понимали это, — что детей надо кормить, — тебе вкусно, Ньюма? А?»

Весь дом уже был в курсе Фейгиных махинаций с балетками, но самой Фейге отчего-то хотелось, чтобы Ньюма услышал — еще и еще раз, про то, какая она была молодая и красивая, что даже мастер Яша опускал глаза, — нет, он закрывал глаза, опасаясь обжечься ее, Фейгиной красотой.

Ша! — ах, как ждали все этого «ша», — кто мог предполагать, что в тщедушном Ньюме таится недюжинная сила, способная остановить красноречие «ба», — ша, я уже сказал, — Ньюма тщательно вытирал ложку, вилку, прикладывал белоснежную салфетку к губам...

— Старые, а как молодые, честное слово, — видит бог, старыми они себя не считали, потому что прекрасные Фейгины глаза так ярко блистали гневом, обидой, любовью, — да-да, любовью, а что вы себе думаете, — хлопнув дверью, она уже обдумывала ужин, и обед следующего дня, — это было святое, незыблемое.

Пока гремел гром и сверкала молния, этажом выше откидывалась крышка концертного фортепиано, это странная девочка отработывала свое ежедневное наказание, — этюды Черни.

Там, за окном, все стрекотало и чирикало, там играли в штандера и в резинку, и потому все свое нетерпение и даже ненависть она вкладывала в силу удара по клавишам.

В картонной коробке томились герои бумажного театра. Лишенные права голоса, ожидали своего часа. Этюды Черни и прихрамывающие гаммы закончатся, а бумажный театр — навсегда.

Так думала она, или ей кажется, что думала, поглядывая в окно.

Могла ли знать, что и у бумажного театра свои отмеренные сроки, что и он однажды канет в прошлое, — почти одновременно со скандалами и коричнево-ореховым «гоменташ».

Как-то все это быстро произошло. Решение об отъезде, хлопоты, переживания, продажа мебели, — старики сразу резко сдали, даже скандалы прекратились. Пока оформлялись бумаги и ждали разрешения, не стало деда Нюмы.

Послушайте, он же еще утром выходил за газетой, — внезапный уход Нюмы казался предательством, тяжелой обидой, нанесенной исподтишка, — и Фейга моментально осела, выцвела, постарела.

Никто не помнит, в какой именно день у нее пропал голос. Полностью пропал. Остался сип, но и этим сипом она умудрялась шептать страстные слова любви, — майн кинд, фишеле, — и слабеющими руками чистить орехи и чернослив, — ах, какие гоменташи готовила наша баба Фейга, — впоследствии сама память об этом станет семейным преданием, — уже там, в новой жизни, — там будет все, решительно все, кроме тех, домашних коржиков из мацы, кроме скандалов и следующих за ними примирений...

— Бедные, куда они едут, в какую-то Америку — шептала она, уткнувшись лбом в холодное стекло, по которому стекали стуйки осеннего дождя.

За прошедшее лето многое изменилось.

Во-первых, не стало соседей с первого этажа. Во-вторых, она выросла.

Мальчика из еврейской семьи звали Эдик. Или все-таки Феликс. Ушлый, крутолобый, весь в отца. Все время что-то на что-то менял. Глаза его загорались от непреодолимого желания. Иметь это что-то сию минуту. Выбегал, возвращался с пылающими ушами, сжимая в ладони некий предмет, достойный обмена.

Коллекцию на бумажный театр, идет? — на этот раз подмышкой у соседского мальчика покоился тяжелый альбом с марками. Он выменял его у кого-то на две старинные серебряные монеты, которые он тоже у кого-то...

Идет? — глаза его, серые, упрямые, с рыжиной, заставили ее покраснеть.

И правда, картонная коробка с фигурками открывалась все реже. Как будто стыдясь самой себя, взрослеющей, она играла шепотом, сооружая баррикады из учебников и тетрадок.

— Тебе там будет не до театра, — усмехнулась она, и в улыбке ее (снисходительно-смущенной) обнаружилась еще одна тщательно скрываемая тайна, — ну, например, то, что она выросла.

События того дня оставим за кадром. Некоторые утверждают, что именно тем вечером внезапный порыв ветра выхватил, выбил картонку из ее (или же его) рук, и ворох бумажных фигурок, растопырив руки и ноги, разлетелся над мусорником, который и сегодня стоит на том же углу, ничего ему не делается.

По другой версии, бесценный альбом с коллекцией марок остался у нее, а актерам театра дарована была еще одна жизнь, — с обратной стороны земли.

Они возвращаются через двадцать, нет, тридцать лет. Запрокинув головы, высматривают своих.

Помните, жила здесь девочка — каждый день она выносила во двор картонную коробку.

Расстоянием между ладонями он изображает девочкин рост и возраст. Макушкой она упирается в середину ладони. И замирает.

### ***Плач одинокой флейты***

Кто-то позаботится о декорациях, о неперменных условиях.

О ее одиночестве и неприспособленности, — о заполненности его дней и пустоте ночей, о грезах.

О силуэте незнакомой женщины в окне напротив, — о дующихся днях и минутах, — о переполненном автобусе и о дожде, о неудачном и бессмысленном собеседовании, об отсутствии мотиваций и перспектив, — о его превосходстве и уверенности, о ее робости и смущении.

Его холостяцкой свободе, ее, конечно же, нет.

Некто позаботится о том, чтобы все состоялось, — почти случайный, почти подстроенный, — так расставляют силки в надежде на, — звонок, — и голос глуховатый, — слышно, как она мечется, мнет кофточку, страшится и жаждет.

И вот, — все, что требовалось, — стена дождя, укрывающая ее, стоящую на остановке, — автобус, от этой остановки отъезжающий, — все так похоже на сон, — зыбкостью, неясностью, мутным изображением.

Все, что требовалось, — его незанятый вечер, ее отвага, — его любопытство, ее — отчаяние, его — желание, ее — робость.

Влага, смятение, жар...

Смещенные линии улиц, иссеченные дождем переулки, серые дома.

Она поднимается медленно, скованная сомнениями. Стремглав сбегает вниз и кружит вокруг, пересчитывая еще и еще раз буквы на вывесках, мерцающую неоновую рекламу.

То самое время суток, когда приличные люди спешат по домам, — в тепло и уют, она мечется по незнакомому городу и району, одновременно уговаривая и отговаривая, приводя разумные доводы и потешаясь над собой.



Кто-то позаботится обо всем, — об эхе пустынного подъезда, гулкости каждого шага, массивности открывающейся двери.

О его ожидании и ее страхе, его закате (вопреки тому, что он на самом деле думал) и ее расцвете (хотя она полагала иначе). Кто-то позаботится о мелочах и о главном, о декорациях и действующих лицах, — основных и второстепенных

О тишине и о глухих голосах там, за окном, — под шорох зимнего дождя и плач одинокой флейты.

### ***Завтра весна***

Завтра весна.

Как будто свет в прихожей зажегся, и все обнажилось.

Бледность, пыль в углах, прошлогодняя паутина.

Воздуху стало меньше.

Ну, нету его, Маня, хоть стреляй.

Вот раньше был воздух, и была зима, и лето. Ты помнишь, какое было лето?

И воздуху навалом! До смешного, — казалось, — ну, отчего они все за сердце хватаются, чего им все мало?

Вот же он, — то ветром из-за угла, то грозой, а то вдруг солнцем выкатится, и все как-то легко, вприпрыжку, полушутя.

Понарошку.

Казалось, там, впереди, какая-то другая, новая, настоящая жизнь, в которой все настоящее.

Где-то там, далеко, в придуманных нами городах и странах...

А это... так, разбег.

Вот и зима прошла.

Тревога гложет мое сердце. Получится ли у нас в этот раз?

Получится ли стряхнуть пыль, серый налет? Преодолеть куриную слепоту, усталость?

Удастся ли размять затекшие члены, онемевшие мышцы, вдохнуть то, что и воздухом-то не назовешь...

Где нынче воздух? В каких счастливых местах? Я бы поехал туда хоть сейчас.

Там, за трамвайной остановкой, за универмагом и аптекой, есть один переулочек...

Достань пальто. Нет, не это, пудовое, зимнее, а то, другое, из шкафа.

Достань пальто, милая.

Завтра весна.



## Григорий ВАХЛИС

*/ Иерусалим — Киев /*

\* \* \*

Не снится мать.  
И, верно, потому,  
что нет любви.  
Зане и сна не стало.  
Насущней обретаться одному,  
кому и одного себя не мало.

А мать во сне  
по-прежнему в окно  
глядит, мусоля грудью подоконник,  
и все не понимает отчего  
никак нейдет навстречу сын-покойник.

\* \* \*

Будем жить низачем — по привычке,  
низачем, как зима или лето...  
Прижимается куст бересклета,  
низачем — просто насмерть и слепо,  
низачем — это слепо и насмерть,  
к проржавелой железной ограде.  
Низачем, просто так, по привычке  
прорастая-вростая-вжимаясь.  
Низачем — просто жизнь, просто ветер,  
пролетая навеки и насквозь  
все дома, все кусты, все ограды,  
обнимая, во сне обнимая  
низачем бесприютную площадь  
и трамвай, что уходит за угол.

\* \* \*

За окном, ты глядишь и не видишь —  
над оградой чахлого сквера,  
куст дрожит на ветру — как обычно —  
там трамвай бесприютную площадь  
(мы с тобой просто так, по привычке,  
ты молчишь) пересек и уходит —  
ничего незаметней и проще.  
Так растительно, ясно и плоско  
(и листву его ветер полощет),  
прижимается куст незаметно  
к проржавелой садовой ограде.  
Прижимается куст бересклета  
низачем — просто насмерть и слепо,  
прорастая, вращая, вжимаясь.  
И листва за листвой облетает,  
мостовую крупой обметает,  
а снега оседают и тают,  
и за летом кончается лето.  
А рука, что страницы листаёт,  
день за днем не находит ответа,  
так мучительно ищет объятий,  
а страницы разъяты, разъяты!  
И гудит нескончаемый ветер  
на мгновение соединяя,  
то, что мимо уносится розно,  
повторяя: «Не поздно! Не поздно!  
Низачем!». Просто насмерть и слепо.  
Низачем — это слепо и насмерть.  
Как ты это, скажи, называешь?  
Ты названья сказать не умеешь,  
это слово помыслить не смея.  
Ты, немая, во сне обнимаешь.  
То слепому безумью награда —  
запыленного сквера ограда.  
Это ветер, всего только ветер,  
прорастая навеки и насквозь  
все дома, все кусты и ограды,  
обнимает, во сне обнимает  
низачем бесприютную площадь  
и трамвай, что уходит за угол...

\* \* \*

Тучка, белая сучка,  
любишь еще? Скажи!  
Невидимого конвоира  
невидимы виражи...

Покамест еще прощает,  
видимо, сам не свят,  
нечесанный и прыщавый  
заоблачный лейтенант.

А случаем утопит —  
ноготь грызет не вдруг,  
образом и подобием  
молоденький демиург.

Прикуривает невесело...  
Эй! Погоди, постой!  
...Оскалился новый месяц  
фиксою золотой.

\* \* \*

Обжитый угол выстудит зима.  
Я побреду, едва переступая,  
туда, где опускаются, не каюсь,  
седые сумерки на желтые дома.

Там не в чем каяться — одни грехи  
угрюмо семянят другим навстречу,  
сутулый вечер тяжелит им плечи,  
в руках авоськи, а глаза сухи.

Там плавниками шевелит трамвай,  
до самых стекол налит рыбьим жиром —  
в нем плавают немые пассажиры,  
качаясь как подводная трава.

Потомки жертв — потомки палачей.  
Всё позабыли и переженились.  
Они сегодня ночью мне приснились  
под скрип дверей и звяканье ключей.

Трамвай проедет, да и я пройду,  
чтоб в страшном сне кому-нибудь присниться,  
когда-нибудь — по сути, наши лица  
напоминают прежнюю беду.

\* \* \*

...и в твоей слепоте  
косо падает лист,  
мимо стен, мимо лиц,  
гаражей и больниц.

Он возноситься вниз —  
где непрожитых лет,  
вспять плывущим во сне,  
померещился след.

Что же так невпопад?  
Может, счастье претит?  
Все открыты пути —  
а он косо летит!

А навстречу ему  
гулкий сумрак аллей,  
над асфальтом сыреет  
желтый свет фонарей.

Где стоит монастырь  
без дверей, без крестов,  
над дорогой пустой,  
среди красных кустов.

Только веки сомкнешь —  
облаков молоко  
приникает легко  
к переплетам окон.

Наше завтра грядет  
среди мокрых ветвей —  
позабывтый рассвет  
в немоте пустырей.

Ты заплачешь, любовь,  
просто так, ни о чем,  
в полусне горячо  
прижимаясь плечом.

Не услышишь меня:  
— Обернись! — я реку,  
мой небесный лоскут,  
обращенный в реку.

И темнеет вода,  
и касается лист  
отражения лиц,  
гаражей и больниц.

\* \* \*

Прощайся с собой  
простейшим жестом руки.  
Иди походкой слепой  
куда идут старики.

Это — сквозь решето  
убегает вода,  
это всего лишь то,  
чему учился всегда.

Всю короткую жизнь,  
долгую маяту,  
как ее ни скажи —  
горечь ее во рту.

Дождь идти перестал,  
лишь едва моросит,  
прямо в пролет моста  
белый катер летит.

Чайки кружат над ним,  
собственно, вот и всё.  
Дым летит из трубы,  
ветер его несёт.

\* \* \*

*Матери*

Ты кричишь мне «Ау!», чуть белеет твой плащ сквозь кусты,  
и смеёшься опять, беспечально светло и бездумно.  
Я уже разумею, что окно и стена — это ты,  
что соврали над глиной худые кларнеты и трубы.

И когда через площадь, как в прошлую зиму, бегу  
муравьиной бессмыслицей снова по желтому снегу,  
разумею — это жизнь продолжается тут,  
как последняя встреча, что Бог посулил нам, но не дал.

Вот светлеют аллеи, опять замыкаются в круг,  
и от этого сна нас никто никогда не разбудит,  
мы как прежде с тобой: разумею навеки и вдруг,  
что как прежде с тобой — никогда уже больше не будет.

Здесь, в цементные шорты одетый, играет горнист,  
повисает забытая нота над клумбою голой,  
я сегодня услышал — пронзительно ясен и чист —  
над моею постелью опять раздавался твой голос.

Собирай же каштаны в нашем парке, кричи мне «Ау!»,  
ничего кроме дня, кроме этого тихого смеха.  
— Мама! Мама! Ты где, погоди! Я иду!  
«Мама! Мама! Ты где?» — меж деревьями катится эхо.

\* \* \*

*Отцу*

Вот из камней сочится молоко.  
Верблюдов гонит ветер,  
гонит ветер.

И семечко-кочевник так легко  
живет на белом свете, белом свете.

Едва очнется в каменной пыли,  
в горячий ветер пустит корни,  
пустит корни.

И встанет над землею ком земли,  
скиталец в мире горнем, в мире горнем.

И до начала, до скончанья лет,  
над бездной носится легко и грозно.  
Восходит Млечный путь,  
яснеет свет.

Верблюды лижут звезды, лижут звезды.



## Вячеслав ХАРЧЕНКО

/ Москве /

### СПУТНИК

Первое «БМВ» ей подарил папа, но на бензин Лёля зарабатывала сама показом нижнего белья. В доме у нее жила афганская борзая Астрид, у которой были шелковые подушки и серебряная миска.

Зачем я нужен Лёле, непонятно. Ей почему-то интересно шляться со мной по подвалам, слушать поэтов, пить из горла водку, изысканно материться, как матерятся филологини, курить травку и менять половых партнеров.

Какого черта я с ней возился — не знаю. Она красива, но какой-то журнальной красотой. Ее легко представить на обложке таблоида. Когда она брала меня под руку, мужчины оборачивались.

У нее на работе грянул кризис, денег не платили. Все девочки разбежались, фотографы смылись, дизайнеры подались в другие агентства, только Лёля и офис-менеджер Олег остались.

Говорю Лёле:

- С твоей красотой легко найдешь работу.
- Мне деньги не нужны.
- А Олег чего остался?
- Он меня любит.
- У него жена и дети.
- Все ходит и в глаза заглядывает.
- Все равно уходи, — сказал я.

Потом через месяц смотрю, она в «ВКонтакте» фотки вывесила. С Олегом то, с Олегом сё, у песочка, на холмике, возле пальмочки. Всё на папочкины деньги.

Снова звоню:

- Как жизнь?
- Игорь, я беременна. У тебя есть знакомые в шоу для беременных?
- Какая же ты бестолковая, Лёля! — и бросил трубку.



С моим ростом на Лёлю было трудно смотреть. У нее метр восемьдесят восемь. Разглядываешь грудь — ни головы, ни ног не видно.

\* \* \*

Я когда трубку бросил, потом долго по ночам ворочался. Встану в три, подойду к аппарату, нажму «Лёля», телефон трень-трень, номер набирает, и вот когда уже первый гудок чуть заскрипит в ухе — нажимаю отбой. И так раз пять-шесть за ночь. Спишь еле-еле. Придешь в редакцию, под глазами круги, а шеф Герман Иосифович:

— Ты что, Игорек, пил? Пить в нашей работе нельзя, — смеется и подсовывает свежий номер для проверки.

И вот когда в очередной раз бился со статьей, мобильник завибрировал.

— Пойдем на «DJ Вагину».

Сразу узнал Лёлю.

— Может, на Дихалёва? Он из Казани приезжает с какой-то теткой.

В семь вечера стою на «Новослободской» в центре зала. Приходит сияющая, сережечки — золотые рыбки, ботфорты, штаны галифе серые и такой же серый плащ.

— Где живот?

— Это я тебя проверяла.

Дихалёв читал замечательно. Я специально пришел на Дихалёва. Каким-то бездонным голосом он читал о всякой ерунде, которая, в общем-то, и есть наш мир, весь наш мир ерунда. Но большинство прикатило на тетку. Тетка мне не понравилась — отличница. Все премии возьмет, во все союзы вступит.

\* \* \*

Дом у Лёли за городом, а «БМВ» на приколе. Папа первый раз в жизни отказался дать денег. Говорит: «Выходи замуж, пусть тебя муж кормит».

За окном электрички проплывал однообразный пейзаж ближайшего Подмосковья. Неказистые социалистические домишки садоводческих кооперативов, краснокирпичные особняки. На платформе «Овражки» сидел черный горластый пес и лаял на выходящих из вагонов.

На перегоне «Родники» — «Вялки» с насыпи поднялся подросток и бросил в наше окно камень. Большинство осколков задержало второе стекло, но два или три засели у меня в руке. Пока соседи общались о случившемся машинисту и вызывали милицию, Лёля дос-

тала платок, аккуратно вынула из моей руки осколки и перевязала ее. На станции вместо маршрутки сели в такси и двинулись к ее загородному жилищу.

Дома обработали руку йодом, перевязали бинтом, развели камин. Лёля не умела разводить камин, положила дрова снизу, а бумагу сверху бросила. Понятно, что ничего не получалось. Тогда я всё переложил: бересту и картон вниз, полешки сверху, и чиркнул зажигалкой.

Достали из холодильника по пиву и устались на огонь.

— Еще бы чуть-чуть, и осколки попали бы в глаз, — сказала Лёля и прищурилась, разглядывая огонь.

— Я верю в свою судьбу.

— Ну, ты буддист, — рассмеялась Лёля и этим рассмешила меня. Мы смеялись минут пять, приподнимая ноги с рыжего ковра и расплескивая пиво по бревенчатым, покрытым желтым лаком стенам. Прибежала Астрид и стала на нас лаять. От афганских борзых толку никакого, только пух. Надо каждый день вычесывать, а то комок валяются по углам дома. Судя по всему, Астрид не вычесывали уже месяц.

Неожиданно я развернулся и положил руку на грудь Лёле. Она перестала смеяться, медленно убрала руку и сказала:

— Ты кто, Игорь? Ты — друг, — и ушла на второй этаж.

Дрова прогорели, и я тоже лег спать. Ночью Лёля пришла ко мне. Мы обнимались, целовались, но у нас ничего не было.

\* \* \*

Утром приехал папа. Василий Петрович, вытащил меня в трусах на мраморную кухню, поставил бутылку «Русского стандарта», и мы стали пить. Когда Василий Петрович пил, то закидывал назад голову и проводил ладонью по затылку, после третьей рюмки он пошел пятнами и пить бросил, но мне всё подливал и подливал.

— Вот ты, крысолов, любишь мою дочь?

— Люблю.

— Руку-то не по пьяни покоцал?

Сверху спустилась Лёля. Синий шелковый китайский халат ей шел, на ногах были тапочки-зайчики, в правой руке она держала сигарету и выпускала дым вертикально вверх.

Вот говорят, что все модели холодные. У меня была одна певица. Я ходил вместе с ней по клубам и провожал домой. Самое страшное началось ночью. Никто из нас не мог довести друг друга до оргазма. Она никогда со мной не кончала. Я ни разу с ней не кончил. Кто был холодный — непонятно. Мы то сбегались, то разбегались.

Василий Петрович повел меня в подвал показывать газовые вентили. Под домом была врыта емкость, в которую закачивали сжиженный газ. В год на отопление уходила половина емкости. Потом он достал грампластинки и включил проигрыватель. Хрупкая игла выхватила Yellow submarine. Отец Лёли, несмотря на свою грузную борцовскую комплекцию, дубы-руки и балки-ноги, сидел и подпрыгивал на тахте, и мне казалось, что если я стану мужем Лёли, то он всю мою оставшуюся жизнь пропрыгает рядом на тахте под хриплое ворчание винила и жизнелюбивый скрежет «жуков».

В два, к обеду (на обед жарили шашлык из баранины), приехал Олег. Смуглый южный парень, не чурка, а просто южная помесь, может, греки какие у него в генах покопались. Подарил букет из двадцати одной розы и шампанское «Асти», приложился к ручке Лёли, целовал так долго и влажно, что я привстал со стула.

— То был один крысолов — теперь два, — проворчал папа.

— Ну, это же все-таки мой ребенок! — просиял Олег.

— Какой ребенок? — переспросил я и посмотрел на Лёлю. Лёля сидела в кресле и теребила подол халата. Из-под халата торчали её длинные лакированные ноги без единого волоска, белые и бледные.

— «О закрой свои бледные ноги», — продекламировал я и вышел покурить на крыльцо. Из-под порожка вылез Лохматый — кот неизвестной породы. Я близко наклонился к нему и стал разглядывать морду. У Василия Петровича была аллергия, и поэтому он не пускал кота в дом. Лохматый никогда не подходил ближе одного метра. Даже в самое голодное время, утром, он лишь обозначал движение к миске, и только один раз его поймала мама Лёли и вымыла в душе, отчего кот еще более убедился — приближаться к людям ближе чем на метр не стоит.

На кухне продолжался разговор. Похоже, Василий Петрович не знал, что Лёля беременна. Я тоже не знал. Она меня совсем запутала.

\* \* \*

Вечером я уехал в Москву. По вагону ходили афганцы и пели про Кандагар, сизая охрипшая тетка продавала белорусские носки, работяга в телогрейке впарил мне стеклорез, который мне без надобности.

Всю дорогу я думал, почему уехал я, а не Олег. Он женат, у него дети, с ним у Лёли тупик. Никаких шансов. Но уехал я, а он остался.

На работе перестали выдавать бесплатный кофе. Раньше на кухне стояла банка кофе и пакетики чая, сахар, плюшки, печенье, а теперь все пропало. Теперь каждый сам за себя. В тумбочке завел ящик, где всё держу. Герман Иосифович кивает на спонсоров, мол, совсем дела плохи, могут и газету закрыть.

В двенадцать ночи звонок:

— Ты просто трус, — голос у Лёли дрожит, зареванный какой-то.

— Ты мне просто врешь, — кидаю трубку.

Сам думаю: «Зачем я это делаю, зачем я это делаю?»

\* \* \*

Через неделю пошел на квартирник к Нинель. Приехало юное дарование из Сарапула. Все выступление хотелось блевать. В конце как все хлопал, даже купил у автора книжку. Ее даже маме не покажешь, она любит поэзию. Когда уже собрался уходить, подошла Нинель. Когда-то во время совместного обучения на журфаке у нас что-то было, но она предпочла уехать в Германию с Володей. Там родила, но боши ей не подошли, вернулась в родные пенаты. Володя остался преподавать в Дрездене.

И вот когда я уже стоял в дверях, надевал немецкие (sic!) ботинки, один натянул, а во второй не мог попасть, Нинель меня задержала и позвала на кухню посидеть вдвоем.

Сидели мы плечо к плечу — ну чужая тетка, совсем чужая тетка.

А она говорит:

— Вот когда-то....

— Как было здорово....

— Как твоя личная жизнь?..

Собрался и ушел, выбежал к ларьку, купил «Кент 4», затащусь, стало отпускать. Смотрю, по небу спутник летит. Подумалось, вот раньше был всего один спутник. Его увидеть — как влюбиться на всю жизнь, а теперь даже спутники как мухи. Шныряют среди звезд туда-сюда. Но за своим проследил. Он точно летел на Камчатку. Там вулканы, там красная икра, там я окончил школу.

Если ехать с горы на лыжах и зажмурить глаза — если это вообще возможно, хоть небезопасно, — то вдруг неожиданно чувствуешь, что это не ты с горы едешь, а просто мир проносится мимо тебя. Вжик-вжик. И всё. Родился — вжик и умер — вжик. В детстве красная ленточка, теперь белая ленточка.

\* \* \*

Через два дня после квартирника сидел и писал статью в номер. Вдруг стали в дверь стучать. Смотрю — Олег.

Прошли на кухню.

— Ты, — говорит, — скажи, чего тебе от Лёли надо?

— Да это она мне названивает.

— Нет, ты скажи, чего тебе от Лёли надо?!

Хорошо, пришла Нинель. Олег посмотрел на неё, щупленькую, в красном расклевшем пальто. Летучая мышь. Точно, летучая мышь. Олег выскочил на лестничную клетку и заржал. Я перевел дух.

— Здравствуй, — говорю, — ветром тебя принесло странным, но вовремя, — потом обнял ее и поволок в спальню. Даже не помню, поцеловал или нет, а она и не сопротивлялась. Так я и не понял, зачем она приходила. Совсем, в общем, одурел. Одурел.

\* \* \*

Друзья звали на митинг. Я довольно сносно прожил последние десять лет. Но вдруг понял, что если не пойду на митинг, то никогда не узнаю атмосферу, именно атмосферу, которая там царила. Но потом позвонила Лёля и тоже позвала на митинг, и я понял, что никуда не пойду. Тем более что в понедельник меня послали в Ухту, в командировку.

Что мне в Ухте делать? Герман Иосифович смеется:

— У нашего нефтяного спонсора праздник, день Космонавтики, надо сделать репортаж.

— Какая связь между Гагариным и нефтью?

— Они там тяжелую нефть добывают, топливо для ракет. Напишешь хорошее, пофоткаешь.

— Я же фотоаппарат первый раз в жизни вижу.

— А у меня нет денег на фотографа.

Стою во «Внуково» у трапа, жду, когда толпа в салон войдет. Опять Лёля:

— Ты где, Игорек?

— Не знаю, — отвечаю, — между небом и землей. У католиков это называется чистилище. В Ухту лечу писать про космос.

— Я тебя встречу. Какой обратный рейс?

— 4964.

Господи, какое у Лёли роскошное тело. Каждый сантиметр его жил сам по себе, и только какая-то незримая сеточка соединяла их в единое целое. При ходьбе ли, в сидячем положении, или просто в прыжке, в полете каждый кусочек тела Лёли вопил о свободе и счастье.

Зачем я летел в Ухту? Что меня с ней связывало, кроме работы? Город среди болот сиял единым пятном, и посередине, или, точнее, немного в стороне, проплывала река Ухта, неся свои нефтяные воды в Северный Ледовитый океан.

Меня куда-то возили, кормили, я записывал на диктофон, фотографировал зеркалкой, которую мне дал Герман Иосифович, потом мы даже выпили в ресторане и мне предложили какую-то восемнадцатилетнюю девочку, с которой я всю ночь просидел в гостиничном номере, чтобы не обидеть хозяев.

У Нинель сын Ваня мечтал стать нефтяником. Все бредил, что приедет в Дрезден, а у него из карманов евро выпадают. Позвонит в дверь отцовского домика с лужайкой в одну сотку, позвонит второй раз, прижмет кнопку звонка до боли, чтобы ногу посинел, чтобы отец выскочил на крыльцо, как есть, в семейных трусах, чтобы у него параллельные складки на лбу вспухли. И вот когда отец, в мурашках от октябрьской прохлады, спросит:

— Кто там?

— Это я, папа, сын твой, здравствуй. Я приехал. Я тебя люблю. Я нефтяник, — ответит Ваня.

Вышел из аэропорта. Лёля стоит в сиреновом плаще и улыбается мне. Из-за темных очков, в которых она была, узнал не сразу. Живота все нет. Пошли на стоянку. Папа починил «БМВ». В салоне Лёля не курит. После полета очень хочется курить, я достал одну папиросу и мну ее в руках. Наконец не выдерживаю и открываю форточку, пускаю дым. Лёля молчит.

\* \* \*

Утром следующего дня звонит Нинель и зовет на новый квартирник. Иногда мне кажется, что я люблю Нинель, — но она слишком болтлива. Это и плохо, и хорошо. Находясь рядом с Нинель, я могу не заботиться о поддержании разговора. Она никогда не прекратит его и будет раз за разом нагромождать кубометры слов.

Из шестидесяти фотографий, что я сделал в Ухте, получились лишь пять. Хотя статья хороша, хороша статья. Это и секретарша Юленька говорит, и верстальщик Славик, да и Герман Иосифович не отрицает. Зашли в Интернет и надыбали всякой белиберды. Зато теперь шеф понял, что зря поспешил на фотографа. Из Ухты прислали благодарственное письмо, но, похоже, газету все равно будут закрывать или будет другой акционер. Уже приходили какие-то люди в костюмах.

В этом году зима затянулась. Обычно в начале апреля тепло, ходишь ошарашенный по лужам, слушаешь в ушах «Реквием» и не понимаешь, что происходит, что же все-таки происходит. Это авитаминоз, точно авитаминоз. Покупаю витамин В в таблетках. Раньше, когда у меня была жена, она его колола, а теперь самостоятельно я колоть не могу и покупаю коробочку.

Приехал Василий Петрович. У него «мерседес», на котором в Европе возят покойников. Говорят, в Вологде живет культуртрегер-патологоанатом, который держит тиражи журналов в морге. Для сохранныости, видимо.

Один мой приятель-поэт, Семён Торохов, был у него и все это видел собственными глазами. Культуртрегер раскладывал поэтические журналы на телах мертвых (находил какую-нибудь красавицу-самоубийцу) и нараспев читал стихи.

Василий Петрович звал в сплав по Карелии на байдарках.

— Поедем на поезде в Петрозаводск, а потом по Шуе, порог Кривой, порог Большой Толли.

Я никогда не задумывался, чем Василий Петрович зарабатывает на жизнь. Знал лишь одно: отец Лёли не военный, но вечно тусуется около вояк. Про себя я называл его комбатом. Чем я ему приглянулся, почему не Олег? Может, у Лёли еще кто есть? Ну должен же быть у такой красавицы настоящий жгучий мачо.

Мы ехали по Мясницкой от здания редакции, и мне казалось, что Василию Петровичу абсолютно все равно, с кем идти в поход. Лёлину мать я никогда не видел, да и не выводил ее никуда комбат. Он был какой-то абсолютно одинокий и дикий. Сейчас, рассматривая его в зеркале заднего вида, я видел седые виски, лысину, ряд пожелтевших зубов и все более удивлялся, зачем он ко мне в редакцию приехал.

\* \* \*

Вчера пришла Света. Света алкоголичка и художница. Рыжая и страстная девица тридцати лет, с распущенными волосами. Вытащила из серванта бутылку водки и стала быстренько набираться. Своими обкусанными пальцами лазила в чешские стаканы, оставляя жирные пятна.

— Пришла к деду на девятое мая. Зову, пойдем в Парк Победы. Сидит молчит, портвейн дуэт. Полезла в шкаф за пиджаком, а на нем медалей нет. Где, ору, медали, а дед молчит. Я, говорю, тебе вторую бутылку не куплю. Шамкает: продал все за пять тысяч. Стали ругаться, кому продал, что за люди. Не помнит.

— Света, дай-ка мне тоже стакан.

— В парк не пошли. Утром заставила его записать все, что было, и бегом в антикварный салон в ЦДХ. Все лежит, куча всего лежит. И за взятие Берлина, и за Кенигсберг, и за Одер. Продала четыре картины по дешевке и что надо выкупила. Пришла к деду, а он сидит, ноги каким-то дурацким электрическим прибором лечит и плачет. Шамкает: ноги болят, совсем не ходят.

Света выпила еще граммов пятьдесят и пошла домой.

— Заходи, Игорь, как-нибудь. У меня в галерее «Танин» выставка будет. Заходи.

\* \* \*

Лёля пригласила меня на показ. Она все-таки ушла из своего агентства и устроилась к Славе Зайцеву. Слава, конечно, постарел, но какой-то нюх остался. Лёля таскала расхристанные прикиды, которые, как мне казалось, ее красоту не подчеркивали, а скрывали. Лёля надо мной смеялась:

— Это одежда должна выглядеть шикарно, а не я.  
После показа к ней подходили ханыги, но Олега не было.

Спрашиваю:

— Где Олег?

— Уехал с папой в Карелию.

Значит, папа всем байдарки впаривал. Может, еще кому, наверняка кому-то еще байдарки предлагал.

На работе все кучкуются. Пришли новые акционеры в черных костюмах и галстуках. Попросили всех остаться, но Германа Иосифовича сняли. Он пытается найти спонсоров для новой газеты. Меня вызывали в кабинет и обещали должность главного редактора. Теперь у нас бейджики, пластиковые карточки и курение на улице по распоряжку.

\* \* \*

С женой мы развелись недавно. Жили-жили десять лет, даже ни разу не поругались, я ей помогал духи варить, друзья были общие, а тут приходит как-то раз она с работы в бежевом костюмчике и красном шарфике, который я ей подарил, и произносит (я как раз из душа выходил):

— Игорь, я ухожу от тебя.

Самое смешное, что я ничего не почувствовал, совсем ничего. Вот, говорят, «тяжкий камень», или там «задрожали ноги», или «слабость во всем теле». Ничего не произошло, даже чувства мои к ней не изменились. Ровная, обычная, человеческая теплота.

Налил я себе чаю, ей кофе и пошел в ближайшую ночную аптеку за снотворным.

Шел ночью по белой снежной улице и думал: «Надо бы порать, что ли, или мебель поломать, детей у нас все равно нету».

Пришел, выпил еще чаю, принял снотворное, посмотрел на нее плачущую и спрашиваю:

— К кому хоть уходишь?

Она растекшуюся тушь салфеткой смахнула, со лба своего ровного мраморного волосы назад закинула под ободок и вздохнула:

— К Андрею.

— Эх, ушла бы ты к поэту, или к прозаику, или к литературоведу, наконец, но к астроному — это слишком, — и пошел спать.

\* \* \*

Последний раз были с Андреем на футболе год назад. Люблю гул стадиона. Часто посреди тайма выхожу в буфет, беру кофе с бутербродом и в одиночестве слушаю стадион. Все эти: «У-у-у-у-у, а-а-а-а, о-о-о-о-о». В перерыве ничего не послушаешь, все ломятся в туалет. Тогда, помнится, Андрей рассказывал, что нашел новую



звезду в созвездии Лиры. «Спартак», как всегда, проиграл. По дороге назад я купил себе спартаковский шарф, но не красно-белый, а черно-красный. У всех были красно-белые шарфы, а у меня красно-черный. Спартак играл в черной форме только один раз и слил англичанам 4:0. В метро ко мне подходили четыре раза: господин в бобрах, подростки с айфонами, таджикский гастарбайтер и продавщица «Кока-Колы». Все спрашивали счет.

С Германом Иосифовичем встречался в «Ёлках-палках». Взяли по телеге, заказали пиво, и он стал мне рассказывать про новый проект. Журнал малого бизнеса, все проблемы в России, Фонд поддержки малого предпринимательства. Смотрел я на него и думал: «Когда-то я очень тебя любил, ГИ, и даже подражал. Носил, как ты, артистический беретик, курил трубку со сладким голландским табаком, играл в бадминтон, ходил на балет. Ты научил меня всему в журналистике, меня даже кое-где знают, а кое-кто ценит. Но сейчас, именно сейчас, когда тебе требуется моя помощь, у меня нет на это никаких сил».

Послушал-послушал, допил «Старопрамен», взял свой берет и пошел из кабака прочь.

Ехал по Таганской ветке. Перегон «Волгоградский проспект» — «Текстильщики» частично проходит по поверхности. Открылись бывшие цеха «Москвича». Сейчас все пустуют, только в одном собирает свои автомобили «Рено». А раньше целый район Люблино здесь работал. Вставали в шесть утра и топали до проходной. Был самый экологически грязный район, а теперь, когда все заводы стоят, — ничего, чистенько.

\* \* \*

Уезжала Рая долго, почему-то никак у них с Андреем не складывалось с ремонтом, и вся эта катавасия длилась почти год.

Так и жили, как раньше, спали в одной постели, за котом Рыжиком ухаживали, на вечера литературные ходили, — только никакой близости.

Когда же она все-таки переехала, то я три месяца был как без рук: как за квартиру платить, не знаю, рубашки и брюки гладить не умею, чуть Интернета не лишился, ел по столовым. Только через полгода всему научился, но тут полез в трубку маме звонить, а номера наших с Раей родителей начинались одинаково, вот я и перепутал. Позвонил уже бывшей теще.

— Привет, — говорит она, — Игорек.

— Привет, — отвечаю, — Ирина Федоровна.

Жила теща одна, и после этого раза стали с ней регулярно пезрзваниваться. Она мне на Раю жалуется, что мало звонит и пишет. Даже потом, когда из своего Пскова приехала, то остановилась у меня, а не у Раи с Андреем.

\* \* \*

В галерее «Танин» у Светы царил настоящий бардак. Волосатые бородатые художники курили траву и слушали психоделику. У Светы странная способность окружать себя полудурками. Нет, все они творческие личности, рисуют, пишут, пляшут, но спроси нашу дворничиху тетю Люду, и она скажет: «Полудурки».

Я ничего не понимаю в картинах. В молодости я любил ходить в ЦДХ, но когда узнал, что «Черный квадрат» Малевич нарисовал не в одном экземпляре, а, кажется, в семнадцати, то в живописи разочаровался. Саврасов грачей тоже по заказу рисовал.

Как много людей пишут стихи, хотя это самое бесполезное, неприбыльное и инфантильное занятие. Слава богу, что картины пишет намного меньше людей. Я ходил по галерее немного обескураженный и не мог понять, что это значит для меня, почему я это рассматриваю, стало ли мне лучше или не стало, смогу ли я вообще что-то почувствовать. Незаметно подошла Света и сзади обняла меня:

— Это, Игорек, Панкрашин. Три его картины купил Русский музей. Одну — из моей галереи.

— Что это за пятно у него вон там сверху?

— Панкраша умница. — Света глотнула из стакана что-то бордовое и пошла в холл. В холле пахло едко и сладковато.

Я развернулся и пошел на выход. Пришла смска от Лёли: «Приезжай в Бибирево». И я поехал в Бибирево. Там у Лёлиного отца была еще и квартира.

\* \* \*

В 1998 году мы с Андреем сидели на Воробьевых горах у здания МГУ, у главного входа, на парапете смотровой площадки, и пили пиво. Нет, мы, кажется, тогда еще ничего не пили. Просто сидели и смотрели в звездное небо. Я тыкал пальцем в звезды, а он их называл, потому что учился на астрономическом отделении.

И вот когда я говорил, что «наши космические корабли бороздят просторы океанов», Андрей сказал:

— Космос человечеству не нужен. Зачем мы в космосе? Мы там пылинки. Чужие.

Я вознегодовал и пошел домой. И лег спать. И очень обиделся. И больше с ним не виделся.

Прошло пятнадцать лет. «Бураны» сгнили, «Шаттлы» на приколе, ракеты со спутниками не могут взлететь и падают на землю. Десять неудачных стартов подряд.

А потом шел с Раей мимо Политехнического и увидел афишу лекции: «Зачем человечеству космос?» Лектор Андрей. Зашли, они познакомились. Попили пива, как в молодости.

Теперь Андрей единственный человек, с которым я могу говорить. Он мудака, конечно, но с ним можно поговорить. На днях пришел в гости (после развода с Раей у нас с ним нормальные отношения остались), и мы хорошо беседовали... Я был счастлив. Просто счастлив. Такое счастье, такой диалог.

Потом дал ему тысячу рублей и попросил купить портвейну, того-сего. Я-то знал, сколько должно быть сдачи... А он мне какие-то копейки приносит.

«Фигня, — думаю, — зато так хорошо поговорили. Что мне эти две сотни!»

И вот он уходит, а я смотрю — бутылки-то портвейна нет.

— Андрей... Как это называется?

— Это называется — выпил, — спокойно отвечает Андрей с каким-то даже теплом.

\* \* \*

В Бибирево от метро иду пешком. Лёля живет, кажется, в третьей башне. Оказывается, в четвертой. В третьей в домофоне говорят: «Нет такой», а в четвертой Лёлин голос:

— Заходи.

Поднимаюсь на лифте на четвертый этаж. На стене выцарапано «Спартак». Сверху зачеркнуто и уже цветными фломастерами: «ЦСКА». Две буквы красные, две синие.

У Лёли полон дом гостей. Кто эти люди, я не знаю, но весело. Мальчик с гитарой поет «Рок-н-ролл мертв», девочка в зеленых лосинах целуется с девочкой в желтой бандане. Сажу на подоконнике на кухне, курю, сплевываю вниз. Смотрю — Жора Пospelов заходит.

Сначала Жора мне не нравился. Он был, кажется, везде. На всех тусовках, на всех выступлениях, на всех званых обедах. Казалось, куда ни приди, а там сидит Жора в своей вязаной шапочке, курит «Винстон лайтс», потягивает темный «Гиннес» и рассказывает о поэзии и литературе. Но мне потом сказали, что у Жоры восемь детей, и я подумал: «Пусть делает что хочет». Я кивнул Жоре, он что-то ответил и отвернулся к окну.

В конце концов все разошлись. Пришла Лёля — ласковая, таинственная, румяная. Я потеснился на подоконнике, и мы еще часа полтора вдвоем рассматривали небо. Я обнял ее и поцеловал. Лёля отвернулась.

\* \* \*

Звонит Света:

— Панкрашин все бросил — жену, детей, часть картин спалил, разогнал учеников и уехал по монастырям. Ходит проповедует, за ним толпа в пятьдесят человек, смотрят ему в глаза, а один записывает.

А эти придурки, друзья, кричат:

— Имеет право, художник имеет право, это удар свыше, художник на всё имеет право.

— Хорошо, нашелся психиатр, Евгений Юрьевич. Говорит — это мой пациент, достаньте мне его хоть из-под земли, и Панкрашин снова будет рисовать картины. Шляпу приподнял, вышел на улицу, зажмурился и пошел в больничку на прием. Через две недели Панкрашина привозят. Как уж родственники его отбили, непонятно. Худющий, заросший, ногти черные, кожа синяя, волосы жирные и спутанные. Посмотрела ему в глаза — точно пациент Евгения Юрьевича. Он Панкрашину прописал уколы и таблетки, а сам в Австрию уехал на конгресс. Когда вернулся, Панкрашина уже в больничке не было. Курс закончился, и пошел Панкрашин в семью. Потом начались трудовые будни. Три месяца вкалывала, а тут иду мимо кабака «Афродита» — сидит мой Панкрашин в белом костюме и малиновом берете. Пьет пиво пенное, хотя ему нельзя. Остановилась я, задумалась, смотрю на Панкрашина, он так на спутницу свою глядит — нежно, ласково, заботливо, вдумчиво, — что поняла я: вернулся он к ремеслу, пишет картины, спасибо Евгению Юрьевичу.

\* \* \*

Ко мне от Нинель пришла ахиня по электронной почте. Я взбодрился и написал в ответ какую-то чушь. Тут же отправил, но потом вчитался в полученное письмо, а там не ахиня, а ясная и восхитительная мысль, но чушь-то я уже отправил.

Был бы файл, или листок календаря, или запись в базе данных, я бы просто удалил, а так письмо уже ушло. Ничего поделывать невозможно. Стал названивать Нинель, а она не берет трубку. Сел на такси, приехал в Медведково, дом не помню. Все нынешние дома такие одинаковые, что даже не найдешь любимого человека. Захочешь ночью и не найдешь. Понаделали яндексов-\*\*\*ндексов, GPS-ов сраных, а Нинель, когда надо, не найдешь, с душой ничего не научилась делать. Как найти душу в Медведково?

\* \* \*

Мой друг Андрей, уведший у меня Раю, какой-то беспомощный, при этом страшно талантливый. Он не любит людей и общается с ними только тогда, когда не имеет возможности общаться с телескопом.

Когда мы с ним на одной волне, то разговариваем часами, и потом совершенно невозможно восстановить ход беседы, потому что мы переходим на междометия.

А еще он никогда не снимает кепку, потому что страшно стесняется своей лысины. Порой собирается с силами и спраши-

вает: «Я красивый?» Ему говорят: «Красивый». А он с чувством человека, заранее звавшего ответ на вопрос, уличает во лжи, цинизме и лицемерии.

Однажды я пристал к нему: «Сними кепку» да «сними кепку». Даже высмеял его — хоть и аккуратно, но обидно. И Андрей снял. И вот я буквально физически почувствовал, как он, бедный, мучается без кепки, какая у него дикая ломка происходит. Я сто раз укорил себя за бессердечность и вежливо вернул кепку Андрею, после чего он ее судорожно нацепил. Эмоциональный фон в комнате разрядился настолько резко, что даже из форточки перестало дуть. После этого случая Андрей упрямо твердил, что я похож на его маму. Это было крайне неприятное для меня сравнение, потому что его мама — майор милиции. Долгое время, находясь рядом с Андреем, осознавал, что я «мама».

\* \* \*

Света не раз пыталась научить меня рисовать.

В детстве папа и мама уже хотели сделать меня художником. Они купили раскладывающуюся штуку через плечо (мольберт?), кисти и краски и поехали со мной в лес. Пока они собирали грибы, я должен был рисовать луг с березками, который раскинулся передо мной.

Когда они через два часа вернулись с полными ведрами опять, у меня на листе бумаги были нарисованы Вини-Пух на шарике, Чебурашка на лыжах и Шапокляк в мотоциклетном шлеме. Березок и луга не было. Так что я хорошо рисую только чебурашек.

\* \* \*

Лёля все-таки выходит замуж за Олега. Олег бросил жену и двоих детей и обещает им платить алименты, но никто в это не верит. Василий Петрович очень рад. Мне кажется, совместный поход на байдарках здесь сыграл не последнюю роль. Он обещал Олегу место управляющего в своем торговом центре на Дубровке. Я сейчас с ужасом думаю, что мог бы тоже стать управляющим на Дубровке. Ходил бы в строгом костюме, покрикивал на продавщиц, а некоторых бы по...бывал в подсобке.

Меня пригласили на свадьбу, но не знаю, что ответить. Мне будет очень тяжело лишиться Лёли. Я так люблю Лёлю. Нинель так и не берет трубку и не отвечает на электронные письма.

\* \* \*

Нинель пришла сама, принесла метровую китайскую куклу-мальчика в розовой пижаме и с голубыми европейскими глазками. Поставила на стол и говорит:

— Пьет.

— Кто, — отвечаю, — пьет?

— Сидор пьет, — и наманикюренной ручкой на куклу показывает, — на спор налью ему стакан пива, уйдем, вернемся, а там — вода.

— Нинель, ты со своими сериалами совсем из ума выжила (она сценарист в продакшне). Он же кукла, как он станет пить?

— А вот увидишь.

Налили мы Сидору стакан пива, пошли в гостиную, стоим КВН смотрим, не подглядываем. Через десять минут вернулись. Я стакан с пивом хряп, а там вода.

Сел на табуретку, офигеваю, открыл коньяк армянский и выпил граммов двести, потом зашторил кухню, закурил, ничего не понимаю, а Нинель торжествующе ржет:

— Это еще что! У него член пластмассовый в натуральную величину.

— Вот только показывать не надо, — наливаю себе еще граммов двести коньяка и иду звонить бывшей теще. Вот Нинель с кем все это время развлекалась.

Когда-то в молодости я очень любил Нинель. Высокую, стройную, кареглазую, спортивную. Когда она грациозно склонялась над книжкой и ее непослушный локон неожиданно падал со лба на желтую страницу учебника, она вздрагивала, краснела и, переборов смущение, медленно и лениво поднимала локон и крепко-накрепко закалывала. Но не проходило и получаса, как волос опять выбивался, снова падал на страницу, и Нинель смеялась заразительным смехом так громко, что дворничиха Вера Ивановна, подметавшая осеннюю листву возле общежития, останавливалась и смотрела на наше окно.

Мы сидели на подоконнике, я обнимал Нинель, целовал в губы бережно и нежно, но она всегда выскальзывала из моих объятий, поправляла платье и хваталась за книжку. Эта способность Нинель изворачиваться, убегать, проходить сквозь игольное ушко поражала меня.

Я водил ее на последние сеансы в кино, на ВДНХ, возил на «ракете» по извилистой Москве-реке, но всегда мне доставались лишь слабенькие поцелуи. Она никогда не позволяла нашему роману зайти далеко. В век сексуальной революции, порнографии и черной Эммануэль мы ходили, как невинные средневековые подростки, взявшись за руки и засунув под мышки учебники. Мне все время казалось, что Москва — центр Средневековья.

Однажды нас послали в колхоз убирать картошку, но мы ее только пекли на костре, поэтому нас разбили на бригады. Сказочная Нинель и я оказались в противоборствующих бригадах, которые состязались за первое место в социалистическом соревновании. Теперь, когда я стремился остаться с Нинель один на один, она говорила со мной только о соревновании. Один раз мы даже улеглись на одну телогрейку, но все поцелуи и ласки остались без ответа.

— Милая Нинель, — вздыхал я, передавая мешки с собранной нашей бригадой картошкой Нинель. В конце концов товарищи заметили убыль и прогнали меня из колхоза.

В другой раз мы пошли с Нинель на лыжный трамплин. Он стоял на Воробьевых горах напротив здания Университета. Я не знаю, почему решил, что если ночью забраться на трамплин, то можно показать Нинель ночное небо: огромное, сияющее, полное раскосых звезд и стремительных спутников. Мне казалось, что если Нинель увидит вечное небо, то обязательно согласится на все возможное и невозможное.

Небо и звезды Нинель понравились (хотя она поднималась на трамплин с опаской), но на маленькой площадке было невозможно обниматься и целоваться. Я окончательно разуверился в своей победе и стал при виде Нинель отворачиваться или делать вид, что не замечаю ее.

Однажды она пришла в мою комнату в общежитии. Пока я ставил чайник на кухне, Нинель села на мою постель и стала листать какую-то книжку. Когда я вошел, губы ее адели, движения были осторожны и замедленны. Неожиданно она прижалась ко мне, обняла и поцеловала. Откинулась на кровати и стала медленно раздвигать колени. Я опустился на пол и поцеловал сначала левое колено и потом правое. На правом был небольшой лиловый шрамик.

Утром она выпила чай с бутербродами и ушла.

Я же взял со стола книжку, которую накануне читала Нинель. Это был Катулл. Засохшая травинка-закладка лежала на стихотворении «Воробей». Милая, милая Нинель.

\* \* \*

Мужчина должен делать всего две вещи: исполнять супружеский долг и скрывать от жены, что он умеет готовить. В нашей бывшей семье я часто готовил, крутился на кухне, брал в руки тарелки и сковородки, пока Рая не встала при входе и не сказала: «Не пуцу». Так же она поступала, когда я хотел сам себе пришить пуговицу или погладить рубашку.

Пока жили вместе, она редко обсуждала мои журналистские успехи, но после развода стала говорить обо мне только хорошее,

надеясь, наверное, меня повторно женить на одной из своих подруг. Стоило развестись с Раей, чтобы услышать о себе столько хорошего.

Но все ее подружки были откровенными клушами, а с годами для меня стало очень важно, чтобы женщина знала: правильно пишется «генерал Чарнота», а не «Чернота».

\* \* \*

Выхожу из редакции, останавливается «тойота». Высовывается Олег в модной дизайнерски потертой кожаной куртке и кричит:

— Садись!

— Это тебе Лёлин папа подарил?

— Не умничай.

Залез на переднее сиденье, на лобовом стекле болтается желтый цыпленок, открыл бардачок — стали вываливаться CD-диски. Один закатился под ноги. Пока его достал, заболела поясница. Олег перехватил у меня диск и вставил в проигрыватель. Зазвучал Рахманинов, «Вокализ».

И вот в этот момент мне захотелось убить Олега. Нет, я не псих, мне в армии выдавали оружие. Когда я шел в наряд, нес в руках карабин, но никогда ни в кого из него не стрелял. Только один раз выпалил в ежика, но я, конечно, не знал, что это ежик, и стрелял в человека. Потом уже наклонился — ежик свернулся в клубочек и дрожит еле заметно, иголки у него дрожат. Думал, что он так дышит, а это еле заметная, еле уловимая дрожь.

И вот когда я захотел Олега убить, то дернул его со всей дури за руку, а мы ехали на восьмидесяти. Машину ощутимо повело в сторону. Олег кричит, я в ответ:

— Дай выйду!

— Постой.

— Открой.

Я выскочил на тротуар, а Олег вдогонку спрашивает:

— У тебя с Лёлей что-то было?

Я остановился, немного постоял, даже закурил, и пошел, ничего не ответив.

\* \* \*

С годами я научился слушать плохие стихи. Раньше, бывало, продекламируют что-нибудь со сцены, так и выскочишь из зала, побежишь в туалет, опустишь пылающее лицо под холодную струю, высморкаешься, вытрешь кожу полотенцем, выкуришь две сигареты, а сердце потом так стучит в груди, что впору вызывать скорую помощь.



А сейчас ничего. Ну, плохой стих, ну, бывает, ну чего горячиться, всякое может быть, у каждого случается. Вот выйдут Г. В., или А. Г., или А. П., и все наладится.

Но нет, все лезут и лезут, все читают и читают, но ты все-таки сидишь, и только к самому концу сердце начинает биться так сильно, что шаришь в портфеле в поисках валидола.

\* \* \*

В последнее время, когда я сижу рядом с Нинель или болтаю о чем-нибудь со Светой, то думаю о Рае. Нинель говорит мне: «Стоп», щелкает пальцами около моего носа и бережно проводит рукой по макушке. Я, конечно, вздрагиваю, иду на кухню, вынимаю сигарету из пачки, чиркаю зажигалкой, она зажигается не с первого раза. Это «Крикет» с первого раза зажигается, а обычная китайская дрянь дает огонь только с четвертого, а то и с пятого раза. И вот когда я затягиваюсь и включаю вытяжку, и хожу взад-вперед по кухне, то понимаю: всё это бред — находиться рядом с Нинель или Светой, спать с Нинель, думать о Рае, мечтать о Лёле. Тогда я останавливаюсь и говорю:

— Этим летом едем в Коктебель. Не в Анталию, не в Мюнхен к Беатриче, не в Америку к брату, а в Коктебель на фестиваль.

Нинель смеется. Люблю, когда Нинель смеется, ее поперечные морщины на лбу разглаживаются, мысли о сыне и бывшем муже улечиваются, она ложится в спальне на кровать и медленно и осторожно подставляет себя мне, и ничего не остается, как прилечь рядом и гладить ее так преждевременно для тридцатипятилетней женщины увядшую кожу.

Сейчас я сижу на балконе и наблюдаю, как по двору в инвалидной коляске везут Остапа. У Остапа нет ног. Его везут к метро «Волжская», где он сидит возле перехода и просит милостыню. Обычно Остап молчит, но иногда вдруг вытягивает руку и кричит: «Подайте!». На крик оборачиваются прохожие, но подают мало. Когда Остапу совсем не везет, он всматривается в лица куда-то спешащих москвичей, достает губную гармошку и наигрывает: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин! Ах, мой милый Августин, всё пройдет, всё».

\* \* \*

Когда у меня не было денег, пятнадцать лет назад, после дефолта, я купил себе белорусские зимние боты: огромные, тяжелые, увесистые. Ими можно было колоть орехи, забивать гвозди, лупить врага между ног и важно убежать от ментов по ночному переходу метро, гулко грохая по железным листам, так что звук раздавался на всю станцию.

Боты не боялись московской зимней соли, весенней распутицы и глубокого снега. В ботах можно было ходить по лужам, не опасаясь студеной осенней воды.

У бот было много достоинств и один недостаток: в них не любили девушки. Девушки, как только видели мои боты, разворачивались и молча уходили. Даже моя будущая жена Рая сначала вздрогнула и уже готова была скрыться, но потом что-то ее удержало, и она вышла за меня замуж, — но почти сразу заставила меня купить кукольные немецкие наимоднейшие ботиночки. В них я ходил на работу, но очень тосковал о ботах, поэтому выбегал в них с ведром на мусорку и в магазин за сигаретами.

Мода на тупорылые, массивные, мощные ботинки прошла. На ботах сломался замок, и я их закинул на антресоли, хотя и сейчас, через пятнадцать лет, я нет-нет но достаю их с верхотуры, чищу черным кремом и наяриваю воском до блеска.

Намедни ко мне приехал четырнадцатилетний сын Нинель Ваня и увидел боты. Он со слезами на глазах стал упрашивать меня, чтобы я отдал ему ботинки. Оказывается, за пятнадцать лет мода сделала круг, и огромные, тяжелые, увесистые боты — это очень круто!

Я сначала не хотел отдавать, но Нинель сильно попросила, пришла румяная и доступная, что окончательно решило дело в пользу Вани. К тому же у Вани была белая ленточка.

В детстве, в возрасте Вани, я был прилежным пионером и хотел дожить до столетия Октябрьской революции. Я часто сидел за столом и высчитывал, сколько мне будет лет. Каждый раз оказывалось, что сорок шесть. Мне казалось, что это очень-очень-очень почтенный возраст, что все вокруг будут гордиться мной и начнут давать мне мороженое.

А сейчас я даже не помню, когда столетие революции. Вчера специально листал настенный календарь и ничего не нашел.

Когда-то история начиналась с августа 1991 года, все писали про август 91-го и про 93-й, а теперь история обновилась, все будут писать про декабрь 2011-го.

\* \* \*

Уходя, Рая оставила коробку с мужскими образцами парфюма. У нее был свой бизнес, и вот почему-то оставила. Забыла, наверное, у нее клиенты в основном женщины. Я сначала хотел ей позвонить, но потом подумал: «Хоть что-то. Вдруг еще Андрей трубку возьмет».

Образцы — это десятисантиметровые стеклянные трубочки. Я осторожно откупорил все тридцать и аккуратно понюхал. Выбрал одну и обрызгал свою черную водолазку, но тут зазвонил мобильный:

— Ты, может, со мной хоть на «Тримиксов» сходишь? — смеялась Лёля.

— А Олег-то твой чего?  
— Муж мой на папе женился, опять поехал с ним на рыбалку.  
— А новорожденного на кого оставишь?  
— Стасик тихий, да и сиделка есть, филиппинка, ни слова по-русски, но умная как собака. Встречаемся у «Билингвы» в 20.00. Меня пропустят по флаеру, а с тебя 300 рублей.

«Вот так всегда», — подумал я и положил трубку.

«Билингва» — самое страшное место на земле. В какой день и во сколько бы вы туда ни пришли, обязательно встретите одного-двух знакомых, которые у вас поинтересуются, как идут дела.

«Тримикс» пел странно — музыка великолепная, вокал блестящий, но стихи им писали графоманы со «стихов.ру». Когда к нам подошла солистка Мариша, мне даже было стыдно что-либо ей сказать, потому что все было бы неправдой. Пришлось хвалить голос и бас-гитариста. Бас-гитарист ходил во фраке. Обычно это грязные, волосатые, бородатые люди под кайфом. Наш гитарист был во фраке, и это много о чем говорило.

В молодости читал Ремарка, недописанный роман «Тени в раю», кажется. Там герои всё время предаются любви, ходят голые и едят венгерский гуляш. Всю свою сознательную жизнь хотел узнать, что это такое, а если повезет, то и попробовать. В «Билингве» увидел в меню венгерский гуляш и сразу заказал. Оказалось, Рая так говядину тушила с перцем, только в ресторане три четверти мяса вынули и долили кипяченой воды.

Лёля пила шампанское «Асти». Олег приучил Лёлю к шампанскому. Весь вечер она разглядывала меня сквозь бокал, молчала, строила глазки, а где-то полдвенадцатого потащила к выходу.

Мы уселись в «БМВ», и она неожиданно наклонилась ко мне, прямо к уху, и прошептала:

— Ты чем пахнешь, Игорек?

Потом Лёля пересела на заднее сиденье и стала расстегивать пуговицы на своей кофточке. Я знал Лёлю семь лет, водил по притонам и клубам, и у нас ничего не было, а тут вышла замуж и нате.

Вечером я позвонил Рае и спросил:

— Какой запах был в бордовом пробнике?

— «Сантал-бланк». Унисекс.

\* \* \*

Света свесилась с моего балкона второго этажа. Ее рыжие волосы болтаются по ветру и напоминают «алые паруса». Ассоль, точно Ассоль. Содержимое ее желудка планирует на «огород», который долго и бережно обустроивала дворничиха тетя Люда. У нее есть Чебурашка из прогнивших тазов, зеленый крокодил Гена из просроченного бетона, деревянный ослик Иа, выкрашенный, как зебра, в

монохромном диапазоне. Я все жду, когда Света закончит, чтобы утащить ее на кухню и напоить чаем. После бутылки виски «Белая лошадь» Света тяжела, и мне приходится прикладывать все усилия, чтобы перетащить ее неподатливое тело. На кухне хозяйка галереи «Танин» не успокаивается и достает из холодильника мое пиво:

— Вот мы с тобой, Игорек, семь лет знакомы, а ты до сих пор меня не трахнул.

— Ну, нужна же какая-то причина... запах, стихотворение, музыка.

— Как все у вас, журналистов, сложно.

Захожу в спальню, включаю Бетховена, раздеваюсь, выхожу на кухню абсолютно голый. Света подставляет пустую бутылку пива вместо моего отростка. В горлышко бутылки проталкивает дымящийся окурочок, потом берет бутылку и сплевывает в нее, чтобы затушить.

— Урод ты все-таки, Игорек! Посмотри, что вокруг. Люди в ленточках ходят, страна цветет, все изменяется, на душе праздник, новый мир, новые идеи, свет в конце тоннеля, яркий режущий глаза свет, а ты бутылку нацепил и к пьяной дуре лезешь. Вот ты вроде журналист, ты о чем пишешь?

— О чем скажут.

— О чем скажут? Ха, — языком еле ворочает.

Идет в спальню, где вырубается, я ночью в гостиной. Наутро рассказывает о Панкрашине. Он теперь рисует иконы. Ему заказ дал сам патриарх.

\* \* \*

Жора Поспелов невоцерквленный человек, но отмечает все религиозные праздники независимо от конфессии. В его живом журнале вы можете найти записи: «Со светлым католическим Рождеством», «Да здравствует Пасха Господня», «Радужного Пейсаха», «Ид мубарак Курбан-Байрам».

Если бы мне предложили выбрать между католичеством и православием, я бы выбрал католичество. Или даже протестантство. В католичестве меня привлекают скамеечки, на которых можно сидеть во время службы, а в протестантстве то, что служба проходит на родном языке.

Нинель уехала в Дрезден показать мужу сына, Светлана нашла гения, которого выхаживает и водит по мэтрам. Осталось ехать в Коктебель с Поспеловым. Только тронулись с Киевского вокзала — на бетонных заборах «Православие или смерть», «Русские идут», «Жрите богатых».

От чтения нас отвлекли попутчики, которые выставили на стол две бутылки водки. Мы с Поспеловым тяжело вздохнули, потому что хотели доехать до Крыма трезвыми. Вот, понимаете, никогда не уда-

ется доехать до Коктебеля в нормальном виде. Всегда встретятся какие-то людишки, которые опоят тебя, да еще назовут это хорошей компанией.

Попутчицу зовут Инга. Вроде ничего, по виду учительница начальных классов. Так и оказалось, сейчас, правда, на рынке книги продает. Ее муж Сергей Леонидович по виду уголовник, но оказался слесарем, каким-то очень ценным, с оборонного завода.

— Вы не волнуйтесь, мальчики, — говорит Инга, — я его перед дорогой раскодировала, чтобы мог отдохнуть.

Сергей Леонидович наливает по полной, а после двух бутылок достает еще две. Возле Орла отключился, все остальные тоже прилегли, но неожиданно Инга встает, забирает билеты и деньги у Сергея Леонидовича и выходит на перрон:

— Ты мне весь отпуск испортил, я с таким алкоголиком ехать в Крым не могу! Прощай, сука!

И уходит. Но после отправления возвращается с нарядом:

— Снимите их с поезда, они пьянствуют и жить мне не дают.

В Курске снимают всех.

— Ну на хера, ну на хера, Инга?! — кричит Жора, аж шапочку свою вязаную на землю бросил.

— Извините, мальчики, вас не хотела.

Решаем дальше в Коктебель не ехать. Возвращаемся в Москву.

\* \* \*

Опять с Лёлей в шумной компании. Олег куда-то уехал или инспектирует торговый центр на Дубровке. На Лёле защитного цвета бриджи и открытая, с вырезом до груди, желтая футболка. Я не могу спокойно смотреть на Лёлю, поэтому отошел на один пролет вниз от курящей компании, хотя и сам дымлю.

Вдруг сверху слышатся крики и женский визг:

— Смотрите, собака!

— Какая маленькая!

— Это тойтерьер!

Человек десять склонилось над никчемной мелкой собачкой, которая от страха ко всем ластится. Лёля берет ее на руки и прижимает к щеке:

— Собака, собака, собачечка...

— Надо найти ее хозяина! — воинственно и решительно говорит Лёля и холодно осматривает своих друзей, которые начинают тужить окурки и заходить в квартиру.

— Лёля, брось щенка. Он сам найдется, хозяйева его сами найдут.

— Это ручная собака, ее нельзя долго оставлять на лестничной клетке.

— Лёля, брось эту псину, — продолжают друзья — дизайнеры и визажисты.

Я стою и снизу наблюдаю эту сцену, молчу, мне по квартирам идти не хочется. Лёля начинает методично обзванивать все двери на этаже. Из последней, четвертой, выходит хозяйка — старенькая женщина со вздувшимися венами на ногах — и забирает собачку. Кто-то из толпы кричит о вознаграждении.

\* \* \*

Новый шеф Иван Иванович, в отличие от прошлого шефа Германа Иосифовича, имеет отдельный кабинет. Ничего особенного, хай-тек, но сам факт, что шеф-редактор сидит в отдельной комнате, увеличивает его статус в глазах журналистской общественности.

Вызвал он меня к себе, откинулся на спинку с виду богатого, но обшитого кожзамом кресла и, ничего не говоря, положил передо мной папку, обычную папку, точнее, не обычную, а черную пластиковую, с кнопкой посередине, — когда закрываешь, раздается щелчок, а когда открываешь, ничего такого не слышно.

Заказал секретарше Юленьке кофе, один кофе. Мне не заказал.

— Надо тебе, Игорь Владимирович, расширять кругозор.

— В каком смысле? — Я немного напрягся и вместо того, чтобы к Ивану Ивановичу подсесть поближе, отодвинул свой стул чуть дальше.

— Если вы, Игорь Владимирович, хотите надолго задержаться на должности главного редактора, то должны освоить этот материал.

Я ничего не сказал, взял папку, при нем не стал ковыряться, пошел в зал, сел за свой компьютер и там ее открыл. И понеслось: как жил Герман Иосифович, что купил Герман Иосифович, кого и сколько раз трахал Герман Иосифович, какая квартира у Германа Иосифовича, какой национальности Герман Иосифович.

Мимо проходил верстальщик Славик.

— Вот скажи, много ли может человек вынести ради денег?

— Дурак ты, Игорь, — ответил Славик и побежал на кухню за кипяченой водой для чая.

Вечером я по очереди звонил Свете, Нинель, Лёле и Рае. Вместо Раи подходил Андрей, Света уехала смотреть фрески в Италию, Нинель за что-то на меня обиделась, у Лёли заболел Стасик.

Я остался один на один с папкой, и даже пиво не помогало.

Андрей, конечно, хороший человек, но он ученый. Ученый считает, что он самый умный. Ученый считает, что ему недодали от общества. Поэтому, хоть я подолгу и охотно с Андреем разговариваю, но понимаю, что он меня не понимает. Я его понимаю, а он меня нет.

И вот сейчас именно с ним, с самым близким мне человеком, я говорить не мог. Меня должны были понять, а у Андрея решение было самое простое и самое верное:

— Уходи.

Я сидел дома в кресле, глушил пиво под звуки The Doors и повторял:

— Fucking life, fucking life.

Потом набрал номер Германа Иосифовича и всё ему рассказал: про Ивана Ивановича, про папку, про статью.

ГИ хмыкнул и, взяв небольшую паузу, сказал:

— Пиши. Если просят, то пиши.

— А к себе меня возьмете?

— Мне бы себя прокормить, — и бросил трубку.

\* \* \*

Однажды мне заказали написать рецензию на книжку стихов.

Я пишу то, что думаю, что вижу, и от этого считаюсь маргинальным критиком. Чтобы написать хорошую рецензию на стихи, надо включить побольше умных слов: аллитерация, формалисты, цезура, глокая куздра. Получающий от вас рецензию будет очень рад, потому что ничего ругательного вы не написали, много научных терминов, легкий слог, нет слов «отстой» и «полное дерьмо».

Рецензию мне заказал Сёма Торохов, старый мой приятель. Поэт третьего ряда, пара строк у него есть, но не более. Самое страшное было для меня, как написать текст, чтобы его не обидеть. В итоге он бегал за мной год, но я так ничего и не написал.

\* \* \*

С Раей было очень тяжело жить. Все хотели ей впердолить. Не успеешь выйти на улицу, а тут уже сосед пристроился, неподалеку одиннадцатиклассник Антон осматривается, да и дворник таджик Алмаз не прочь.

Только где-нибудь на сейшене отвернешься, а вокруг Раи уже образовалась толпа впердолщиков, стоят и почесывают свои прищидалы, пускают слюни и щелкают квадратными челюстями.

Вот, казалось бы, Лёля, модель, 188 сантиметров, а никогда себе ничего не позволяла, умеет и отшить, и послать, а эта стоит — коленки торчат, юбчонка набок слезла, щеки горят, а в глазах такая щенячья радость, что все ей хотят впердолить.

Я ей говорил:

— Ну неужели тебе нравится, что все тебя хотят трахнуть, неужели тебе нравится, что эти потные слащавые кобели готовы оттопырить свои механизмы, чтобы влезть тебе между ног?

Молчит, загадочно улыбается, крутит в руках желтую розочку размером с кулак мясника.

— Погоди, будет тебе срок, поблекнет твоя кожа, пожелтеют зубы от табака, ногти начнут расслаиваться, и все впердольщики разбегутся от тебя, как от лишайной собаки.

Молчит.

Один раз к нам привязался старикан. Смотрел, смотрел из-за соседнего столика, потом в туалете пересекаемся, он мне шепчет:

— Я очень, очень, очень богатый человек. Могу деньги дать, могу на работу устроить, могу машину подарить, но только дайте мне впердолить.

Ничего не сказал в ответ. Взял Раю за руку и бегом из ресторана.

Говорю:

— Только что я на тебе потерял «мерседес».

А так посмотришь, вроде ничего в ней и нет. Рост 160, шатенка, кукольная фигурка, глазки маленькие, губки пухленькие.

\* \* \*

Прошлой весной я шел по Кузьминскому парку: мимо прудов с застывшими рыбаками, размахивающими складными углепластиковыми удочками в надежде подцепить золотого зазевавшегося карпа, мимо детской площадки, на которой на крошечных автомобилях с моторчиком гоняли розовощекие дети в пластмассовых черных шлемах, мимо растянувшихся в песке купальщиков, ленивых, сытых и безбашенных, лихо входящих в мутную люблинскую воду с пятнами мазута, мимо собачников с гигантскими псынами, у псин клыки с перочинный нож, лапы толщиной в высоковольтный кабель, мимо алкашей на лавочках, сжимающих полупустую бутылку портвейна «777» и разговаривающих о Боге.

И вот когда один алкаш, серый, с обвисшим надутым пузом, с впалыми щеками и кругами под глазами поднял свой перст куда-то в небо, а второй рукой отправил содержимое пластмассового стаканчика в бордовую пасть, я понял, что любовь — это чувство счастья и не зависит от того, любят тебя или нет.

\* \* \*

С Леной Левшиной я познакомился у Светы. На очередном сборище художников она сидела в сторонке, теребила бледно-лиловый, в цветочек, платок и молчала. Ах, как она прекрасно и возвышенно молчала! Среди толпы художников, поэтов, прозаиков, потертых бездельников, расхваливающих себя, свои картины, романы, стихи и прочее, она молчала так вызывающе, что привлекала к себе внимание.

Я отвел Свету в сторонку и попросил:



— Познакомь.

Света подвела меня к незнакомке и представила:

— Это Игорьек Дробитько, большой оригинал.

— Это Лена Левшина, последний романтик.

Лена даже не посмотрела в мою сторону. Сидела и пила красное чилийское вино, перекадывала бокал из руки в руку, шурилась, хотя в студии был полумрак, иногда смеялась невпопад, но так искренне, что вокруг светлело.

Я сел рядом с Леной и тоже стал молчать, я смотрел искоса на нее и молчал, все шумели, разговаривали, травили анекдоты, а мы в углу с Леной молчали.

А потом, на выходе, я попросил телефон, и она, Лена, продиктовала свой номер. И я дрожащими руками вбил его в свой старенький Nokia. Она ушла, а я все стоял на пороге и улыбался. Сзади подошла Света, ущипнула меня за бок и, когда я вздрогнул, сказала:

— Она лесбиянка. Недавно ее бросила подруга.

— Господи, какие бы у нас могли быть прекрасные дети!

Поздно вечером, выйдя на балкон своего сталинского пятиэтажного дома, построенного пленными немцами в 1953 году, посмотрев на звездное, мрачное, угрожающе нависшее над крышей с антеннами и котами небо, я понял, что я просто спутник. Я тот, кто летит в промозглом пространстве неподалеку и передает позывные: я здесь, я рядом, я тебя выслушаю и пойму. Я, конечно, ничего не сделаю, да и не смогу сделать, но всегда буду с тобой. Мы никогда не встретимся, если вдруг от какого-нибудь происшествия я не упаду с размаху на землю и не разобьюсь на тысячу осколков.

\* \* \*

Я знаю только одно — надо любой ценой увеличивать количество жизни вокруг себя. Жизнь — это единственное, ради чего стоит жить.

Вчера пришла Нинель, не снимая сапог, прошла в гостиную, села на кожаный, подранный по бокам котом диван, закурила, хотя я обычно курю на кухне, попросила пепельницу:

— Я все знаю, я видела эту рыжую, вы обнимались.

— Это Света, художница, она похмеляться приходила.

— Она трогала твои ягоды, я все видела.

Пришлось накапать ей валерьянки. Потом включили компьютер, поиграли в «Героев магии».

— Ваня не знает, куда поступать.

— Пусть идет в технари, а здесь много букв.

На прощание взяла Соколова, «Школу для дураков».

Наконец-то можно признаться: я не люблю Сашу Соколова. Раньше я этого стеснялся, а тут прочел эссе Гандлевского и узнал, что Лев Лосев тоже не признавал «Школу».

Ушла Нинель, и вдруг такая тоска взяла меня, что и Брегович не помог. Включил я его на всю мощь в гостиной и ушел курить на кухню, а самое главное — никак не мог найти причины своей тоски и сидел так часа два, и под конец, под вечер так с ней свыкся, как будто я и есть тоска. Сидит она во мне и не хочет выходить наружу, потому что если выйдет наружу, то превратится во что-то совершенно непотребное, мерзкое и гадкое.

\* \* \*

Пошли с Андреем на ветеранский турнир. Черенков, Гаврилов, Сулопаров, Радионов, Бубнов.

Их называли циркачами. Трибуны ревели, когда они выходили на зеленое поле. Девушки рыдали, видя их финты. Мальчики, подающие мячи, падали в обморок, когда они обводили одного противника за другим.

Но они ничего не выигрывали, а киевляне выигрывали всё. Этот настырный Блохин, этот рыжеволосый Михайличенко, этот кучерявый Заваров и быstroногий Беланов чемпионами стали, а мы, атаковавшие их весь матч, за минуту до конца пропустили разящую контратаку и всё: они чемпионы СССР.

Потом они встретились в финале Кубка. Федя два раза попал в штангу, Юра в перекладину, Суслик не попал с линии ворот, а рыжий Михайличенко навесил с центра поля на Беланова — и стали они обладателями Кубка.

Но у них была еще одна встреча. Кубок вызова. Они готовились и тренировались на среднегорье, они наяривали на велосипедах по холмам Среднерусской возвышенности, но проиграли по пенальти. Вратарь киевлян Чанов вытащил мертвый мяч из девятки.

«Эй вы, циркачи», — кричали им трибуны.

Сегодня самый важный день в их жизни. К ним на ветеранский турнир в Москву приехали настырный Блохин, рыжеволосый Михайличенко, кучерявый Заваров, быstroногий Беланов и вратарь Чанов.

\* \* \*

Кот пропал. Вторые сутки вою и лезу на стенку. Сидел кот на балконе, а внизу пришли дети и стали его звать. Ну я стоял, стоял, смотрел и вынес кота на улицу детям, а он домашний, на улице первый раз.

Дети его обступили и стали кричать: «Котик, котик, рыжий», — а один пацан подхватил его под передние лапы (под передние лапы котов вообще нельзя хватать!) и потащил. Я за ним. Бегу, кричу:

«Стой!» Он Рыжика бросил, а сам из двора. Я, вместо того чтобы взять кота, вдогонку за мальчиком. Не догнал, а когда вернулся — Рыжика нет нигде.

Все подвалы облазил, весь двор обегал, нигде нет кота. Сел на лавочку, сижу, хочу заплакать, а ничего не получается. Так и сидел, пока не стемнело, пошел домой. Напечатал объявления, но вот уже вторые сутки нет Рыжика.

Лёля звонит:

— Ты чего молчишь?

— Рыжик пропал.

— Я тебе котенка британского принесу.

— Зачем мне британский кот, я хочу Рыжика.

А она помолчала и говорит: «Хочешь, я тебе Стасика покажу? Завтра на Мясницкую к шести подвезу», — и положила трубку.

У Шолохова в «Тихом Доне» нет ни одного кота: коровы есть, быки есть, овцы есть, коза есть, собаки есть, даже мыши с крысами есть. А кошек нет. Ни одной кошки в четырех томах.

\* \* \*

На Мясницкой вечное движение. Оскаленные, попыхивающие бензиновым дымком четвероногие автомобили рассекают на резиновых культяпках. На узких тротуарах жмутся перепуганные пешеходы и лижут мороженое.

«БМВ» Лёли стояло прямо у входа в редакцию. Лёля сияла рядом, у голубой коляски, в которой сидел Стасик, — черноволосый, краснощекий, немного испуганный, похожий скорее на Олега, чем на Лёлю. Лёля достала Стасика из коляски и дала мне.

Первое, что я почувствовал, — это страх. Мои движения стали скованными, мышцы одеревенели и не хотели слушаться. Я с трудом разглядывал лицо мальчика, и оно мне показалось старческим. Такой розовощекий старичок затаил в моих руках, и мне хотелось побыстрее избавиться от Стасика, хотя я и понимал, что вот она жизнь, смотри, радуйся, учись — это и есть жизнь.

— Нравится? — спросила Лёля.

Я немного поежился:

— Нравится.

А потом стал петь: «Чунга-Чанга — синий небосвод, Чунга-Чанга — лето круглый год».

Лёля подхватила песню, и мы пошли по улице. Шли мы медленно, пели тихо, чтобы не разбудить мальчика и не испортить ему вечер.

\* \* \*

Первый раз я бросил курить легко, но пришел к Свете в галерею, все художники и художницы дымят, а я отказываюсь. То-

гда они стали все хвалиться: выставками, картинами, биеннале, премиями, а я говорю, что могу пускать дым кольцами к самому потолку. Света закричала, чтобы я закурил сигарету, ну я и закурил на пять лет.

А второй раз ноги стали отниматься. Встаю утром с постели, а сил уже нет. Лягу отлежусь — ноги заработают. Я иду в редакцию, портфельчиком мотаю.

Врач (старый курчавый грек) меня осмотрел, выписал лекарства и сказал, что курить надо бросать, а то с сосудами проблемы. Еще может тромб оторваться и пойти по организму, и так до самой смерти.

Ах, как хорошо курить где-нибудь на берегу Черного моря в компании старых друзей, потягивая из стаканов тонкого стекла красное сладкое вино «Монте Руж», наблюдая, как волна постепенно заливаает желтый сухой песок белой пеной, как яркие южные звезды стремительно высыпают на черный небосклон и облавой окружают тонкий месяц. Только на юге понимаешь, как хорошо курить, потому что эта меланхоличная размеренность так несвойственна северным городам и так противна чувствам и разуму.

\* \* \*

По работе послали в Заволжск писать статью. На перроне меня встретили, покормили в заводской столовой и повезли на объект. Огромные чистые цеха, журчащий трескучий конвейер, операторы румяные и дебелые, в белых крахмальных халатиках. Одни бабы, ни одного мужика.

Был еще актовый зал: старинный, кумачовый, блестящий, пахнущий детством и коммунизмом. Не хватало только транспарантов и плакатов. Хотя что-то было. «Вперед передовики!», «Табак — яд, брось курить!».

Выступали балалаечники, девочки пели романсы. Потом повезли в единственный в городе ресторан. Расположились узким кругом. От завода три женщины. Кроме нашего стола в зале сидели еще за одним какие-то замученные, усталые, печальные тетки за сорок.

После салата, рулета и водочки захотелось танцевать. Я снял пиджак, ослабил галстук и под «Ласковый май» вышел на середину, а когда уже подергался и захотел вернуться, заиграл медляк, и от соседского стола выскочила одна женщина.

Покружились, пообнимались.

— Вот, — говорю, — из Москвы приехал статью писать.

А она мне визитку в карман рубашки сует.

— У меня дочка в Москве учится. Позвоните, позвоните ей, пожалуйста.

Потом мы еще посидели, выпили, попели караоке.

В гостинице уже утром проснулся. Голова болит, до поезда час, спешно напяливаю рубашку, а из кармана визитка выпадает. С одной стороны Нина Сергеевна. С другой стороны Наденька.

В Москве ловит Иван Иванович:

- Ну что, статью сделал?
- Только что из Заволжска, все готово.
- Ты мне не хитри, ты про Германа Иосифовича написал?
- Делаю-делаю, — и бочком, бочком по коридору.

\* \* \*

Всегда мечтал повесить около двери звонок. Почему этого не делал в течение десяти лет брака, не знаю. Просто как-то не выходило. Так бывает всегда, когда дело видится мелочным и ничтожным, — про него забываешь.

А тут Рая ушла к Андрею, и я пошел в магазин «Свет», что на Люблинской улице, и приобрел радиозвонок. Долго слушал мелодию, проверяя, как работает. В ближайшем ларьке «Союзпечати» купил запасные батарейки.

Дома приклеил кнопку на дверь, а базу вешать не стал и положил на книжную полку. Зачем портить стену, останется ненужная дырка.

Вечером приехала Нинель и спросила:

- Ты зачем купил звонок?
  - Я десять лет хотел, — ответил я.
- В дверь сразу стали звонить.

Сначала пришли к Рае клиенты. Раньше они стучали в дверь, а тут радостно жали на кнопку. Они очень хотели получить пробники. Я сказал им, где теперь живет Рая.

Потом пришли цыгане. Раньше цыгане проходили мимо. Думали, если здесь нету звонка, то нет денег.

Потом пришел Мосгаз. И оштрафовал меня на две тысячи рублей за то, что электрическая розетка на кухне находится близко к газовой трубе.

В довершение всего в три часа ночи зазвонил сосед, отставной майор. Он был уже на втором месяце запоя и требовал денег.

Когда он не сразу ушел, я долго искал провод, идущий к звонку, но вспомнил, что он радиозвонок. Тогда я отнес базу в шифоньер и спрятал под дубленками. Нинель смеялась.

\* \* \*

Олег обычно спрашивает, было ли что-нибудь у меня с Лёлей, а тут пригласил на рыбалку. Не знаю почему, но решил ехать в Ов-

ражки на утренней четырехчасовой электричке. Не люблю, когда забит вагон. Решил ехать в пустом, чтобы никто не ходил и ничего не носил.

Не сомкнул глаз всю ночь, чтобы не проспать, заказал такси. Такси перепутало мою улицу. У меня 40 лет Октября, а оно приехало на 60-летия Октября. Пыхтел на вокзал на каком-то таджике, держал дверь «шестерки» рукой, потому что она постоянно открывалась.

Полшестого вышел на платформу.

— Ты с ума сошел, — говорит Олег и усаживает меня в автомобиль на заднее сиденье, рядом с детским креслом. Потом еще просит пристегнуться, говорит, что так теперь надо, приняли закон.

Я думал, приеду и с Василием Петровичем сразу пойду на рыбалку, но не спал ночь и завалился на втором этаже. Проснулся — рядом Лёля гладит детскую одежду.

— А где все?

— Внизу. Ждут, когда ты проснешься.

Лёля в зеленом комбинезончике, от родов еще не отошла, но полнота ее только красит.

Спустился вниз, поздоровался, собрались и поехали на платный пруд, которым владеет Василий Петрович. В пруду ловится форель.

Достали спиннинги с вращающимися блеснами и покидали с берега, потяжек нет, решили зачем-то надуть лодку. Сели в нее с Олегом и поплыли к центру. Кидали-кидали, и вот я вдруг чувствую затылком, что что-то не так и оборачиваюсь, а Олег сидит и держит весло в руках. Вот, думаю, сейчас как даст мне по затылку и тю-тю. Не станут же Василий Петрович и Лёля родного зятя, мужа и отца сдавать. Спрашиваю:

— Ты чего?

— Ничего, давай поплывем к берегу, Петрович что-то вытащил.

Приплыли, а там лежат две форелины, на воблер потянули.

Ехал я обратно в Москву и всю дорогу думал: «Хотел меня Олег по затылку звездануть или нет?». «Афганцы» опять пели про Кандагар. Они всегда поют про Кандагар. А «чеченцы» поют про Ведено.

\* \* \*

Раньше возле работы, во дворах, в автомастерских жили три собаки: две суки и пес. Если выйти покурить, то какая-нибудь сука обязательно вылезет из гаража и деловито облает. Только кобель никогда не брехал. Иногда даже подходил и мокрым носом утыкался в колени курильщиков.

Кормили их в основном автослесари, но иногда приходили и поварихи из столовой, и гастарбайтеры с рынка, изъясняющиеся на южном гортанном языке, и молоденькие медсестры из ближайшей поликлиники. Я же опасно обходил собак и, как правило, дымил не в курилке, а за зданием, на лавочке.

Но однажды автомастерские закрылись. Хозяин продал землю, на которой стоял гараж. Сначала собаки недоуменно тыкались мордами в закрытые ворота, пытаясь пролезть в узкую щель. Потом они тщательно обнюхали асфальт в поисках привычных запахов бензина и автомобильной смазки. Потом они обежали всю округу, и кобеля даже видели у Политехнического музея, где он вступил в перепалку с местной собачьей стаей.

Когда собаки устали, то легли на землю, повернув острые морды к щели. Иногда, забыв, что охранять уже нечего, заходились в тревожном и требовательном лае, что пугало не только меня, но и сослуживцев.

Через две недели в ворота пролез желтый ощерившийся экскаватор. Своим ковшом, под ор и мат рабочих в оранжевых спецовках, он оставил от гаража загаженный пустырь, мусор с которого на свалку вывезли узкоглазые и нагловатые КамАЗы.

Утром после погрома собаки вошли в распахнутые ворота и ничего не узнали: не было синего обшарпанного гаража, не свербел водой рукомойник, не гудела, как обычно, простуженная вентиляция. Даже улетели юркие настырные воробы.

Кобель постоял пару минут в проеме, поводит головой из стороны в сторону, развернулся и поплелся в направлении Ленинградского вокзала. За ним, опустив морды к асфальту, потрусили суки.

\* \* \*

Фотографии не передавали красоты Лёли. Обычная девушка в стиле 70-х годов прошлого века. Высокая, гибкая, нервная, с нежной полупрозрачной кожей, с острыми чертами лица. Длинные русые волосы до пояса, перехваченные ленточкой. Солистка какого-нибудь ВИА или участница диско-балета.

Один раз я принес на показ смартфон и незаметно сфотографировал Лёлю, хотя это было по контракту запрещено. В зале из опасения снимки просматривать не стал и только дома, когда выложил на компьютер, пролистал все фото.

Ничего. Понимаете, ничего! Как она работала манекенщицей, непонятно. Экранные снимки не передавали ни нимба, ни блеска в глазах, ни одухотворенности, ни резких и каких-то угловатых движений, ни магнетического поля вокруг нее.

Я удалил фотографии с компьютера и не стал их Лёле показывать. Теперь если кто-то фотографирует Лёлю, то я горько улыбаюсь.

\* \* \*

В этот день в метро было много милиции. На платформе стоял ряд в серо-голубой форме, у ног лежала черно-рыжая соба-

ка в кожаном наморднике, вальяжная, сытая и добродушная, и было непонятно, как она схватит нарушителя или набросится на террориста.

За собакой, вдоль станции, опираясь о мраморные стены и мраморные колонны, теснились по двое и по трое молодые безумные курсанты милицейских училищ. От матерых ментов их отличала детская растерянность при виде пассажирских толп, ломящихся на выход. Иногда они вскидывали вверх головы или что-то говорили друг другу. Но лица ничего в этот момент кроме грусти не выражали, словно слова жили отдельно, ничего не значили и ничего не меняли.

Когда я вышел из метро, то попал в плотный тягучий поток. Люди шли, прижавшись телом к телу, и подталкивали друг друга локтями. Понять, отчего это происходит, было невозможно, только откуда-то из центра площади раздавался протяжный гул и иногда доносилось: «Тридцать первая», «Уходи», «Долой третий срок».

Я остановился и повернул голову в сторону памятника, но кто-то сзади зашикал и выдавил: «Чё встал?» Потом толпу неожиданно развернуло, меня отнесло в сторону, к самой обочине. Я уперся грудью в железные барьеры, а голова моя торчала между двумя омовцами со щитами и в касках. Я попытался вернуться в фарватер, но сзади так нажимали, что не удавалось даже как следует пошевелить руками.

Посреди площади стояла сцена, на которой громоздились люди. Их лица были узнаваемы лишь слегка, как будто когда-то в прошлой жизни все они что-то значили для меня, а сейчас прошло столько лет, что все стерлось. Память, ненадежный конвоир, выплевывала какие-то мелкие детали. Все эти люди когда-то, лет десять-пятнадцать назад, были облечены властью, или отягощены славой, или мелькали в телевизоре. Хотя это неправда. Были и совсем незнакомые молодые люди с белыми ленточками. Их даже было большинство, и вели они себя раскованно и убежденно, как ведут себя почти все молодые люди.

Они — юноши и девушки большим числом — окружали сцену. Попадались пенсионеры. Именно молодежь и пенсионеры составляли нестройную толпу. Над ними вились знамена «Левый фронт» и красные полотнища с изображением серпа и молота.

В оцеплении стояло тысяч восемь милиционеров и омовцев. Где-то сбоку, торцом, стыдливо и нелепо красовались пустые «пазики». Около передних колес крайнего автобуса высился седой подполковник и монотонно и устало вещал в громкоговоритель: «Граждане, ваш митинг несанкционированный, вы все будете привлечены к административной ответственности!»

— Сволочи.

— Кто сволочи? — машинально переспросил я и повернул голову в сторону говорившей.



Это была странная юркая женщина в джинсовом костюме, похожая на цирковую обезьянку, каким-то непостижимым образом она курила в толчее и выпускала дым аккуратно между омоновцами. Те радостно и смущенно ловили дым носами. Похоже, им в оцеплении курить было запрещено.

— Все сволочи, — ответила женщина, — одним дома не сидится, а вторые все проходы закрыли.

Вдруг в толпе я увидел Лену Левшину. Одетая не по погоде в легкое цветастое сиреневое платье, она обнималась с какими-то дружбанам и что-то увлеченно говорила им. Я помахал ей рукой, но Лена не узнала или не увидела меня.

А на сцене выступала совсем уж старушка, сгорбленная и седая, со стрижкой каре. За микрофоном ее не было видно, но звук разносился на всю площадь:

— Соблюдайте свою Конституцию!

Старушка закашлялась, а в воздух взмыли плакаты и транспаранты.

Но, оказывается, в толпе были какие-то пришлые демонстранты. Они без осмотра прошли через металлоискатели, стоявшие в левом углу площади, ходили и рвали плакаты, кое-где возникали потасовки, а милиция никак не реагировала.

От увиденного у меня захватило дух. Это было смешнее, чем «Камеди клуб». Я даже забыл, что прижат к барьеру и что спешил на встречу с Нинель. Я наклонился поближе к происходящему, насколько позволяли омоновцы, и, косясь на Лену, полез в верхний карман рубашки за сигаретами.

А в это время к стычкам бежала пресса. Коренастые, мускулистые операторы юрко лавировали среди толпы и снимали самые выдающиеся моменты. Блюстителю порядка закрывали рукой камеры, но операторы вырывали их из лап омоновцев и направляли в гущу событий. В конце концов, милиция и ОМОН решили зачищать собрание. Выборочно выискивали жертву в толпе, брали ее за руки и ноги, волокли по асфальту к автобусам. Первых выдергивали, как правило, лидеров, а потом хватали буйных.

— Нам нужна другая милиция, — закричал вдруг кто-то в толпе, а на другом конце площади раздалось:

— Милиция должна быть с народом.

Обезьянка громко комментировала события, указывая на того или иного персонажа пальцем.

— Смотри, голова бьется по брусчатке.

— Не, ну так можно и морду разбить.

— Гляди, старушенция зонтиком дерется.

Лидеры, предчувствуя скорый исход, сами пошли к милиционерам и стали раздавать Конституции. Маленькие сине-красные брошюры они почти насильно всовывали в огромные лапы подмосков-

ных мужиков, но большинство отнекивалось. Хотя нашлись и такие, которые взяли литературу и даже рассматривали ее, листали прилюдно на глазах у высших чинов.

Через какое-то время на площади тут и там валялись Конституции, раскрыв свои страницы, как сине-красные тропические птицы. По ним уже ходил ОМОН, а одна, влекомая ветерком, подползла к моим ногам.

Соседка угомонилась, к тому же у нее закончились сигареты. Народ рассосался, и она пошла, покачивая бедрами, к ближайшему табачному ларьку. Лену я нигде не видел. Я наклонился. Не сразу, а только со второй попытки поднял брошюру, аккуратно свернул и положил во внутренний карман пиджака.

\* \* \*

Муж Светы, Егор, был геологом или метеорологом. Его никто не видел, но все повторяли, что он красив, как горец в бурке, только глаза круглые, русские, синие. Его никогда не было дома. Пару раз в галерее «Танин» я видел его фотографии, а один раз Света показывала на компьютере ролик с его участием.

Веселый, со смешными ямочками в уголках губ, в американской бейсболке с опознавательными знаками «Кливленда», Егор смотрел в небо и говорил о функции комплексного переменного, в мнимых корнях которой находятся точки бифуркации Атлантического антициклона.

Оператор обошел Егора три раза, и мне открылась широкая мужицкая спина Егора с первыми признаками ожирения на боках.

Он всегда был в экспедициях, откуда привозил Свете минералы: улекситы, кварцы и агаты. Вся квартира Светы была уставлена этим хламом. Пепельницы, отполированные шары, брякающие безделушки.

Света пришла ко мне и подарила «кошачий глаз». В центре кварцевого медальона торчала оливково-зеленая иголочка. Говорит, Рыжик вернется.

Жизнь - странная штука, замечаешь недостаток чего-то важного при исчезновении этого важного. Относишься ко всему так, как будто это было всегда, а потом вдруг кто-то бьет по голове бейсбольной битой, и остается только сидеть на берегу Москвы-реки, курить ганджибас и удивляться, что мимо тебя проносятся такие замечательные мощные «ракеты» с публикой в белых костюмах, под звуки какой-то невероятной музыки типа «Дым сигарет с ментолом» или «Есть только миг между прошлым и будущим».

\* \* \*

Лежим с Нинель в постели. Обычно мы долго не валяемся, чтобы нас Ваня не застал, но ее сын поехал с друзьями на дачу играть

в страйкбол. Он со страйкбола приезжает поздно, стоит перед зеркалом и рассматривает синяки, оставленные пульками, выпущенными из пневматики. Очень ими гордится.

А тут уже час, а мы всё лежим, потому что суббота.

— Вот, — говорит Нинель, — в Германии купили трехлетнему Ванечке хомячка, посадили в клетку с колесом, а хомячок через два года умер. Живут они всего два года. Подходит пятилетний Ванечка и говорит: «Почему Гоша так долго спит?» Володя, мой муж, идет к клетке, а хомяк лежит на спине, околел уже, холодный.

— Интересно, у хомяков есть душа?

— А мы стоим с Володей и не знаем, как объяснить Ванечке, что хомяк умер, что он не проснется, что его не будет уже.

— А у рыб?

— Тогда купили ему щенка, ротвейлера, а потом узнали, что они живут-то всего семь лет. Хорошо, когда уезжали из Германии, Князь еще был жив. Ване было десять лет.

— Почему я не буддист?

— А хомячка, Гошу, Володя даже не похоронил. Просто бросил в мусорный ящик. Сказал, хоронить в Германии животных дорого.

\* \* \*

Сидел, писал статью про ГИ, а тут звонят в дверь. Я сначала не хотел идти, потому что радиозвонок шалит, верещит без повода, но потом все-таки надел халат и, как был с сигаретой в зубах, поплелся открывать. За дверью стоит Антон, одиннадцатиклассник, пьянющий.

— Вот, — говорит, — кот ваш Рыжик, — и просовывает маленького огненного котенка, двух или трехмесячного, что ли.

Стоит, шатается. Мне стало так противно, что я ответил:

— Это не мой кот, мой был здоровый, жирный, семикилограммовый.

— Что, деньги пожалел? — И швырнул котенка под ноги, пошел на лестничную клетку, обернулся.

Дал ему тысячу, говорю:

— Ты только наркоту-то не покупай.

— Не, я «Ягуар» или «Водку с лимоном».

Котенок вошел в дом, сел на ковер и описался. Взял я его на руки и понес к лотку Рыжика.

— На, смотри, вот здесь ссать надо.

Нашел бумажку, как Рая учила, макнул в лужу и отнес в лоток.

Мне кажется, Рыжик жил со мной из-за Раи. Как Рая ушла, так и Рыжик убежал. Пошел бродить по Москве, искать свою хозяйку. Где-нибудь сейчас на помойке роется или едет спокойно в вагоне метро и пищит. Какая-нибудь сердобольная старушка его по голове гладит и причмокивает:

— Э-хе-хе, у меня своих семеро по лавкам.

\* \* \*

Пришло электронное письмо от Жоры Поспелова:

— Как дела? Всё пердишь? Вышли денег.

— Ты где? — спрашиваю.

— Я в Коктебеле, украли мобильник, билеты, ноутбук, кошелек со всеми деньгами, банковскую карточку, вязаную шапочку, пишу из интернет-кафе, здесь девочка знакомая работает.

— Как же я тебе вышлю?

— На почту. Здесь почта есть. Вышли на имя Георгия Евгеньевича Поспелова.

— А как украли-то?

— Сел в хлам на велорикшу. Он меня до улицы Набережной довез, а в гору отказался, говорит, тяжело. Очнулся от холода. Денег нет, ничего нет. Что за народ?

— А жена-то тебе что, не поможет?

— Так она не знает, что я в Коктебеле. Я ей сказал, что в Сербию улетел на фестиваль верлибра.

Все-таки он добрался до Коктебеля...

До зарплаты два дня. Занял у Нинель пятерку, и у Светы семь тысяч, и пошел на почту. Сидит милая девочка, тоненькая, как сигаретный дым, черненькая, но лицо круглое. Наверное, хорватка. Что хорватка тут у нас делает? Им своих геморроев балканских, что ли, не хватает? Взяла у меня десять тысяч и отправила. Две я себе оставил.

\* \* \*

На работе люблю, когда в туалете журналист Коля. Он не моет руки. А верстальщик Славик, редактор Валя и курьер Сережа руки моют. При них надо тоже мыть руки, а при Коле необязательно.

Новый работодатель живет по уставу. Что только не придет в голову человеку, живущему по уставу.

Теперь в нашей газете общепринятый формат: о старости не писать, о болезнях не писать, о наркомании не писать, о демографическом кризисе не писать, о политике не писать, сами знаете о ком не писать. И всё позитивненько, с улыбкой радостной. Я уже привык жить позитивно. У меня розовая кружка для кофе, стараюсь улыбаться как идиот, в конце каждого сообщения автоматически ставлю: «best regards».

Вчера пришло письмо от англичан. Мы этот проект еще с ГИ затевали. Энциклопедия крупного бизнеса в России. Англичане готовы выделить копеечку. Вот теперь передо мной стоит вопрос: перенаправить их к ГИ или сообщить Ивану Ивановичу?

\* \* \*

Не могу найти Лёлю. Звоню-звоню на мобильный — никто не берет трубку. Домашний я и раньше не знал, а если бы даже знал, то никогда по нему не позвонил бы.

Зашел в галерею «Танин» — нет Лёли, зашел в «Фаланстер» — нет Лёли, зашел в «Билингву» — нет Лёли.

С горя поехал в магазин «Метро» за белыми рубашками, у нас теперь все на службу ходят в белых рубашках, а там, в рыбном отделе, Лёля выбирает омаров.

Вот так всегда. Ищешь чего-то, ищешь, мечешься как малек на мелководье, а потом остановишься, застынешь даже не в раздумьях, а просто так, с пустой головой, а оно тебе само в руки плывет и никакого особенного напряжения и не надо.

— А где Стасик с Олегом?

— У Олега сегодня мужской день, он сидит с сыном.

— А как Василий Петрович?

— Строит супермаркет около Дорогомиловского рынка.

Поцеловались в щечку, выбрали омаров и разбежались.

\* \* \*

Надевал рубашку и в кармашке нащупал карточку, которую мне дала Нина Сергеевна в Заволжске. Посмотрел, посидел и набрал номер. В трубке абсолютно детский голос, трогательный и дрожащий.

Начинаю почему-то басом:

— Алло, Наденька, я от твоей мамы.

Поговорили про то про сё: про стихи, про художников. Наденька оказалась двадцатилетней студенткой факультета журналистики МГУ. Пишет диплом по Заболоцкому, «Не позволяй душе лениться». Про политику немного поспорили, она ходит на митинги. Пригласил в Булгаковский дом на Сикорского.

Сикорский когда-то в молодости был большим поэтом, его печатали толстые журналы, по стране в списках ходило одно его стихотворение про космонавтов и ракеты, но потом, чуть позже, лет через десять, что-то с ним приключилось и стихи пошли какие-то выхолощенные, а рядом не нашлось честного человека, который бы сказал ему об этом. Сикорский мог бы измениться или вообще перестать писать, что было бы, конечно, большим благом для русской поэзии.

В миниатюрной, задорной, розовощекой Наденьке мне нравилось все. Смущала только разница в двадцать лет. Рядом с ней я чувствовал себя папой и разговоры вел в основном поучительные, нравственные, полные культурного смысла и философских откровений, но в Булгаковском зашел в туалет, а дверь не закрыл, и вот тут протискивается Наденька и начинает меня целовать и даже более того.

После этого урока любви тон мой снизился, о моральных ценностях я не заикался, да и о философии как-то не очень разглагольствовал.

Если честно, Наденька меня пугала. Не знаю даже чем. Не знаю, как это передать. Раскованностью, что ли, беспокойством, абсолютной открытостью, — с ней невозможно было лукавить.

Рядом с ней я чувствовал себя толстокожим твердокаменным дубом, на котором даже говорливые серебристые сороки боятся вить гнезда, опасаясь, что в самый неподходящий момент дерево рухнет на землю и под своей корявой кроной погребет все их незамысловатое хозяйство.

\* \* \*

С Андреем поехали в баню в Люблино. Это последняя баня в Москве, которая топится дровами. Была еще одна на Лосином Острове, но ее закрыли, точнее, перевели на газ. А в газовых как: нагревается быстро, но хороший пар сложно сделать. Он обжигает и уходит стремительно. Обычно в газовых банях жару напустят, всех положат на пол, а потом размахивают полотенцем, чтобы резко опустить тепло с потолка.

В дровяной бане всё не так. Печка нагревается медленно, но зато пар висит долго. Можно довести температуру до 120 градусов, но это никак не отразится на вашей коже — жечь не будет.

Сидели мы, сидели с Андрюхой, а он вдруг говорит:

— Не понимаю я Раю. Как будто она всегда хочет затеять драку. Приходится сдерживать. Очень тяжело.

«Вот-вот, и я ничего не понимаю», — подумал я.

— Все беды на земле от мужчин средних лет. Стоит у них уже плохо, вот и бесятся, — сказал Андрей, мужчина средних лет, мне, мужчине средних лет.

После пятой парилки выпили по сто и вышли на улицу. Если бы была зима, окунулись бы в снег, хотя это занятие в Москве смешное. Снег ведь грязный, кислотный. Но зимой много охочих до снежного растирания, а сейчас лето. Постояли, покурили. Андрей посмотрел на березку, вытянутую до девятого этажа соседнего здания, и крикнул:

— Странно мы с тобой дружим, Игорек.

Я сплюнул в урну и ничего не ответил.

Рядом сидел огромный, огромный, огромный толстый мужчина и радовался жизни. У него было три подбородка, из-за обширного живота не было видно яиц, жирными были руки, ноги, бока, лопатки, спина. Он сидел напротив нас, пил из горла «Балтику-9» и вызывающе, неестественно и нескромно улыбался. Свет от этой улыбки падал на нас с Андреем, и нам казалось, что всходит солнце, хотя на улице было пасмурно.

— Как можно быть таким толстым и радоваться жизни? — сказал я на ухо Андрею.

— Он просто очень мало знает, очень мало знает, — ответил мне кандидат физико-математических наук Андрей Сергеевич Матвеев.

\* \* \*

У Наденьки сессия. Она то и дело звонит мне на мобильный, и я подолгу рассказываю ей о современной поэзии. У нее курс «Современная поэзия», вот я и рассказываю. Честно говоря, я плохо помню стихи, но хорошо знаю, кто с кем спит, кто с кем живет, кто кого издал и чего это стоило.

Наденьке очень нравятся мои рассказы. Она говорит, что они живые и непосредственные. В перерывах между зачетами мы встречаемся и немного развратничаем.

У Нинель и Вани ГИА. Его, бедного, натаскивали как собачку Павлова, только что слюна не капала. Он так и не знает, куда подать документы. Мне видится, что Ваня технарь. Однажды я полчаса не мог разобрать безынерционную катушку, а он подошел и легким движением открыл кожух. Нинель же хочет отдать его на филолога. Ей очень нравятся филологи и не нравятся математики. Ее бывший муж — математик.

\* \* \*

Статью о ГИ я написал. Получилось ни шатко, ни валко, но уж такие статьи меня никто писать не учил. Вообще, очень тяжело узнавать о человеке все самые интимные подробности, тем более в такой ситуации, как моя.

Дописывал статью дома, уже под утро. Параллельно смотрел НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс», и когда Овечкин в седьмом матче забивал победный гол, я писал письмо Ивану Ивановичу, в которое вложил файл со статьей.

И вот когда оставалось только нажать кнопку «Отправить», я замер и тупо смотрел в каком-то трансе на фотографию Гагарина, висевшую на стене в моей гостиной. Я ни о чем не думал, мыслей не было, голова пустая, даже не пустая, а как будто ее нет совсем на плечах.

И тут где-то за окном, из соседской форточки я услышал:

«Информационная служба “Роскосмоса” в пятницу, 7 сентября, заявила, что причиной падения спутника “Инфотэкс” стали неполадки в двигательной установке третьей ступени ракеты-носителя “Союз”, которая выводила аппарат в космос. Как подчеркнули в космическом ведомстве, аппарат упал на 421-й секунде полета в Тюменской области в районе Тобольска».

Когда я очнулся — письмо ушло адресату.

\* \* \*

Утром встаю, собираюсь на работу — состояние анабиозное. Рыжика-2 еще не покормил, зашел в туалет, выхожу — слышу визг и вой. Отдавил котенку лапку.

Все живое такое хрупкое, ненадежное, еле дышащее, мелкое, слабенькое, а этот дом сталинский пережил моих родителей, переживает меня и моих детей. Все умрут, а дом, как египетские пирамиды, будет стоять.

Позвонил Ивану Ивановичу, соврал, что заболел, а сам взял Рыжика-junior и понес в ветеринарную лечебницу. Врач — женщина, похожая на кошку, — долго меня отчитывала. Я не выдержал, и пока делали рентген, вышел на улицу покурить. Возвращаюсь — вроде кости целы.

Купил Рыжику банку «Хиллса».

\* \* \*

Все мои несчастные любви от того, что я предельно слаб и мягок, несмотря на мою воинственную, даже отморозную внешность. Но, попавшись на наживку мужественности, через какое-то время женщина оглядывается и видит, что все это полнейшая бутафория. Все мои прикормы: крепостцы, сабельки, кожаные офицерские сапожки со шпорами, фуражка с кокардой и кот Рыжик-2 — просто защитная реакция слабовольного организма.

Женщина захватывает одно укрепление за другим (они сдаются без боя), в короткий срок (месяц) или в длительный период (10 лет), и в итоге оказывается, что вот стою я голенький, с пупырышками, под белым режущим глаза светом люминесцентных ламп — со всеми своими болячками, со всеми комплексами, неудачами, бородавками и тщеславием. «Ты очень хороший, славный, отзывчивый человек, но тыфу на тебя», — говорит женщина и уходит, громко хлопнув дверью.

Самое главное, что эта закономерность меня ничему не учит. Все продолжается по кругу, как астрологический цикл. Наверное, кто-то должен смириться с тем, что я просто слаб и безволен.



## Дмитрий БЛИЗНЮК

/ Харьков /



\* \* \*

пыль на стеклах пахнет дыней...  
и наши воспоминания ловко переплетены,  
как провода с венами  
в груди компьютерных Адама и Евы.  
водопад в горах... помнишь: пена, овальный гул, —  
слепая красавица, сверкая бельмами в лунном свете,  
расчесывает густые шелковистые волосы — длиной до самых пят,  
расчесывает до крови восхода, оранжевой, как сок чистотела,  
пока промеж зубьев ветвей не запоят птицы,  
сверлышками незамысловатых мелодий  
вскрывая сейфы тишины;  
звуковые медвежатники — это жаргон весны.  
а домики с крышами из красной, выгоревшей черепицы  
рассыпаны в долине, точно сыпь на бритом лобке.  
загадочные письма разбросаны повсюду —  
без адресатов, и ты можешь открыть любую тайну,  
кошмар,  
чудо,  
прочитать теплицу с выбитыми окнами,  
похожую на скелет древнего ящера.  
И сквозь ребра проросли мордатые лопухи.  
и что твои стихи? что твои мысли, записанные  
как копии завещания неблагодарным потомкам  
странных частиц твоей души?  
а у потомков этой души будет хоть отбавляй,  
но тебя это не смущает, не волнует, не настораживает.  
и ты надеешься, что сегодня  
в стихах выпадет флешь-рояль.  
или хотя бы февраль,  
чернила и плакать.

\* \* \*

заостренные очертания женщины  
прокалывают обои — плечом, подбородком —  
как мурена клыками — пододеяльник.  
точно тело женщины вычерчивали углем  
на ватмане спальни.  
а кофе в турке опять сбежало  
на электричке в Бразилию.  
это речная лилия  
окна  
с прозрачными отогнутыми лепестками.  
посмотри на предгрозовую горизонт —  
фиолетовый тролль с дубиной туч  
надвигается на город —  
медленно, как во сне.  
прикоснись ко мне, обними меня, как плющ,  
сотней рук, не отпускай в будущее  
без тебя.  
без нас.  
под глазами у тебя нежные полумесяцы  
как если со спелой сливы снять кожицу.  
все, кем мы хотели стать,  
научились жить без нас.  
а все наши мечты — саблезубые ангелы —  
отгрызли от нас самые лучшие куски  
и скрылись в чащах судьбы...

\* \* \*

ее отзывчивые губы  
всегда готовы к улыбке, к поцелую —  
так капустница совсем не против  
через миг быть проглоченной ящерицей,  
птицей, атакованной стрекозой.  
красота радиоактивна:  
различаю голубоватое, черенковое свечение  
вокруг ее распушенных волос —  
на шампурах цветущей черешни,  
когда она поздним утром идет на работу;  
и это невыносимо, невыносимо...  
так волка глядят гвоздями, осколками  
против шерсти, против его воли.  
и — выдержав несколько секунд ее взгляд —  
невольно на миг опускаешь глаза,  
как пацан — тяжелый, средневековый арбалет.

привет!  
земля цвета грязного шоколада.  
ее красивые загорелые ноги в босоножках,  
с ремешками, обвивающимися  
вокруг лодыжек, с массивными жабыми камнями  
и стразами, точно высушенный жрец  
с морщинистым тягучим лицом  
в церемониальных бусах и страусиных перьях,  
с костью, пропущенной сквозь мошонку,  
смотрит на тебя — пусто и властно —  
фиолетовым педикюром.  
ну привет...  
и каждая часть ее тела живет своей жизнью  
как провинция, мечтающая отколоться от империи.  
и свет тянется за корешками ее волос  
флотилией бликов и чеширских улыбок,  
тянет весь мир за канаты и кошачьи усы.  
вырывает с мясом деревья, столбы, мосты,  
солнечным ротвейлером впивается в горло.  
и — легко различить лакированное сердце  
в хрустальной вазе — в серванте тела.  
все приоткрыто, напоказ и чуть-чуть драгоценно.  
у каждого желания есть ценник —  
честный. идет филигранная охота на мужчину  
в тренировочном режиме.

\* \* \*

летний вечер... так хорошо дышать,  
точно погружаешься на теплую глубину  
и видишь очертания затонувшего мира,  
туши подводных чудовищ, мачты мертвых кораблей,  
изломы, детали неизведанного материка.  
и скамья — надломленная стрела в черной траве;  
и лунный свет зеленым жеребенком  
слизывает вкусный мазут с трамвайных рельсов  
в свете фонарей:  
журчат и переливаются ожерелья огней...  
но вот бесшумно рвется влажная нить тьмы,  
и огненные жемчужины ловко соскальзывают  
автомобильным светом.  
так в мерцающих сумерках террариума  
отыскиваешь взглядом притаившуюся ящерицу  
или змею, заgrimированную под ветку.

я дышу глубиной — значит, душа еще со мной.  
есть такая примета  
у ловцов за жемчужинами  
и поэтов.

---

я выхожу на веранду в халате  
и натыкаюсь на старое кресло-качалку —  
мумию из полуистлевшего дерева.  
для ковчега все формы памяти хороши,  
даже самые нелепые.  
когда-то мы дурачились на кресле под ливнем,  
раскачивались, задыхались, по-рыбьи раскрыв рты.  
и молнии над головой хлопали в железные ладони;  
я представлял, что мы на корабле —  
накренился посреди свирепого шторма, —  
и нас заливают потоки взбесившейся воды...  
и вдруг мы опрокинулись,  
упали на мокрые плиты под виноградником,  
испугались и рассмеялись.  
я смотрю вверх и улыбаюсь...  
чуть-чуть звездное небо —  
прыщики на широких скулах  
молодой африканки...

\* \* \*

есть женщины, которым нравится  
быть видимыми  
сквозь освещенные вечерние окна:  
специально не задерживают шторы —  
этакий облегченный стриптиз чужого мира.  
сквозь стекло, сквозь тусклую позолоту  
можно поймать оранжевость мига,  
качели любовников,  
или вот — женщина с цыплячьим лицом режет картофель,  
что-то бросает в кипящую кастрюлю.  
а этот лысый циклоп вообще не в тему.  
вот так я возвращаюсь с работы  
сквозь хребтины улиц,  
расступившиеся каменные моря  
и вижу сотни аккуратных, квадратных миров,  
повернутых ко мне стеклянными спинами.

## Тамара ВЕТРОВА

/ г. Лесной, Свердловская обл. /



### СМЕРТЬ ВОШЛА В ДОМ

Когда за Виктором Барановым пришла смерть, ему было шестьдесят четыре года. К тому времени тело свое он износил окончательно; ни на что не годилось, разве смазать его оленьим жиром и положить в прохладное место подальше от людей. Но, к сожалению. Виктору довелось жить в такие времена, когда люди утратили представления о том, как следует поступать в тех или иных обстоятельствах. На место традиций или установлений, продиктованных опытом и здравым смыслом, пришли равнодушие и инфантильность. Смерть Баранова застала врасплох не только его самого, но и нескольких свидетелей этого печального события. Вначале они молча наблюдали, как Баранов хрипел, наливаясь бледной синевой. Не зная, что предпринять, Виктора потрясли за плечи, затем высказали предположение, что он посинел от дряни, которую принял с утра. Но когда Баранов затих — это произошло довольно скоро — наконец сообразили, что тот умирает или даже уже умер. Тут-то началась небольшая суета, ни к чему путному, надо сказать, не приведшая. Какое дело посиневшему человеку до земных усилий его бывших коллег или знакомых?

Общество, столпившееся вокруг тела Виктора Баранова, состояло из сотрудников Дома культуры «Солдатский» — трех или четырех человек, включая, кстати говоря, директора Александра Михайловича Клемова. Глядя на поверженного Баранова, крупный краснолицый директор хлопнул себя по бокам и свирепо оглядел подчиненных. Ему казалось, что они виноваты в том, что Баранов лежит, как покойник, будучи не в состоянии заняться прямым своим делом — а до того, как умер, Виктор почти сорок лет работал в Доме культуры осветителем. Теперь же мероприятие, которое должно было состояться на следующий день — детский утренник по случаю Нового года, — накрылось медным тазом. Виктор Баранов был не только пьяницей, но и единственным специалистом.

Итак, директор, бухгалтер Галина и дежурная, она же техничка уложили Баранова поудобнее на составленные стулья — хотя в этом бессмысленном действии было немного толку. Разве что осветитель теперь не перегораживал своим телом путь и скромно покоился в стороне от людей. Сами же свидетели, после некоторых колебаний, позвонили в «скорую» и теперь дожидались, когда приедут специалисты. Однако прибывший фельдшер, неохотно пощупав пульс на мертвой барановской руке, сообщил, что ничего он сделать не может, потому что Баранов умер. Объявив этот неутешительный диагноз, фельдшер повернулся на стоптанных ботинках и пошел восвояси.

— А это самое... — внезапно оробев, сказал ему в спину директор Дома культуры.

— Чего?

— Ну... забрать-то Витю?

— Мы не забираем, — объяснил врач. — Мы только оказываем первую помощь.

— А куда ж его девать?

Фельдшер пожал плечами:

— Труповозку вызывайте. Только вряд ли они сегодня приедут. Паша Верников ногу сломал, а он на приеме у них единственный. Раньше, чем завтра, точно не найдут замену.

— А куда ж его девать? — тупо повторил директор Клемов.

Фельдшер задумался.

— Ну, — в конце концов, решил он, — пусть тут на стульях полежит. Ему в принципе без разницы.

— Ему-то без разницы, — проворчал директор, с трудом приходя в себя.

На это замечание фельдшер ничего не отвечал, повернулся и уехал, не прощаясь. А Виктор Баранов, Клемов, бухгалтерша и техничка остались в помещении. Тут же около них невидимо стояла смерть, которая еще не успела убраться восвояси. Ее присутствие чувствовалось довольно остро. Каждый вдруг ощутил, что помещение — небольшая каморка, она же курительная комната — как будто сделалось тесным и давит им на плечи, словно бетонная плита. Всем троим тут же захотелось поскорее покинуть комнату. Однако директор, правильно угадав общее настроение, сказал бухгалтерше:

— Нам с тобой, Галина, тут до утра сидеть. Не тут, конечно, — поправился он, бросив косвенный взгляд на Баранова, — а у меня в кабинете. — Сама знаешь: если сегодня финансовый отчет не сведем, — кранты. Причем нам обоим.

— Дык, Александр Михайлович, — слабо возразила Галина.

— Не дык. А сидеть и работать, — отрезал краснолицый директор. — Ты, — сказал он техничке, — можешь отправляться домой. Ключи от здания давай и завтра к одиннадцати утра быть на месте.

Гремя связкой ключей, которые она слепо ткнула в руку Александра Михайловича, и мелко кивая, дежурная неслышно растворилась в темноте за дверью. Директор, бухгалтерша и мертвый осветитель остались одни. К тому времени ночь обступила здание Дома культуры «Солдатский», по ту сторону зарешеченных окон первого этажа бушевала метель, создавая впечатление таинственной внеземной жизни. Директор поморщился, словно глухие удары ветра за окнами и густой мрак были главной проблемой. Бросив последний взгляд на мертвого Баранова, он кивнул Галине, и та послушно двинулась за ним, стараясь не слишком стучать низкими каблуками. Покинув комнату с покойником, директор и бухгалтерша поднялись по каменной лестнице на второй этаж, освещенный люстрой, горевшей на треть. Полумрак добавил уныния в их сердца; оба молча и поспешно миновали просторное фойе с блестящими в полумраке каменными колоннами. Торопливые шаги напоминали бегство, хотя, если вдуматься, от кого было убежать? От зимнего вечера, вторгшегося в пустое торжественное фойе? От воя метели за окнами? От мертвого их товарища?

Добравшись до кабинета директора Дома культуры, бухгалтерша и хозяин кабинета почувствовали некоторое облегчение. Они перевели дух и сели — директор за стол, а Галина на мягкую крутящуюся табуретку. Оба тут же сделали вид, что все идет обычным порядком. Клемов принял от бухгалтерши приготовленные бумаги и углубился в их изучение. Некоторые выкладки Александру Михайловичу приходилось пересматривать по нескольку раз. Дважды буквы и цифры словно отступали от его лица и удалялись в туманную бесконечность. Как будто груды внезапно прилетевших облаков скрывали текст отчета и лишали директора возможности внести посильные коррективы. Клемову пришло в голову, что это усталость шутит с ним такие шутки. Глупости последних месяцев, которые творились на городском культурном фронте, хоть кого могли лишить надежды и уверенности в завтрашнем дне. Начальник Клемова, руководитель культуры, принимал одно дурное решение за другим. Видать, остатки здравого смысла покинули этого крепко выпивающего человека или уж он вообразил себя волшебным богатырем, перед которым черная гора стелется, как послушный мех. В то же время директор Дома культуры понимал, что дело не в одном только начальнике, испускающем клубы нечистого дыма. Дело отчасти было и в нем самом, в Клемове. Он, по совести говоря, совершенно махнул рукой на дела... Да и лапу не раз и не два запускал в общий культурный котел города... И вот теперь нужно было совершить подвиг и с помощью верной женщины Галины свести как-нибудь концы с концами. Однако проклятый покойник на первом этаже не давал Клемову сосредоточиться. При этом Александр Михайлович понимал, что запертый в помещении мертвый осветитель не опаснее живого осветителя, того же Вити Баранова... А ведь раньше

Клемов никогда не отличался особой чувствительностью! Наоборот, был совершенно непробиваемым человеком, а однажды прямо-таки поразил своих товарищей, ударив женщину — бухгалтершу, предшественницу нынешней Галины. Некоторые свидетели, впрочем, сочли, что пострадавшая была сама виновата. Зачем, спрашивается, принялась возражать директору, когда тот — по каким-то, возможно, внутренним причинам — вдруг словно покрылся мертвой древесной корой? Покрывшись задубевшей кожей, Александр Михайлович сделал выпад и нанес удар. Некрасиво, конечно, что и говорить — но когда медведь настигает жертву, он, по чести говоря, тоже не соблюдает этикет. Со временем неприятный эпизод забылся, но сам Александр Михайлович иной раз утром с недоверием осматривал свои покрытые желтыми волосами руки. Как будто проводил ревизию: не выросли ли за ночь ненароком на толстых пальцах когти? Однако поздний зимний вечер, заставший его в покинутом Доме культуры наедине с бухгалтершей Галиной и мертвым Витей Барановым, обнаружил в темной, как берлога, душе директора какие-то живые человеческие струнки. Александр Михайлович почувствовал страх — причем испугался-то неизвестно кого! Поскольку покойник — директор имел возможность в этом убедиться — был тих и не агрессивен. Лежал, молча устремив на потолок открытые глаза... Если бы кто-нибудь вздумал присмотреться, он увидел бы в этих бледных глазах сострадание. Кого жалел мертвый осветитель? Кому сочувствовал? Неужто, тем, кто по долгу службы вынужден будет ходить по путаным темным коридорам Дома культуры «Солдатский»? а затем — опять-таки по долгу службы — будет принужден выходить на пыльную сцену и произносить радостным голосом всякие глупости? Наш юбилей еще не старость, либо что-то в том же духе...

Галина неожиданно сказала:

— И главное, Витя весь в черном сегодня.

— Ну и что. Он вечно в черном трико. С 53-го года, наверное...

— И в трико, и в олимпийке, — упрямылась Галина.

В газах ее мелькнуло непонятое мечтательное выражение, как будто она — юная девушка и стоит утром перед распахнутым окном. А ветер медленно шевелит легкие волосы... С таким странным выражением Галина некоторое время смотрела во тьму кабинета, на время позабыв о документах и бухгалтерских отчетах. Но Клемов ничего не забыл. Из рта его начали вырываться густые короткие звуки, похожие на рычание. Галина вздрогнула, но потом все-таки добавила:

— Я ведь к чему говорю? Все получилось, как специально. Брюки и олимпийка черные, сам Виктор Иванович последнее время тоже почернел — видимо, из-за недолеченного гриппа. Короче говоря, стал похож на *нижнего хозяина*, — с нажимом докончила она.

Галина беспокоилась неспроста. Когда-то ей приходилось слышать, что хозяин Нижнего Мира обычно ходит в черной одежде. Да и



все в мрачном подземном мире так одеваются — по улицам и переулкам Нижнего Мира передвигаются унылые фигуры, одетые в черное. Эта припомнившаяся сказка так поразила воображение бухгалтерши, что она схватилась обеими руками за голову. Галина не была суеверной женщиной, она окончила среднюю школу в Солдатске, а затем и бухгалтерские курсы — но обстановка покинутого каменного Дома культуры с покойником на первом этаже настроили ее на соответствующий лад. Галина непроизвольно оттолкнула от себя кипу бумаг и вдруг беззвучно заплакала.

— Перестань реветь, — хрипло велел директор Дома культуры.

— У меня, — сказала в ответ на замечание Галина, — сестра умерла в Кушве. Причем безо всякой причины.

— Что значит «без причины»? — усомнился Александр Михайлович. — Причина должна быть, на этот счет, к твоему сведению, существуют определенные документы.

Бухгалтерша подняла заплаканное лицо на начальника, причем в глазах ее неизвестно почему загорелась ненависть.

— Одна умирала, — сказала Галина. — У меня тогда тоже был годовой отчет, не поспела...

Клемов посмотрел на сотрудницу водянистыми глазами. В голове его началась путаница. Годовой отчет, покойник на первом этаже, а тут еще какая-то неизвестная сестрица...

— Ты работай, — наконец сказал он. — Сопли разводить все мастера.

Галина молча вернулась к бумагам. Через минуту или две она остановилась и поглядела на начальника.

— Тут не все.

— Что значит «не все»?

— А то, — со злобой сказала бухгалтерша. — Все новые расчеты куда-то делись.

— Новые? — тупо повторил директор.

— Ага. Наша палочка-то выручалочка.

Клемов уставился на кипу документов:

— Хорошо посмотрела?

— А тут и смотреть нечего. Страницы с 31 по 62 отсутствуют. С *новенькими* цифрами...

— Подожди. Но кому надо?..

Галина неожиданно засмеялась:

— А хоть вашей Викусе надо. Злая она на вас, да и на меня. Вам бы, Александр Михайлович, когда на работу идете, *предмет* дома оставлять. А то суете без разбора во всякое отверстие.

— Что мелешь? — вскипел директор. — Какой-такой предмет?

Однако, хотя Клемов и кипятился, он хорошо понял намек Галины. Она выговаривала ему (причем выговаривала в недопустимой, надо сказать, форме), что он вступил в мимолетную связь с младшим

бухгалтером Викой, а потом прогнал девушку из своего кабинета и из своего сердца. Это произошло оттого, что Вика имела детскую привычку шариться в его письменном столе и даже в карманах брюк — стоило только Александру Михайловичу ослабить контроль. Под видом беспечной ласки Вика *дважды* вытягивала у него из штанов — один раз талон на молоко, а другой — около пятидесяти рублей бумажкой. Причем талон за ненадобностью тут же смяла и бросила на пол; выходило, глупая девка к тому же неряха...

— Вика шарилась, — твердо повторила Галина. — Дрянь, а не девка. Либо она, либо Сапунин. Тоже на вас, Александр Михайлович, большой зуб имеет. Подработки в медсанчасти он по вашей милости лишился. А им ой как был водитель нужен...

— Мне летуны не требуются.

— А мог и Витя, прости господи. У него зарплата какая была?

— Как у всех.

— Ну вот. А вы его с этой зарплатой дважды премии лишали. Да еще давеча штраф наложили за порчу имущества.

— Пил, как лошадь, вот и наложил... На таких не напасешься.

Галина вернулась к бумагам и уныло пересмотрела их одну за другой. Утерянных листов не было, злоумышленник аккуратно и со знанием дела утаил самые важные. В оставшееся время нипочем не восстановить...

Бухгалтерша и директор обменялись взглядами.

— Кто? — повторял директор. — Кто, кто?

— В сортир такую кипу не спустишь, — рассуждала Галина. — Не войдут... Домой тоже вряд ли потащили бы. Что же такие *аргументы и факты* с собой нести? Придут, допустим, дознаватели и найдут. Вот ей-богу, Александр Михайлович, у меня такое мнение, что отчет наш где-то рядышком...

— Как же они в кабинет-то проникли? — сказал директор. — Ключи никому не выдадут.

— Очень даже выдадут. Особенно Вите... Дежурная наша ему по отцу родня. Да и любят у нас Вито... любили... Выдадут, да еще спасибо скажут, что вам нагадил.

Клемов угрюмо засопел, а затем злорадно высказался:

— Теперь уж не скажут. Да и Витек больше шариться в чужом кабинете не станет. Неудобно ему в *новой-то должности*...

— Точно говорю, это Виктор, — сказала Галина. — Как же я сразу не сообразила? Пока он живой был?

Лицо Клемова покрылось ржавыми пятнами. Отвесив бледную губу, он погрузился в мрачные размышления.

— Живой, мертвый, — наконец сказал он. — Без разницы, разве нет?

Бухгалтерша растерянно моргнула.

— Сейчас пойдем да и оглядим покойника.

— Бумаг много, — сказала Галина с сомнением. — На теле не разместить...

— Каморку осмотрим. Он последнее время там без конца ошивался... Не иначе, беспокоился, старая сволочь.

— Шестьдесят четыре года не старость, — покачала головой бухгалтерша.

— Заткнись. Подумай лучше, что будет, если отчет не найдем. Причем и со мной, и с тобой.

Это замечание положило конец препирательствам и предположениям. Директор Дома культуры и бухгалтер Галина покинули кабинет и прежним маршрутом — минуя полутемное фойе с каменными колоннами, спустились по парадной лестнице на первый этаж. Ни тому, ни другому не хотелось входить в комнату с покойником, однако делать было нечего. Директор толкнул дверь, но та не открылась. Клемов бросил на Галину дикий взгляд и повторил попытку. Толкнул плечом и стукнул кулаком. Глухой удар разнесся по узкому коридору, соединяющему дежурную комнату с гардеробом.

— Заперся, — беззвучно констатировал директор.

Открытие парализовало его, лишило разума. Темный, как пещера, внутренний мир Клемова словно наполнился плотными испарениями. Александр Михайлович знай себе повторял:

— Заперся, заперся!

Он посмотрел на помощницу с мрачным весельем.

— Да как же это может быть? — шепнула та.

Затем осторожно потянула дверь на себя, и тут же выяснилось, что никто не запирался. С небольшим скрипом дверь открылась, и оба вошли внутрь. Вначале вошла Галина, которую подталкивал в спину начальник, а затем и он сам — причем запнулся о низкий порог и едва не лег рядом с покойником.

Оба были перепуганы и чувствовали слабость в ногах. Директор опустился на единственный свободный стул, а Галина пристроилась на опрокинутом пустом ящике около окна. Теперь затея с осмотром покойника казалась обоим бестолковой и опасной. Что же он — бумаги эти с собой таскал? Под столом прятал? А примесь они за свой глупый обмысл — еще неизвестно, чем дело кончится. «Лопнет у покойника терпение», — подумали пришельцы.

Прошла минута или две, и Галине, а следом и Клемову показалось, что над их головой взошла луна. Как же это луна, когда небо в снежных облаках? Оба недоумевали, но скоро смекнули, что приняли за луну тусклый светильник, который имел обыкновение — из-за какой-то неисправности — светить с разным накалом: то ярче, то более тускло. Вот эту налившуюся молочным светом лампу и приняли за луну...

— Обыскать, и дело с концом, — твердил директор, но к обыску приступить не решался.

Виктор Баранов был одет в черную олимпийку и черные трикотажные брюки, растянутые на коленях. Сверху — рабочий халат темно-синего цвета, одна пола которого свесилась вниз. И без обыска было видно, что под халатом покойник ничего не прячет. Но Клемов, из-за присущего ему упрямства, все-таки настаивал на обыске.

— А под олимпийкой? — повторял он. — Чего-то она у него надулась, гляди, Галя...

— Не стану, — сказала Галина твердо.

— Как так не станешь?

— Сегодня я его обыщу, а завтра он меня, — объяснила бухгалтерша.

Немного попрепивавшись, решили осмотреть каморку, однако осмотр ничего не дал. В ходе следственных действий только и выяснили, что помещение моется не регулярно, а то и совсем не убирается: ключья пыли лежали по углам и шевелились от слабого сквозняка, как живые. Кое-где висела прочная, как гамак, паутина... Галина вернулась на стул и покачала головой.

— Без толку, Александр Михайлович, — сказала она с унынием. — Нету тут бумаг, и нигде нету.

— Сама же говорила, что рядом спрятали?

— Говорить-то говорила. А сейчас мысли прояснились. Вы на него поглядите.

Бухгалтерша имела в виду покойника, и директор, сам не зная для чего, медленно повернул голову. Шея его надулась от напряжения, как будто он поднимал тяжелый груз. В тусклом свете лампы Баранов казался еще темнее, чем был при жизни. Но при этом не слишком изменился: то же выражение равнодушия и некоторого облегчения лежало на мертвом лице.

— Чего смотреть-то? — буркнул директор, отворачиваясь.

— А то. Вы рассудите, Александр Михайлович. Витя ведь умер, так? (бухгалтерша говорила вполголоса и неожиданно хихикнула). А раз умер, значит, его тут больше нет, согласны?

— Что мелешь? Ну что ты мелешь?

— Не мелю, а рассуждаю. И вообще не нукайте. Нанукались, хватит уже. Вити, — убежденно повторила Галина, — больше нет, он *внизу*.

— Пока, — криво усмехнувшись, возразил директор, — не внизу. Вот зароят — тогда другое дело.

— Да вы не спорьте. Я точно говорю. Он теперь уже внизу, несколько часов, как внизу. А это так, — пренебрежительно махнула рукой Галина в адрес покойника.

— Так что бумаги наши он прибрал, можете не сомневаться. Ходит теперь с ними по подземным улицам, только зачем они ему там нужны? Выбросит, скорее всего, и их *размечет ветер*...

Стало ясно, что бухгалтерша заговаривается. Потеря важных документов поразила ее сознание. Клемов наконец сообразил, что спорить с Галиной бесполезно и что документов скорее всего не вернуть. При этом в нем неизвестно почему укрепилась уверенность, что именно Витя припрятал отчет. Тогда он вторично совершил усилие и повернул голову. Баранов лежал на стульях, как был положен вечером. Рядом, в двух шагах — но при этом никак до этого гада не добраться!.. Года три дадут, мимолетно подумал Клемов. Общего режима? Не менее трех лет... С трудом двигая ногами, Александр Михайлович приблизился к покойнику, затем наклонился и сунул ему под халат обе руки. Покойник оказался ледяным, как будто отлежал вечер в холодильной камере. Это настолько поразило директора, что его руки тоже словно покрылись коркой льда и утратили чувствительность. Затем в грудь ударило ледяное копьё. Удар был такой силы, словно его нанес волшебный богатырь. Александр Михайлович осел на пол и заметил, что луна опять пробивает снежные тучи и потолок. Затем светильник, налитый молочным светом, померк, и Клемов перестал ощущать страшную боль в груди. Он потерял сознание, а к приезду «Скорой» перестал дышать. Смерть второй раз за сутки пришла в Дом культуры «Солдатский».

«Либо не уходила, — подумала суеверная бухгалтерша Галина. — Как стояла в нижней комнате, так и стоит».



## Михаил НАУМОВ

/ Берлин — Киев /

\* \* \*

В туманной и морозной мгле  
на мрак и холод обреченный,  
деревьев голых абрис черный  
лег письменами на земле.

Я в тайный смысл случайных строк  
проникнуть мог бы попытаться.  
Зачем звезда, устав скитаться,  
погасла? Что ж, всему свой срок.

Немногословный в декабре,  
те строки скорбного прощанья  
забрал навек в ковчег молчания  
природы вдохновенный бред.

### КИЕВ. НАЧАЛО 70-Х

Прав, быть может, быть может, не прав,  
положившись во всем на удачу,  
я с друзьями на склонах Днепра  
безалаберно молодость трачу.

На свободу давно променял  
всё, что было в тоске непритворной.  
Приворожил Владимир меня  
своей проповедью нагорной

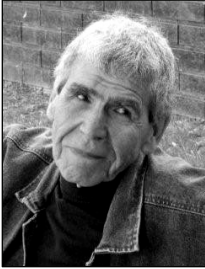
к склонам тем, где крестов якоря  
утонули в ржавеющих кронах,  
где костры так прощально горят,  
как огни на вечерних перронах.

\* \* \*

Под слоем пепла теплится огонь  
Ни зги не видно, тьма вокруг кромешна.  
Ты уголек с ладони на ладонь  
перекати и прикури неспешно.

Истрачено раздумий серебро.  
Подбрось пятак, вдруг близок миг удачи.  
Но падает монета на ребро,  
ни решки, ни орла — могло ли быть иначе?

Могло ли быть иначе — вот вопрос.  
Гляжу на небо, там ищу ответа.  
А надо мною темный купорос  
усеян щедро зернышками света.



## Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ КЁЛЬН /

### АСПИРАНТЫ

1

В.Д. не видел сына шестнадцать лет.

Шестнадцать лет назад, когда В.Д. уводили из дома, он шагнул к сыну попрощаться (старший чекист кивнул головой: можно), мальчик сидел, где ему велено было сидеть, на табурете возле книжного шкафа. Книги из шкафа во время обыска вынули и оставили брошенными на пол. У ног мальчика лежали раскрытые его школьные тетрадки. Сын не встал навстречу отцу. В.Д. нагнулся к нему, поцеловал в маковку и унес с собой на все шестнадцать лет вкус и запах его волос.

Арестовали В.Д. перед самой войной.

2

Жена быстро развелась с ним: объяснила в письме, что делает это ради сына, ради его будущего. В годы войны жена работала экономистом на оборонном предприятии, познакомилась с каким-то генералом и вышла за него замуж. С тех пор, как развелась, он уже не писал В.Д., но тут сообщила, что генерал усыновил мальчика, дал ему свою фамилию и свое имя в отчество и что сын сам этого хотел.

После реабилитации В.Д. снова появился в Москве. Жена через знакомых достала номер его телефона: сын рад бы встретиться с ним — ничего серьезного, просто как бы заново познакомиться. «И по делу найдете, о чем поговорить: он ведь по твоей прежней дорожке пошел — окончил ваш институт. Теперь в аспирантуре. А еще генетику ругают, говорят — неправильная наука».



## 3

По возвращении В.Д. дали 15-метровую комнату в двухкомнатной квартире. Квартира хорошая, светлая, второй этаж, и соседи славные, — лучшего, как говорится, и желать нельзя; правда, далеко, рабочая окраина, от метро «Автозаводская» еще на автобусе.

«Ну, и районец у тебя, — весело покачал головой сын. — Прелестный уголок. Вечером не страшно?»

«Хороший район. Живой», — без улыбки отозвался В.Д.

Когда его арестовали, сыну только-только исполнилось десять, — теперь перед В.Д. сидел высокий широкоплечий мужчина, пожалуй, уже чуть полноватый, с румяным лицом и хорошо уложенными на пробор светлыми волосами.

Сын извлек из портфеля коробку шоколадных конфет-ассорти с золотым бегущим оленем на ярко-красной крышке. Портфель у сына был замечательный, желтой тисненой кожи, с двумя замками. «Спасибо, — сказал В.Д. — А я тут торт купил, фруктовый, ты когда-то очень его любил, и чай «Краснодарский», высший сорт. Отличный чай! Кажется, больше всего соскучился по хорошему чаю».

## 4

«...Мне что рассказывать?.. — В.Д. помолчал, будто прислушиваясь к чему-то. — Пережитое вспоминать еще время не пришло, а в новой жизни я только начинаю, вода в мельницу не набралась. Вот ты, как я понимаю, уже в пути, есть, что предъявить. Куришь?»

«Нет. Принципиально».

«Это хорошо. Я а, ты уж прости, слаб человек. — В.Д. пристроил сигарету в желтый от никотина костяной мундштучок, чиркнул спичкой. — Мать-то как? Ладишь с ней?..»

## 5

Ожидая встречи, В.Д. боялся, что беседа не сложится: придется мучительно придумывать вопросы и, как крепко сидящий гвоздь, тянуть из собеседника ответ. Но сын оказался молодцом, держался просто и общительно, будто и не было этих шестнадцати лет, будто вчера расстались — и вот, снова забегал. Он, похоже, и сам понимал, что говорить о себе В.Д. трудно, и, спасибо ему, был щедр на слова.

С первой же минуты он стал называть В.Д. «папой», генерала же именовал «Павлом Романовичем», лишь однажды оговорился, сказал о нем «отец» (В.Д. почувствовал, как кольнуло в сердце).

## 6

Сын рассказывал о домашних делах, о работе, о своем отношении к происходящему в мире и в стране («оттепель») и совсем лич-

ное: они с Таней уже два года вместе, Таня хочет ребенка, рассчитывают скоро получить квартиру и расписаться. («Чем Таня занимается? Окончила философский, работает в издательстве. И на очень хорошем счету».) Обо всем он говорил громко, откровенно, весело, как человек, у которого всё в жизни ладится и который уверен, что и впредь будет ладиться.

Сын мало того что учился в аспирантуре, — был еще внештатным инструктором горкома комсомола. Недавно ездил в составе советской делегации в Польшу на молодежную конференцию социалистических стран. «Знаешь, какой мы им в Варшаве Дворец науки и культуры отгрохали. Загляденье! Куда там Эмпайр стейт билдинг! Сами для них построили — и подарили».

«Это хорошо, что появляется возможность выезжать за рубеж. Мы о таком и не мечтали. А ведь посмотришь, как другие живут и непременно найдешь много интересного и для себя полезного», — осторожно заметил В.Д.

«Главное — в обойму попасть. Чтобы один раз выпустили — и не подвел. Тогда — выездной. Вот скоро в Праге международная встреча молодых ученых. Я рассчитываю...»

## 7

«...Ну, и кто же твой научный руководитель?» — спросил В.Д.

«Профессор Раева, Екатерина Алексеевна. Помнишь такую?»

В.Д. помедлил с ответом.

«Нет. Не помню».

«А она тебя помнит. Как услышала твою фамилию (я как-то в разговоре, когда можно стало, свернул вроде бы между прочим), сразу сказала, что до войны была у тебя аспиранткой».

«До войны? Ну, это даль несусветная. До войны мало ли что было».

В.Д. снова задумался.

«Нет, не помню. Ну, и что же она, эта Раева?»

«Очень толковая. Генератор идей. И что ни возьми, всё знает. У нас один аспирант называет ее «Большая советская энциклопедия». Смешно, да? В институте она — особа номер один. Абсолютный авторитет. И знаешь, еще довольно молодая, хоть куда еще! — Сын засмеялся. — Вполне аппетитная дама. Как говорится, всё на месте. Я даже приударяю за ней понемножку. Отчасти из дипломатических соображений. Она вроде не против...»

## 8

Раева до войны аспиранткой у В.Д. не была. Прислали ее в институт по рекомендации горкома комсомола, числилась она на ка-

федре у профессора Тимофеева. Но спустя некоторое время стол ее переставили в комнату, где работали В.Д. Шифман и Гордеичев. Девушка хоть куда! Фигура, «изготовленная для вальса» (обозначил Гордеичев), «глаза газели» (обозначил Шифман). Мудрено ли, что все трое тотчас принялись наперебой за ней ухаживать. Разговоры в отделе сделались легкими, искристыми, как обильно появившееся тогда в продаже отечественное шампанское, перемежались остротами, несусветными байками, шутивными словесными поединками, и, что греха таить, шутки шутками, а между друзьями (В.Д., Шифман и Гордеичев были вместе со студенческих лет) иногда возникали даже ревнивые обиды. Девушка вознаграждала их усилия звонким смехом. Всё переменялось, когда Шифман, улучив момент, предупредил В.Д., что про «газель» говорят нехорошо, с ней лучше быть осторожнее. «Гордея предупредил?», — спросил В.Д. «Уже. Надо только держаться по-прежнему, будто ничего не случилось». Они продолжали говорить «газели» смешные комплименты, веселить ее шутками, даже остроумно препирались друг с другом, но из шампанского испарилась его искристая, пьянящая легкость. Аспирантка, быть может, даже скорее всего, заметила что-то, но виду не подала, смеялась всё так же звонко. Потом исчез Шифман. Раеву, хоть еще и не защитилась, назначили на его место. Из комнаты вынесли ее письменный стол, и она пересела за стол Шифмана. В.Д. и Гордеичев шутить перестали. Раевой сделалось не над чем звонко смеяться. На ученом совете В.Д. предложили взять на себя научное руководство ее диссертацией. Он отказался. Гордеичев сердился: «Ты подводишь всех под удар. Мы занимаемся наукой, а не убеждениями. Убеждения не в нашей компетенции. В конце концов Раева — способный человек». В.Д. заметил, что Гордеичев, работая, стал очень низко наклоняться над столом. В.Д. вызвали в партком. Секретарь парткома крутил в пальцах толстый красный карандаш (такая у него была привычка): «Вы решительно отказываетесь взять аспирантку Раеву?» «У меня другой профиль», — сказал В.Д. Он вышел из парткома. Сумрачный институтский коридор был странно пуст для рабочего времени. Все будто попрятались. Сквозь большое окно в торцовой стене трудно пробивался мутный свет пасмурного зимнего дня. В.Д. шел навстречу этому свету и не то что умом, всем существом своим чувствовал, что пропал...

## УТРОМ

«Утро-то какое, а!.. Весна!..» — изумленно выговорил он, когда они вышли из сумрачного подъезда на улицу. «Это надо же, какое утро!..» Он остановился, озираясь, будто увидел всё это впервые, будто после долгого утомительного плаванья оказался на прекрас-

ном сказочном острове. Всю ночь курили, пили, разговоры разговаривали, а в мире тем временем повернулось что-то, небо в промежутках между многоэтажками засветлело как-то по-особенному, воздух напитался запахом свежей влаги и черные ветви деревьев, стоявших вдоль тротуара, вдруг поманили странным, внешне пока себя никак не являвшим обещанием тайно тяжелеющих почек. «Весна, а?..» — повторил он, обернувшись к своей спутнице, будто хотел от нее услышать нечто сокровенное. Она засмеялась: «Когда увидите сие, знайте, что близко, при дверях...»

«Что это?» — удивился он.

«Евангелие. От Матфея».

Они познакомились минувшим вечером в гостях у общей приятельницы, с которой он работал когда-то вместе в терапевтической клинике. Собрались без повода, почти случайно, но вот заговорились и незаметно просидели до света. И хотя разговоры были самые привычные, незначачие и застолье ничем не примечательное, а всё же маленький праздник, и теперь обидно было, да еще таким утром, остаться одному и затвориться на весь выходной в своей тесноватой квартирке, которую он называл «дотом». И с женщиной этой (признавался он себе) не хотелось расставаться, притом, что за всю ночь ничего между ними не было сказано и даже втайне предположено.

Женщина без труда (впрочем, большого труда, наверно, и не требовалась) угадала его настроение. «А не махнуть ли нам на дачу? — предложила она. — Дом у меня теплый, всегда готов к приему гостей. И ехать недалеко».

После смерти жены, четыре года назад, он, не то что бы по убеждению, но как-то само собой сторонился женщин, и, если возникали у него близкие отношения, то ненадолго и такие, которые он считал ни к чему его не обязывающими. С женой они прожили девятнадцать лет, детей у нее в силу врожденной патологии быть не могло, и, как это нередко бывает, бездетность придавала их отношениям особую полноту и сосредоточенность друг на друге. Мысль о том, что отношения с этой женщиной могут оказаться обременительными, кольнула его, но в светлевшем между домами небе всё яснее проступала голубизна и воздух всё явственнее заполнялся пьяным запахом весенней влаги, — он решительно сказал: «Поехали» и вместе с ней направился к машине.

Машина у нее была непривычно вишневого цвета, небольшая, и не привычные «Жигули», а иномарка (тогда еще редкость).

«Откуда такая у вас?» — спросил он.

«Муж оставил. Когда от меня ушел, — задорно отозвалась она. — Ушел — и всё, что положено, разом оставил: машину, дачу, квартиру, ну, и меня, конечно. У него страсть была: разом всё получать и всё отдавать».

«А кто он, ваш муж?».

«Игрок».

«Я имею в виду профессию».

«Я же говорю: игрок».

Некоторое время кружили по неотличимым одна от другой улицам спальных кварталов, миновали эстакаду, перекинутую над железнодорожными путями и выбрались на шоссе, еще пустое в этот ранний час. Ему нравилось, как она ровно, спокойно ведет машину, нравилась ее обтянутая черной кожей перчатки маленькая крепкая рука, лежащая на руле, нравилось, что она молчит. Он был рад, что можно вот так ехать, расслабившись, смотреть, как нескончаемо бегут навстречу белые поля, что не нужно (нипочем не нужно, он чувствовал это) развлекать сидящую рядом женщину плетением словес, шутками и недомолвками, — можно просто сидеть рядом и смотреть вперед, в белый простор, уже слегка позолоченный проглянувшим солнцем. Но он понимал, что что-то уже произошло между ним и этой женщиной и, наверно, неслучайно среди белого бесконечного простора оказались они рядом в тесной жестяной коробке авто.

С высоты моста открылся вид на водохранилище, еще окованное льдом и заваленное глубоким снегом. Два белых пассажирских судна, вмержшие в лед, стояли у причала.

«Дача у нас на канале, — сказала женщина. — Летом сидишь на веранде, а мимо корабли плывут, совсем рядом, вот-вот заденут, — смотришь им вслед и мечтаешь о дальних странах». «Любите путешествовать?» — спросил он.

«Люблю. Но больше мечтать».

«А я чертовски мало ездил. В отпуск заведено: с друзьями на байдарке. А так — всё некогда. Даже в Париже не был».

«В Париже не были? Как же еще вас женщины любят?»

«А меня не любят».

Она быстро взглянула на него и улыбнулась.

...Несколько ступеней вели на высоко стоявшую застекленную веранду. Веранда была полукруглая, внутренняя стена отделана вагонкой. Женщина повернула ключ, отворила дверь в комнаты: «Здесь натоплено. Я только быстренько переоденусь, кофе сварю».

«А можно я на веранде посижу. Очень уж хорошо на воле».

«Не замерзнете?»

«Я морозоустойчивый».

Он опустился в большое соломенное кресло и даже сквозь куртку почувствовал холод, которого оно набралось. Направо виден был угол сада, яблони с укутанными в зимнюю одежду стволами, бревенчатый сарай, редкий штакетник забора и за ним, совсем недалеко, две белые башни гидротехнических сооружений. Небо уже очистилось от утренней хмари, солнце светило вовсю, на поблескивавшем снегу лежали черные, серые, синеватые тени. От яркого снега, от весеннего солнца, от напоенного хмелем воздуха слегка кружилась голова.

Четыре года назад, вскоре после смерти жены он брел однажды ясным майским вечером без цели по Москве. Не задумывая заранее, он оказался у Яузских ворот, где в старинном переулке, возле высившейся на холме церкви Петра и Павла прошло его детство. Он остановился на мосту через Москву-реку. Перед ним раскинулась чудесная панорама города, озаренная густым весенним солнцем: кремлевские стены и башни, купола соборов, легкие дуги мостов, полоса реки, в которой отражалась синева неба, и рядом, почти у ног, протянувшееся вдоль берега ярко-желтое строение Воспитательного дома (ныне Артиллерийской академии). Он стоял, облокотившись на теплые чугунные перила моста, смотрел на открывшуюся ему красоту и думал: «Вот буду умирать, и, может быть, в последнюю минуту возникнет перед глазами именно это». И странно: точно так же теперь, нынешним неожиданно обернувшимся в его жизни утром, глядя на яблони, забор, башни канала, на исчерченный тенями снег, он чувствовал какую-то особость, какую-то тайную сущность того, что явилось его взору.

«Вы что-то совсем замечались. Смотрите, простудитесь». Женщина уже успела переодеться. Серое вязаное платье красиво облегло ее небольшое, ладно сложенное тело. Волосы у нее были темные, слегка рыжеватые, подкрашенные, наверно. Он поднялся, вошел в помещение, сбросил куртку, огляделся. Стены комнаты были тоже обиты вагонкой, но обстановка была не дачная. Того более: лезли в глаза вещи вовсе неожиданные, не соответствовавшие обстоятельствам места. Несколько старинных стульев с обтянутыми бордовым бархатом сиденьями. Какой-то антикварный комод со множеством ящичков и ящичков разного калибра. Добротно окантованные старые гравюры на стенах. «Это всё муж, — женщина обвела рукой вокруг, как бы отвечая его невыказанному недоумению. — Притацит, поставит — и забудет. И уже всё равно ему: есть... нет...» В руке она держала медную кофейную турку.

«Давно вы без него?»

«Скоро четыре года».

Она направилась было в расположенную рядом кухню, но остановилась на пороге. «Он и ушел так же. Всё было хорошо, ни облачка, — и вдруг ушел. Просто встал и ушел. Как ни бывало. Я и не поняла ничего. Выбежала на улицу. Осень. Ночь. Дождь проливной. Сразу промокла до нитки. У нас в Москве недалеко от дома киоск, торгуют в розлив. Я подошла: «Налейте стакан». Продавщица, строгая такая тетка: «Куда тебе стакан». Однако налила. И конфету положила — закусить». Я говорю: «Не надо конфету». А она: «Как не надо? Женщина должна закусывать. Соблюдать себя должна». Я говорю: «От меня муж ушел». А она: «Тем более надо себя соблюдать». Порылась под прилавком и протянула мне соленый огурец. Большущий такой, мятый. Как лапоть. Ничего вкуснее не ела».

Он спросил: «Зачем вы всё это рассказали?»

«Так. Смешно».

«А глаза у нее, и правда, радостные», — подумал он.

Через несколько минут из кухни донесся чудесный аромат кофе. Женщина вошла в комнату с подносом: турка, две чашки, серебряная сахарница.

Он отпил глоток обжигающе горячего ароматного напитка, закурил и произнес нарочито громко, четко, будто декламируя: «Он отпил глоток кофе и закурил сигарету».

Она сказала: «Когда я встречаю такое в книге, я ее сразу закрываю».

Он весело рассмеялся.

## ИГРА В КОСТИ

Автобус по этой дороге не ходил уже два года; остановка, соответственно, тоже стала не нужна; на том месте, где прежде она находилась, где с утра до вечера толпились люди и гомонил небольшой базар, осталось только плоское здание бывшей закусочной. Хозяина закусочной во время беспорядков кто-то пристрелил, намеренно или случайно, в уцелевшем строении размещалась теперь канцелярия контрольно-пропускного пункта. Торговый зал переоборудовали под казарму для откомандированных на контрольный пункт солдат интернационального гарнизона, а в комнате хозяина обитал и властвовал начальник пункта капитан Р. Со стороны фасада имела еще открытая терраса, здесь от прежнего времени сохранилось несколько легких столиков с голубой пластиковой столешницей.

За одним из таких столиков Иван и Нкомо, в эту смену свободные от службы, играли в кости. Встряхивали по очереди в кожаном стаканчике кубики и выбрасывали их на стол. Нкомо, по обыкновению, выигрывал: в кости ему всегда везло. Иван был убежден, что черный ловчит, и пристально следил за каждым движением его быстрых пальцев, но сам Нкомо знал, что ему ворожит знакомый колдун, которому он поднес когда-то половину козленка.

Игре помешало появление Вилли и Чжу Дэ: они привели задержанного. Задержанный, светлый и светловолосый, был не похож на местного. Невысокого роста, тощий, жилистый, с лицом пьющего подростка, скрывавшим его подлинный возраст, он выглядел арестантом, недавно бежавшим или выпущенным из исправительной колонии. Такому впечатлению способствовала короткая, почти наголо, стрижка и серая рубашка с поперечными серыми полосами.

«Это еще что за подарок?» — спросил Иван и слегка отодвинул в сторону лежащие перед ним кубики костей (ему надоело проигрывать).

«Хотел пройти без пропуска на территорию Б, — объяснил Вилли. — И представляешь: не по дороге шел, а прямо по полю».

«Да ты что!» — ахнул Иван.

«Диверсант», — коротко определил Чжу Дэ. Его глаза недобро сверкали в узкой прорези век.

«Капитан спит?» — спросил Вилли.

«Хлебнул за обедом и дрыхнет, — сказал Иван. — Что ему еще делать: жара».

«Капитан не велел его будить», — сказал Нкомо.

«Придется. Если бы только без пропуска. А то ведь прямо по полю. Я, когда увидел, еле на ногах устоял».

«Лихой нарушитель...» — засмеялся Иван.

«Он — не нарушитель. Он — враг», — объяснил Чжу Дэ.

Задержанный слушал разговор так, будто речь шла не о нем, того более, казалось, он и вовсе его не слышал. Он стоял между приведшими его солдатами и, как зачарованный, смотрел на лежавшие на голубой поверхности стола белые кубики костей. «Что это?» — он показал пальцем. «А ты, правда, не знаешь?.. — Нкомо быстрыми пальцами подхватил оба кубика, бросил в кожаный стаканчик, встряхнул и выкинул обратно на стол. — Вот так. Теперь считают черные кружочки: сколько вместе на двух костях. У кого лучше число, тот выиграл. Видишь: два и пять. Вместе — семь. Семь — очень хорошее число. У меня часто выпадает семь. Три и четыре. Шесть и один. Я хорошо играю в кости».

«А мне можно попробовать?» — попросил задержанный.

«Надо на него наручники надеть», — забеспокоился Чжу Дэ.

«Да пусть бросит разок, — остановил его Вилли. — Может, это у него последнее желание. Всё равно расстреляют. С тех пор как капитану взгрели задницу за то, что слабо борется с терроризмом, он всех кого ни попадя пускает в расход по шестой статье».

«Да уж, с этим у нас дело не задержится», — сказал Иван. «Сам же и полоснешь из автомата», — пообещал он Чжу Дэ.

«Я вот не люблю из автомата, — сказал Вилли. — Я люблю из пистолета. Автомат — это убийство. А пистолет — искусство».

Нкомо положил кости в кожаный стаканчик, протянул задержанному: «Бросай». Задержанный, не встряхнув стаканчик, опрокинул его высоко над столом. Кубики со стуком упали на голубой пластик, покатались по нему и вдруг, вместо того, чтобы лечь, как должно, на одну из плоских граней, встали на угол и остались так стоять. Все смотрели на них растерянно и изумленно. Иван даже стол потряс, но кубики будто гвоздем приколотили.

«Я предупреждал», — Чжу Дэ принялся отстегивать висевшие у него на поясе наручники. «Погоди», — остановил его Вилли. «Как ты это сделал?» — спросил он задержанного. «Не знаю. Я просто бросил их на стол. Я сделал что-нибудь не так?» Задержанный пе-



реводил взгляд с одного солдата на другого. «Пусть еще раз бросит», — Нкомо быстро подобрал кости и протянул стаканчик задержанному.

«Что тут происходит?» — капитан Р. появился на террасе. Он тяжело переносил жару. Его лицо было влажно от пота. На форменной рубашке, плотно облегавшей живот и спину, темнели пятна. «Что тут у вас происходит?»

«Капитан, — закричал Нкомо, — посмотрите, как он бросает кости!» И скомандовал: «Бросай!»

Задержанный перевернул стаканчик: кубики со стуком упали на стол и будто вонзились углами в голубой пластик.

«Так бросать нельзя, — строго сказал капитан Р. — Есть правила игры. Почему ты бросаешь не по правилам?» — повернулся он к задержанному.

«Я не знал, что так нельзя, — сказал задержанный. — Я просто перевернул стаканчик». «Успеешь три раза подохнуть от жары, прежде чем они поймут, что надо жить по правилам. Пропуска у тебя, конечно, тоже нет? Почему ты поперся на контрольный пункт? Разве тебе неизвестно, что с территории А на территорию Б можно проходить только с пропуском?..»

«А он и не проходил через контрольный пункт, — вмешался Вилли. — Он шел прямо по полю...»

«По полю?! — капитана Р. едва удар не хватил. — Там же всё заминировано! Каждый метр!»

«Шагал по минному полю, как по ковру», — подтвердил Вилли.

«Большой враг», — глаза Чжу Дэ яростно сверкали.

«Ты, оказывается, умеешь не только кости бросать?», — капитан Р. пристально вглядывался в лицо задержанного.

«Я не знал, что там мины», — объяснил задержанный.

«Да, ты парень не промах. Гуляешь по минному полю и держишь нас за дураков».

«Я не гулял, господин начальник. Я просто шел с гор А... — задержанный показал большим пальцем через плечо; за его спиной, далеко, у самого горизонта тянулась почти призрачная полоска гор... — в горы Б...» — он кивнул на такую же полосу далеко впереди.

«Что ты собирался делать в горах Б?»

«Жить...»

Задержанный опустил голову. Он давно отвык разговаривать так долго.

«Имелось при нем что-нибудь?» — спросил капитан Р. у Вилли.

Вилли положил на стол холщовую сумку. В сумке находились: фляга с водой, серая рубашка, такая же, как на задержанном, только с продольными полосами, и потрепанная рукописная книга в самодельном картонном переплете. На картоне чернилами было написано название: «Заповеди Кая».

«Кто такой этот Кай?» — спросил капитан Р.

«Мой учитель».

«Он учит ходить по минному полю?»

«Он учит жить в горах».

«Где он сейчас?»

«Его убили».

Капитан Р. достал из кармана платок, вытер пот с лица.

«Подумать страшно: от одной мины взорвалась бы другая, от другой третья, — пол-территории Б могло взлететь на воздух».

«Один тайный враг приносит в тысячу раз больше вреда, чем тысяча явных», — отчеканил Чжу Дэ.

«Слушай внимательно, — обратился капитан Р. к задержанному. — Согласно шестой статье Правил борьбы с терроризмом, я должен тебя расстрелять. Подозреваемый в намерении совершить террористический акт расстреливается на месте без суда и следствия. Приговор приводится в исполнение немедленно. Ты обвиняешься в том, что намеревался проникнуть вглубь минного поля и, жертвуя собой, произвести взрыв огромной разрушительной силы».

«Вы собираетесь меня убить, господин начальник?»

«Расстрелять не значит убить. Это значит привести в исполнение».

«Но мне почему-то не кажется, что я должен сейчас умереть».

«Придется».

«Кстати, как твое имя? Донесение составить».

«Виолетт-о-Виолетт».

«Сочини что-нибудь попроще: смотри, запутаешься на следующем контрольном пункте. В рай, я слыхал, тоже выписывают пропуск», — засмеялся капитан Р.

«У нас пес был Валет, — засмеялся Иван. — Кусачий, сволочь».

Все засмеялись: и правда, смешно, что собаку Ивана звали Валет.

«Отведите его, — приказал солдатам капитан Р. — И не тяните резину: у вас еще смена не кончилась».

«Туда и — обратно», — весело сказал Чжу Дэ.

«Пошли», — Вилли хлопнул задержанного по плечу.

«Могу я взять свою сумку?» — спросил задержанный.

«Согласно правилам, имущество приговоренного конфискуется, — объяснил капитан Р. — Да и зачем она тебе теперь?».

«До гор еще дальний путь, а в сумке у меня всё необходимое».

«Да уведите вы его!» — рассердился капитан Р.

«Подождите! — Нкомо протянул задержанному стаканчик. — Брось еще раз».

Задержанный, не глядя, перевернул стаканчик. Кости со стуком упали на стол и легли как должно, на плоскую грань. Выпало шесть и один.

«А почему они не стали на угол?» — спросил Нкомо.

«Я теперь знаю правила», — ответил задержанный.

«Пошел!» — подтолкнул его в спину Чжу Дэ.

«Забавный мужик! — провозжая взглядом уходящих, сказал Иван. — У нас тоже имелся один такой. Раньше профессор был в городе, а потом к нам переехал, стал кур разводить. Много интересно рассказывал».

«Может быть, он даже колдун, — сказал Нкомо. — Смотри: у него сразу выпало семь».

«Хватит пороть чепуху, — перебил их капитан Р. — Парень научился в тюрьме разным штукам с костями, они там мастера на всякие фокусы, а вы рты поразевали».

Раздался негромкий короткий выстрел, следом вспорола воздух автоматная очередь, и тут же еще одна. «Что это они расстрелялись? — недовольно поморщился капитан Р. — Вилли обычно делает это с одного раза».

Через минуту показались запыхавшиеся Вилли и Чжу Дэ.

«Господин капитан! — еще на ходу закричал Вилли. — Он исчез!».

«Растворился в воздухе!» — закричал Чжу Дэ.

«Вы что, ошалели! — закричал капитан Р. — Там же некуда бежать!»

«Он и не убежал, — Вилли поднялся на террасу. — Он был у меня в прицеле. Я нажал на спусковой крючок, и в это мгновение он вдруг пропал. Как не было».

«Я сам видел: он растаял в воздухе, — тяжело дыша подтвердил Чжу Дэ. — Как дым». «Да кто вам поверит, сукины вы дети! — капитан Р. побагровел от злости. — Такого упустили!»

Он отер платком лицо.

«Колдун», — сказал Нкомо и встряхнул стаканчик.

Кубики покатались по столу и встали на угол.

«Ну, и сволочь же ты!» — рассердился Иван. Он всегда знал, что черный ловчит.

«Господин капитан! — жалобно проговорил Нкомо. — Он меня заколдовал. Я уже не умею правильно играть в кости».

«Научим», — мрачно пообещал капитан Р. и направился в свою канцелярию.



## Ия КИВА

/ Донецк — Киев /

\* \* \*

не ходи на кладбище, там нет никого живого,  
только тот, кого схоронили, очень любили,  
морок, морг, колото-резаные, ножевые,  
в рамочке черной сидит, на тебя глядит  
глазами большими серыми, твоими

на кладбище нет никого, кроме сорок,  
но о том ни гу-гу, о том никому, тсс.., молчок,  
люди приходят, красят ограды,  
кому оно надо, доподлинно неизвестно,  
но время и место красить ограды,  
и мы никого в живых не оставим

за ними приходят безбожные и травяные,  
пьют, песни поют, ничего святого,  
жалко их очень, зачем они все такие  
работящие, мужики настоящие, а вот тоже плачут,  
буду любить тебя всегда, я не могу иначе,  
дайте, пожалуйста, смерть, без сдачи

третьи приходят, не издают ни звука,  
смотрят перед собой, шевелят губами,  
прозвища и имена перебирают,  
трутся телами о потускневший мрамор,  
смерть — это то, что опять случилось не с нами

месяц проходит, больно, как всему живому,  
год проходит, больно, как всему живому,  
пять лет проходят, больно, как всему неживому

## ИЮНЬ

когда закончится этот месяц, полный неизъяснимой боли,  
в котором все дорогое и самые близкие от меня уходят,  
не оборачиваясь на прощанье и не обнимая,  
а я их не отпускаю, целую в глаза и не отпускаю,  
выдыхаю медленно имена, как мыльные пузыри,  
трогаю руками воздух, в котором они стояли,  
улыбаюсь в сумерках вечеру, в который они ушли,

я вдруг вспомню, что на улице лето, сяду в обычный поезд,  
заплету в волосы ленты тихой нежности и любви  
и уеду в Одессу глядеть на длинное пенное море,  
где меня никто не узнает, потому что там все чужое,  
потому что о шум прибоя разбивается шум тоски,  
и песок мое тело укроет от прошлого и успокоит,  
и я буду, наконец, счастлива, стлива, сча, ли...

\* \* \*

странная вещь фейсбук спрашивает о чем ты думаешь  
так это теперь редко спрашивают о чем ты думаешь  
в кого вы сейчас влюблены что сейчас читаете  
нравится ли вам музыка Иоганна Баха  
любите ли вы Брамса слушаете ли Губайдулину  
какой из автопортретов Ван Гога цените более остальных

спрашивают как ты вообще все нормально да  
отвечаешь как будто бы соглашаясь ок все нормально да  
в кране вода повторяет ок все нормально да  
все вокруг понимают что ненормально да

ты и сам себе не можешь ответить о чем ты думаешь  
музыкальная школа пять лет филфака культурология  
человек как бесплатное приложение к постмодернизму  
никому не нужное и необязательное к изучению  
если напишешь о чем ты думаешь станешь текстом  
может быть его прочитают может быть даже расшерят  
поставят лайк или смайлик прокомментируют

пока ты сидишь в черном квадрате маленькой комнаты  
с низким потолком неудобной кроватью советской мебелью  
сам себе мозг выносишь вопросом о чем ты думаешь  
думая что ты думаешь что ни о чем не думаешь

\* \* \*

давай договоримся приблизительно вот о чем  
что эти полгода я все еще буду жить  
не потому что люблю тебя  
не потому что ты меня любишь  
вовсе не потому что никто никого не любит  
просто в эти полгода я выбираю жить  
без планов на послезавтра  
без контурной карты  
без какой-либо уверенности  
в том что жить эти полгода все-таки стоит  
я плохо считаю забываю сдачу в ларьках  
в магазинах может быть все давно обесценилось  
в том числе жизнь в том числе эти полгода  
они ведь ничем не лучше предшествующих тридцати  
просто весомее слово полгода чем шесть месяцев  
как будто бы полкилограмма сухой дорогой колбасы  
которая как и дешевая почти несъедобна  
неотличима по цвету и запаху даже кошками  
не то что нами удивительно неразборчивыми  
не умеющими в темноте различать друг друга  
не знающими что есть тело другого на ощупь  
не понимающими что полгода это смертельно много  
практически как пол-отца или полматери  
поэтому что бы врачи тебе ни сказали  
если они вообще что-нибудь скажут  
не верь им не слушай выталкивай в воздух время  
сквозь каждого Шуберта  
любого Бетховена  
всякого Баха  
крики троллейбусов  
визг перекрестков  
эти полгода я буду слышать только тебя

\* \* \*

а вот представь что будет все вот так  
сегодня впредь отныне и до завтра  
как будто у подножия времен  
глаголов видов несовершенных  
покуда кровь вдруг не устанет гнать  
куда-то запыхавшееся сердце  
и всадник скажет все я не могу  
и конь его падет в сырую землю

а там гляди ж и братья-червяки  
хорал ему поют григорианский  
и смерть им вторит кирие элейсон  
и только жизни не было нигде

\* \* \*

кажется мы счастливы всегда  
кажется мы кажется всегда  
были будем будем были есть  
мы то тут то там произойдем

а вот тот опять надел халат  
а вот тот опять сел покурить  
выключайте суки дети свет  
холодно пусть будет и темно

а мы спать ни разу не хотим  
че он там орет как не в себе  
где мои футболка и трусы  
где мои печенье и кефир

тра-та-та Гаврюша протрубит  
тра-та-та Мишаня подпоет  
стройся в хоровод по одному  
на последний первый рассчитайсь



## Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /

### ТРИ РАССКАЗА

#### ***Vita somnium breve*** **(Жизнь — краткий сон)**

Owê war sint verschwunden alliu miniu jâr!  
ist mir min leben getroumet, oder ist ez wâr?

*«Увы, куда исчезли все мои годы...  
Приснилась мне моя жизнь или была на самом деле?»*

Это — Вальтер фон дер Фогельвейде, средневерхненемецкий язык.

Австрийскому миннезингеру XIII века в двадцатом столетии откликается русский поэт:

*«Я теперь скупее стал в желаньях.  
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»*

\*

Некогда старик-курд предсказал мне, что я разучусь спать — когда-нибудь, через много лет. Теперь я, кажется, понимаю, что он имел в виду.

Усталый от жизни и суеты, я ложусь. Каких-нибудь полутора часов не проходит, открываю глаза. Не уснёшь. Ночник горит на столике рядом с кроватью. Бдительный циферблат кажет глубокую ночь. Сколько-то времени пройдёт, прежде чем я вновь забудусь. И тогда опять, в который раз, передо мной оживёт моя причудливая жизнь.



Мне снится, что я проснулся. И хоть я уговариваю себя, что всё ещё сплю, время моей жизни торопится, часы бесстрастно подтверждают это. Лампа по-прежнему освещает брошенную недочитанной книгу, таблетку спасительного снадобья и стакан воды. Борюсь ли я с бодрствованьем или со сном? Отрываясь от подушки, различаю дощатый стол, хилую лампочку висящую на своём проводе. За столом сидит, уронив голову на руки, инвалид дневальный, потомок древнего племени кочевников персидского Курдистана. В дебрях Месопотамии, в полумраке далёких времён могучий дружный храп строителей египетских пирамид сотрясает ряды двухэтажных четырёхспальных нар.

\*

Сон подобен смерти, от которой можно воскреснуть, и я всё ещё жив. Время спешит, торопится, и вот, считанное число ударов сердца осталось до той минуты, когда дежурный надзиратель на вахте сползёт со своей скамьи. Тряхнёт отяжелелой головой, надвинет на лоб шапку-ушанку со звёздочкой, зевая и заливаясь слезами, выйдет справить нужду к воротам. И, наконец, громыхнет кувалдой по рельсе, подвешенной рядом с вахтой.

И дневальный, очнувшись, поднимется из-за стола.

Тогда распахнётся дверь барачной секции. Нарядчик, рослый мужик, похожий на громилу, кем он и был на воле, ввалится и грохнет о передние нары выскобленной доской, на которой химическим карандашом начертан список бригад, и сколько рабов числится в каждой бригаде, — *ла-адъём!*..

Нет слова хуже. На живописном наречии наших мест — *как серпом по яйцам*.

Подъём! Тяжко, молча зашевелился на нижних нарах подневольный народ, спускает ноги с верхних, спрыгивает на пол. Кряхтя, тащит дневалюга по коридору из сушилки коромысло с производственным вешдоловствием, сваливается на пол ароматно пахнущие жареным, как сухари, ватные штаны, стёганые бушлаты, валенки и портянки. Нет, жизнь моя, ты мне не снишься, я подтягиваю на своих тощих ягодицах лагерные подштанники, завязываю на щиколотках завязки, влезая в порты, наворачиваю портянки, всаживаю спеленатые ступни в голенища растоптанных валенок «б/у»: заскорузные, еле влезешь, к вечеру они разбухнут в сырых таёжных снегах.

Я готов. На мне бушлат поверх телогрейки. На голове-балде, остриженной наголо, бабий платок-тряпка, плотно повязанный, чтобы не дуло в уши, шапка-ушанка с козырьком рыбьего меха, не забыть рукавицы. Теперь гуртом топ-топ в столовую.

\*

Аппетитная вонь шибает в нос, сладостно щекочет ноздри. Бригада расселась на длинных скамьях за столами. Краснорожие амбалы — повезло работать на кухне — несут на вытянутых ручищах фанерные подносы с мисками в три яруса, выкрикивают номера бригад, и сто глоток ревут им навстречу: «Сюда!» Пир викингов, эпическая трапеза чудо-богатырей.

Помбригадира раздаёт кильки, кладёт щепотью на стол перед каждым горку ржавых рыбок. Народ выгребает самодельными ложками баланду из оловянных мисок, а тот, кто некогда был мною, всё ещё дремлет на нарах, ждёт, когда кувалда ударит в колокольную рельсу, когда взорвётся зычный окрик нарядчика.

Всё смешалось в моём мозгу. Горит настольная лампа, и я дохлёбываю гарантийную баланду, допиваю остатки, подняв миску ко рту. Высоко в смутном утреннем небе виден маленький бледный кружок луны. Часы на столике кажут невероятное время.

\*

Утро. Звонок: «Проверка паспортов». Кому неизвестно, что означает этот пароль? И я, как дурак, отворяю — вместо того, чтобы выбросить рукопись вниз, на балкон соседней квартиры. Звонок, раз и ещё раз. Гости выстроились за дверью.

Слишком рано — ещё не успел начаться развод. Ещё не открылись ворота. Ещё топчутся бригады, по четыре головы в ряд, — колыхнулись, двинулись, на выходе начальник конвоя трясёт перстом, считает четвёрки. Надзиратели обхлопывают выходящих, любовно обнимают, лезут под бушлат, нет ли чего неположенного в загодя пришитых к подкладке карманах: шмон перед выходом на работу. Полукругом сидят на поджарых задах, ждут, хищно зевают овчарки.

\*

Жизнь есть сон, прав был великий испанец, не зря хитросплетения жизни столь близко напоминают алогизм сновидений. Но рано или поздно, не сегодня — завтра, как от сна, просыпаешься от жизни. И становится ясно: пресловутая действительность недействительна. Так называемая реальность нереальна.

Звонок в дверь. Тотчас, не дожидаясь, когда колонны рабов зашагают под крики конвоя между рельсами железнодорожной насыпи, побегут крысиной семящей побегожкой, оттого что мало места между шпалами для мужского шага, — тотчас, не мешкая, в квартиру вваливается отряд, семеро мужиков, понятия во главе со следователем.

Плюгавый человек спрашивает фамилию.

Я отвечаю.

Сдать оружие.

Кроме кухонного ножа, не держим.

Оставьте ваши шутки. Документы...

Я предъявляю паспорт заоблачного Королевства Непал.

Это что такое, какое ещё королевство. Где находится?

Кто ж его знает, далековато. Я троюродный племянник короля

Махендры.

Так. Связь с заграничными спецслужбами. Новый материал.

Бумажку под нос, ордер на обыск, подпись прокурора: закон есть закон.

Распахиваются створки шкафов, разбрасываются на пол книги, развинчивается стиральная машина. Раздвинулись ворота лагпункта. Зевают розыскные псы, сидя на поджарых задах. Скучают понятия — статисты без речей.

Письменный стол: следователь потрясает трофейной кипой исписанных листков, на первой странице заголовок: *Vita somnium breve*. Разглашение государственной тайны. Статья уголовного кодекса.

\*

Усталый от слов и забот, от жизни и суеты, я ложусь. Лампа горит на столике рядом с кроватью. Часы показывают глубокую ночь. Сколько-то времени проходит, прежде чем я вновь забываюсь. И тогда передо мной оживает моя причудливая жизнь.

## **ИДУЩИЙ ПО ВОДЕ**

Звук, похожий на бульканье, словно без конца переливали воду кружкой из одного ведра в другое, слышался всю ночь, с ним засыпали и просыпались, и, когда я смотрел на часы — было пять, — и пошатывался, слезая с обрыва, этот звук стоял в ушах. Солнце еще не успело вылезти из-за лесистых холмов, холодные камни казались отсыревшими за ночь.

Кто поверил бы, что накануне бушевал шторм! О нем, правда, напоминали клочья бурой травы, очески от бороды Нептуна, и зализы сырого песка со следами полусохшей пены. Но море было зеркально, пустынно и как будто дымилось белым паром.

Об этом стоит поговорить; мне кажется, я еще никогда не видел такой воды. Перед восходом солнца море было белым, как молоко,

только у самого берега большие камни покачивались в воде и отражались в ней зелеными разводами. Вдали огромная бесцветная гальд сливалась с бледно-фишашковым небом.

И странная мысль являлась на ум при виде этой равнины: кажется, шагнешь — и не потонешь, и зыбким пятном отразишься в воде. Это ощущение плотной, холодной и колыхущейся воды было так живо, что я тотчас принялся что-то сочинять на эту тему; вдали я заметил мерцающую полосу, смутную трассу, косо идущую вдоль горизонта. Так вот что такое были *дороги моря*, эти слова обрели предметность. Вообще я заметил, что смысл многих слов, давно утраченный, оживает, когда окажешься вот так, с глазу на глаз, с морем, землей и небесами.

В кустах над обрывом уже сверкало нечто подобное грандиозной улыбке. Апельсиновый луч брызнул с высоты. Из зарослей дубняка выбралось косматое солнце, свет бежал по песку, и вокруг меня протянулись сизые тени. Тотчас вслед за этим событием слышались озабоченные шаги. Учительница средней школы хрустела по песку в босоножках. Утро уже сияло вовсю. Учительница проспала солнце.

Мы не раз встречались так по утрам, и она угощала меня здешними мелкими грушами. Они были невкусные, но считались витаминными — так о женщине говорят, что она некрасива, но зато умна.

Разговор зашел о плавании. Морская вода держит, сообщила она, в ней много солей.

«Вы преподаете химию?»

«Нет. Но это и так известно. Можно лежать, и не утонешь».

«А ходить по воде можно?» — спросил я.

Мы жевали груши и швыряли в море объедки — чтобы не загрязнять пляж. Я заметил, поглядывая на собеседницу, что ноги у нее не смыкались, факт прискорбный, ибо степень упитанности влияет на мировоззрение. Никакие иллюзии невозможны для женщины, у которой торчат ключицы.

«Видите ли, — пробормотал я, — есть такой рассказ».

Мой вопрос поставил ее в тупик, ей стоило усилий отнестись к нему серьезно. Подумав, она ответила, что такое событие могло произойти — в очень далекие времена. Тот, кто шагал по воде, был пришельцем с другой планеты. Это были обломки чего-то прочитанного.

Итак, она согласна была фантазировать, но лишь под покровительством науки.

Зачем же, спросил я, прилетать с другой планеты?

Она не поняла.

«Какой смысл было прилетать ради того, чтобы заниматься моральной проповедью?»

«Моральная проповедь, — возразила учительница, — это выдумки. Вот это действительно выдумки».

Прищурившись, античным жестом я метнул огрызок груши по поверхности вод. В эту минуту ребристый луч упал на воду, и я увидел Идущего. Он шел, не обращая внимания на жидкий блеск воды, не заботясь о том, как истолкуют его явление. Я сказал:

«Знаете что? Попробуйте вы совсем отказаться от объяснений. Мало ли в жизни невероятного. Может, лучше искупаемся?»

Ответа не последовало — да и какой мог быть ответ? Учительница пошла в море, она смеялась и вскрикивала, говоря, что вода чудо и обжигает, словно огонь.

Наш диспут на этом окончился, и, может быть, не стоило вовсе упоминать о нем. Но для меня он был важен, потому что возвращал меня к тайным и все еще неясным мыслям. Я испытывал нежность к этой компании престонародных апостолов, бродившей за своим учителем по рыжей от солнца галилейской равнине; я видел их, идущих толпой, точно крестьяне с ярмарки, громко спорящих и размахивающих руками или ступающих чинно друг за другом, след в след, как иноки минориты или буддийские монахи.

Учительница вышла на берег, вода стекла с нее, как чешуя. Она обула босоножки, и худые ноги ее захрустели по песку. Пора было завтракать. Я полез вверх по обрыву. Я вел восхитительный образ жизни. Образ Идущего по воде не выходил у меня из головы, и, раз уж это утро настраивало на метафизический лад, я вспомнил слова одного мудреца, кажется, Ясперса, о том, что тот, кто не может уверовать, создает себе веру в своем воображении.

\*

Раввин устал, преследуемый толпой, отовсюду сбегавшейся поглазеть на него, и, когда на исходе дня они подошли к берегу, сказал, что не поедет и хотел бы провести ночь в горах, один.

Компания спустилась в ложбину по следу высохшего ручья, где давали немного тени полужасохшие кусты, которым не суждено было превратиться в деревья оттого, что их обгладывал скот. Был конец десятого часа — по-нашему шесть часов вечера, — и солнце стояло еще довольно высоко. Ученик Андрей отправился к рыбакам, он подошел к крайней лачуге, видневшейся на пригорке, и сейчас же оттуда с лаем выскочила дворняжка. Старик в портках, босой и с одним глазом вышел и стал разговаривать с Андреем.

«Все в порядке, — сказал Андрей, спустившись с холма. — Еле уговорил».

На земле были разложены остатки еды. Симон, который заведовал хозяйством, быстро собрал куски хлеба в мешок; все встали и пошли гуськом по засохшему руслу вниз. И чем ниже они спуска-

лись, тем ярче сверкало внизу между зарослями. За учениками шел старик с веслом и веревкой, а за стариком — мальчик лет десяти, волочивший под мышкой второе весло.

Наконец ложбина кончилась, и сверху перед ними открылась широкая и гладкая равнина. Она блестела, как медь. Это и было Генсаретское озеро, которое местные жители называли морем.

Симон догнал Андрея.

«Сколько ты ему дал?»

«Тридцать».

Симон вздохнул: в кошеле, висевшем у него под рубахой, оставалось двести динариев.

«Ну и сам бы торговался», — возразил Андрей.

Лодки лежали далеко от воды и для верности были привязаны к кольям, вбитым в песок. Старик указал на бокастый баркас, Андрей почесал затылок.

«Одной пары маловато будет», — сказал он.

Хозяин стоял, подняв к небесам свой вытекший глаз. Солнце висело над пеленою сизых облаков, легкий ветер шевелил рубаху старика.

«Отец!»

«Ну чего тебе?»

«Нам бы еще парочку весел».

«И куды спешить на ночь глядя? — проворчал старик. — Ночевали бы уж, а там... Тише едешь, дальше будешь». Он уселся на корточки отвязывать баркас. Учитель, до сих пор молчавший, подошел к Симону и Андрею.

«Езжайте, еще успеете, — сказал он. — Тут недалеко».

Они вопросительно глядели на него. Подошел брат Андрея Петр.

«Не хочет ехать», — сказал Симон вполголоса. — Может, вправду отложиться до утра?»

«Пожалуй, — согласился Петр. — Переночуем в деревне. Извини, батя, — обратился он к хозяину лодки, — мы, того, передумали».

Равнин порывисто повернулся к ним. «Перестаньте, не тратьте времени. Встретимся в Капернауме». И, так как они медлили, добавил, обращаясь главным образом к Петру: «Здесь оставаться больше нельзя».

Они поняли, что он имеет в виду драку в трактире. Пьяный сириец, схватившись с Петром, чуть не убил его. Вернулся мальчик, весь потный и запыхавшийся, он волочил по земле вторую пару видавших виды весел. Ученики — раз-два, взяли! — столкнули баркас на воду. Андрей первым взошел на лодку и сел на корме.

Старик бормотал, глядя на них: «Утро вечера мудренее. И куды нелегкая несет?»

Маленький Симон Кананит упавшим голосом уговаривал рабби взять у него часть денег на всякий случай. Придерживая на груди кошель, огорченный Симон прыгнул в лодку. Кормой вперед баркас отчалил. Передний гребец, оглядываясь, разворачивал, сидевший с ним рядом табанил; позади вторая пара гребцов сидела наготове, подняв весла. Круглый, похожий на скорлупу ореха баркас качался на воде. Потом все двенадцать стали медленно удаляться по медной, лоснящейся глади, лодка равномерно взмахивала веслами, а с берега, заслонясь от солнца, вослед ей смотрели провожатые. Мальчик махал рукой.

Они повернулись и пошли, дед и мальчик впереди, за ними, глядя себе под ноги, шагал высокий понурый раввин. Вот уж их и не видно. Широкой дугой раздалась бухта, открылись прибрежные холмы, позади них выступили скалистые серые горы. Вода сильно блестела. Баркас бойко шел вперед. Плыли молча. Сидевший на носу Петр видел сомлевшие лица товарищей, потные спины гребцов и на корме, над всеми широкое неподвижное лицо Андрея, озаренное точно пламенем пожара. Берег, еле заметный, растворялся в фиолетовом мареве.

Петр думал о рабби, о его словах, сказанных в харчевне, куда они завернули, истомленные зноем и жаждой. Ну и вертеп! С порога в нос шибануло кислой вонью, две-три осовелых физиономии повернулись к вошедшим, больше никто не обратил внимания. Должно быть, сюда еще не докатилась молва о Царе иудейском. Хозяин молча сгреб объедки с длинного стола, растолкал спящих, чтобы освободили место, принес блюдо маслин, кислого вина и четыре кружки на всех.

Бряк! Лоснящаяся от жира монета с головой императора Тиберия ударилась об стол. «Ставлю бутылку, — сказал кто-то. — Я их уже видел». Перед ними стоял широкоплечий и смуглый, могучего вида оборванец, в серьгах, с амулетом на голой груди, грязным пальцем показывал на раввина.

«Иди, Варавва, чего привязался к людям?» — бросил ему мимоходом хозяин.

«Нет, шалишь. Сыграем? Кесарь твой, корова моя». Монета взлетела вверх и покатилась по полу. «Абращка! — закричал Варавва. — Кончай ночевать. Полезай под стол». И Петр вспомнил, как среди нищих один по имени Авраам, подхватив полы лохматого рубища, бросился под стол за монетой, а Варавва с криком: «Зубами, зубами!» — поддал ему пинком в зад.

Он искал глазами учителя, намеревался что-то добавить, но тут приоткрылась дверь, кто-то вошел в ярком свете дня: девушка лет тринадцати, черноглазая, с желтой лентой в волосах. В это время Авраам, воздев руки и держа в зубах золотой, тряся лохмотьями, исполнял какой-то сложный и похабный танец. Варавва заливался

счастливым смехом, а хозяин, скрестив волосатые руки, стоял перед занавеской у входа в другую комнату и без всякого выражения смотрел на них.

Гостя с презрением взглянула на плясуна, она шла танцующей походкой, виляя бедрами под цветастой юбкой, трактирщик хотел остановить ее, она отмахнулась. Тоненький голосок нагло и нежно прозвенел в зловонной харчевне.

«Ай-яй. Какие гости! — сказала она по-арамейски. — Глаза мои не видели, уши не слышали. И где я была?.. — Она свесила голову на плечо, не спуская с раввина лиловых глаз. — Господин, погадай, всю правду скажу. Где счастье найдешь, где голову потеряешь...»

Пришлось потесниться; гадалка, цепляясь юбкой, пролезла между ними. Рядом с учителем она оказалась на две головы ниже, точно ребенок, босые ноги ее висели под столом. Она сорвала с головы желтую ленту, знак ее ремесла, смеясь, тряхнула черными жирными волосами. Варавва засопел, развесил руки.

«Сука! Иди на место!» — прогремыхал он.

Она испуганно хихикнула, сказала быстро: «Жене своей можешь приказывать, я тебе не жена».

Петр скопил глаза: девчонка крутилась, как вьюн, между ним и учителем. Подняв голову, Петр увидел звериные очи Вараввы.

«Кому сказал, ну?!» — лязгнул Варавва. Из всех углов смотрели на них любопытные лица. «Слушай, друг...» — начал было Петр. Гигант, покачиваясь, ввинтил желтые глаза в рабби. Медленно и сначала как будто беззвучно задвигалась его челюсть, на груди закачался амулет, Варавва изрыгнул чудовищно-внятный мат. Женщина, взвизгнув, исчезла под столом. Верзила выбросил вперед цепкую, как щупальце, руку и схватил за бороду раввина.

Кровь бросилась в голову Петру, он вылетел из-за стола. Все повскакали с мест, стукнула, падая, скамейка. Нищие толпились вокруг. Варавва, сцепив ручищи, ударил Петра раз и другой. Кто-то хотел вступить; Петр раскинул руки, отстраняя всех. Рука его шарилась по столу, нашла кружку. Варавва расставил ноги носками внутрь, покачивался, что-то пел и доставал не спеша из-за пазухи короткий, вроде охотничьего, нож.

Петр смотрел врагу в живот, у него был свой план — броситься под ноги и, когда тот рухнет, навалиться сзади и разбить голову тяжелой кружкой.

Вдруг сильная рука остановила его, тонкие пальцы сжали локоть, как клещи. Учитель, худой и высокий, отодвинул Петра.

Варавва проглотил слюну. «Отойди, пахан, — сказал он мрачно, — без тебя разберемся...»

Раввин не двигался и смотрел на Варавву, который держал нож перед животом.

«Бей, чего уж там», — сказал раввин.



Варавва смотрел на него в недоумении. Все молчали.

«Ударь, — повторил раввин. — Ну бей же, если тебе так хочется. Убей меня, и тебе ничего не будет. Они, — он кивнул на учеников, — тебя не тронут, это я тебе обещаю».

Варавва исподлобья следил за ним. Раввин продолжал:

«Если ты ударишь его, то станешь убийцей, и люди будут преследовать тебя. А меня ты можешь убить без всякой опасности. Ведь я — Сын Божий».

Кто-то засмеялся.

«Убей, если не веришь», — сказал раввин и, неожиданно улыбнувшись доброй, жалкой своей улыбкой, раскрыл двумя руками одежду на груди.

Варавва покосился на лица, с жадным испугом ожидающие, что будет, смерил взглядом Петра, усмехнулся. Все зашевелились, раздалось восклицания. Маленький Симон, нервно жестикулируя, что-то втолковывал непонимаемому хозяину.

Мигнув тусклыми очами, Варавва цыкнул слюной через плечо. «Ладно, — сказал он презрительно, — валите отсюда...»

Двенадцать вслед за учителем пошли прочь меж расступившихся людей, но, перед тем как уйти, раввин обернулся, пропуская учеников, и что-то сказал толпе. Петр заметил, что девушка с лентой в руках, всхлипывает, снизу вверх глядя на раввина большими отсвечивающими глазами.

\*

Учителя провожали, то ли благоговей, то ли насторожась и насмехаясь. Кто он был для них: артист-охмурыла, дешевый проповедник, каких было и будет тысячи, или тот, чьим именем он назвал себя? Что они бормотали, когда смотрели с порога вслед удалявшимся в пыли по белой дороге: «Много вас тут шляется» или «Благословен ты, Адонай»? Петр подумал о том, что нужно подставить себя под нож, чтобы доказать им, что ты бессмертен, и умереть, чтобы стать Богом.

Мысль, не понятная ему самому. Но рабби ничего не объяснял до конца. Ученик Петр был порывистым, опрометчивым человеком; он не любит умствовать. Петр вспомнил, как он стоял перед пьяной рожей, выбирая момент, когда кинуться вперед. Вот именно: не рассуждать, а действовать! Он смотрел на своих товарищей, они сидели, раскачиваясь вместе с лодкой, по двое и по трое на скамьях, и на всех лицах было одинаковое выражение терпения, усталости, долга. Гребцы успели смениться, скоро и его очередь.

На корме по-прежнему виднелось лицо Андрея, но золото предзакатного света уже померкло на нем. Обернувшись, Петр увидел, что солнце исчезло в фиолетово-сизых тучах, вода потемнела, ветер

с заката рябил и серебрил ее. Баркас тяжело шел против ветра. Уже давно исчезло из виду восточное побережье, должна была показаться по правому борту песчаная отмель, но море по-прежнему было пустынно. Ни паруса, ни рыбачьей шлюпки. Чайки время от времени шныряли с криком над самой водой.

Ученики вполголоса переговаривались, поглядывали на небо. Гребцы усердно работали веслами. Банка справа должна была находиться недалеко, в таких местах всегда кружится много чаек. А там и берег галилейский покажется, озеро в самом широком месте не превышало шестидесяти стадий. Ничего не показывалось. Чайки покричали и улетели. Впереди черно-пепельное море понемногу пошло белыми барашками. Дул ветер; вдруг стало совсем темно.

Баркас раскачивался, поворачиваясь на волнах. «Табаньте! — командовал Андрей. — Выходите на волну». Большой вал, приподняв нос лодки, прокатился под ними, и передние трое чуть не упали на гребцов. «Ты-то куда смотришь?» — крикнул Симон, хватаясь за что попало. Кормчий, держась за руль, величественно качался на корме вверх-вниз. Все море колыхалось, словно кто раскачивал его.

Ветер трепал волосы Петра. «Держись!» — крикнул кормчий, и новый вал окатил их брызгами. Эх, подумал Петр, не послушали старика... Тупой нос баркаса нырял в волнах. Тучи заволокли небо; теперь, если даже недалеко берег, его не увидеть. Вцепившись в борта, он вперялся во мглу, все еще надеясь различить огоньки Капернаума. Вдруг кто-то сказал: «Боже, что это?!»

«Что, что такое?» — заговорили сидевшие против гребцов, и все стали поворачивать головы. Все увидели привидение, которое медленно подвигалось, точно ехало по воде, и сбоку догоняло лодку.

Теперь можно было различить одежду, посох. Лицо тонуло во мгле. Призрак учителя, точно такой, каким раввин был в жизни, догонял их и, казалось, всматривался в их оцепенелые лица. Ученики, онемев, смотрели на эти шагающие ноги. Ветер стал как будто потише. Лодка, потеряв управление, медленно поворачивалась на воде. Идущий поднял руку. Голос донесся до них.

«Что он говорит?» — спросил Петр.

Все молчали. Донеслось покашливание.

«Не бойтесь, — громко и внятно сказал призрак. — Это я».

«Вот так здорово», — сказал Петр, у которого не оставалось сомнений в том, что он окончательно повредился в уме. — Рабби, — пролепетал он, — ты?»

«Ну да», — ответил голос, и лицо улыбнулось в темноте. Они не различали черты, но видели улыбку. «Успокойтесь же, говорю вам, — сказал он сердито. — Я не привидение».

В самом деле, это был он, стоявший в море, как на плоту. Вода перекатывалась через его ступни, ветер отдувал край хитона.

Что-то происходило с Петром, он вдруг засуетился. «И я, и я к тебе, — бормотал он, волнуясь, — можно?..» Поднялся сердитый ропот: «Куда? этого еще не хватало!» Петр никого не слушал. Дрожая от волнения и отдирая руки, которые пытались его удержать, упершись в чье-то плечо, он перешагнул через борт сначала одной ногой, потом другой, вода была ледяная, ему даже показалось, что он сделал шаг; учитель смотрел на него, опираясь на посох.

Мокрого, стучащего зубами Петра вытащили кое-как из воды. Гребцы взялись за весла. Раввин уже стоял в лодке.

«Эх, ты...» — сказал он Петру.

### **Похож на человека**

«Вот теперь совсем другое дело. Вот теперь ты похож на человека. А то скажут: откуда это он явился? Да ведь это какой-то уличный оборвыш. Костюмчик сидит хорошо. Да, — сказала она, — ты у меня, конечно, не красавец. Но знаешь, что я тебе скажу: внешность — это не главное. Есть такая поговорка: нам с лица не воду пить. Дело не во внешности, а в том, что у человека здесь, — и она постучала пальцем по его лбу, — вот это главное!»

Мальчик хотел спросить, если не имеет значения, какая у него внешность, то зачем нужно было так долго его разглядывать, вертеть туда-сюда, одёргивать пиджак и поправлять пионерский галстук. Тем более что с такой внешностью всё равно ничего не поделаешь. С таким недостатком. Речь шла о самой малости, о ничтожном обстоятельстве, которое будто бы отличало его от других, тем не менее он никогда не рассказывал матери о том, что его ожидает, ведь это значило бы признать, что ничтожное обстоятельство на самом деле имеет огромное значение. Он выглянул из подъезда и убедился, что никого вокруг нет, одни прохожие. Но едва он добрёл до Кривого переулка, неся в обеих руках портфель и мешок с физкультурными тапочками, как раздался свист, тот самый свист, от которого всякий раз вздрагиваешь, как от удара бичом, издаваемый особым способом: пальцы в углах рта, нижняя губа поджата, глаза выпучены и вращаются в орбитах. Свист, не оставляющий сомнений в том, для кого он предназначен. Говнюк прятался в подворотне. С такими людьми ни в коем случае нельзя связываться: замахнёшься на него, выйдет верзила. Мимо прошагал дядька в сапогах. Ученик ускорил шаг и догнал прохожего, чтобы казалось, что они идут вместе. Тот пошёл медленней, очевидно, думая, что мальчишка хочет его обогнать. Впереди был самый опасный двор, но прохожий неожиданно вошёл в подъезд. Мальчик остался один, брёл вдоль облезлых домов с полуразрушенными подъездами, с пыльными окнами и железными створами ворот; угадать, глядя на эти дома, кто там живёт, было так же трудно, как прочесть прошлое на лице старика.

Он уже миновал опасную зону, когда засвистели снова. Коротышка в широченных штанах, с непросыхающей верхней губой, с лягушачьим ртом, куда он засунул чуть ли все пальцы, выкатился из подворотни, вслед ему откуда-то донёсся другой свист, и радостный вопль прокатился по переулку. Главное — не оглядываться.

Не оглядываться, делать вид, что ничего не видишь и не слышишь. Мешок с тапочками бил его по ногам, в затылок попали из рогатки, но ничего страшного не произошло. Он вошёл в школьный вестибюль, уже опустевший, где на высоком, выкрашенном под мрамор постаменте помещался алебастровый бюст Вождя с девочкой на руках. В классе большинство уже сидело на своих местах, дежурный возил мокрой тряпкой по доске. Некто с медным от веснушек лицом, огненноволосяй, шатался между партами. «Ты! — сказал он, подойдя к ученику, сидевшему, как все, рядом с девочкой: это была мера для предотвращения разговоров на уроке. — Линейка есть? Дай линейку». Мальчик вынул линейку. «А румпель-то стал ещё длинней, — сказал парень по кличке Пожарник, — дай померяю». Кругом захихикали. «Сука буду, — продолжал рыжий Пожарник, стяжавший славу и популярность своим остроумием, неистощимой изобретательностью и тем, что он в каждом классе оставался на второй год. — Вчера был на сантиметр короче». Громовой смех встретил эти слова, а соседка с презрительной жалостью поглядела на мальчика. «Училка!» — крикнул кто-то. В класс вошла учительница Все вскочили. Учительница покосилась на доску, где тряпка оставила размашистые белые разводы, уселась за стол и раскрыла классный журнал; началась переключка, фамилии школьников звучали словно впер-вые; в сущности, они были забыты, вытесненные прозвищами.

Нос был вынужден выйти со всеми в коридор, во время перемены оставаться в классе не разрешалось, за этим следил дежурный. В коридоре висела большая картина: легендарный комдив Чапаев в меховой бурке и заломленной папахе, с саблей, на боевом коне. За окном внизу находился школьный двор, но туда идти было незачем. Стоит только выйти, как всё начнётся снова. Он стоял в своём новом костюмчике перед подоконником, как бы отгороженный запретной полосой. Кругом всё галдело и скакало, и если бы он присоединился к другим, то, возможно, оказалось бы, что запретной полосы не было, но она существовала оттого, что он не мог присоединиться, и с этим уже ничего невозможно было поделать. От него отшатнулись бы, как от заразного больного. И прекрасно. Он надеялся, что о нём позабыли. Первая перемена прошла благополучно.

Урок не интересовал его; он сидел, глядя прямо перед собой, по привычке следя одним ухом за происходящим, как собака, погружённая в дрему, улавливает звуки вокруг, и мог бы при необходимости ответить на вопрос учительницы; но мысли его были дале-

ко. На большой перемене он снова занял позицию у подоконника, напротив Чапаева, развернул бумагу с бутербродом, следя за тем, чтобы масляные крошки не упали на костюм; в эту минуту кто-то невзрачный, малявка из младшего класса, подошёл к нему и велел идти туда. «Куда?» — спросил Нос. Малыш показал в конец коридора. Нос отправился, с надкушенным бутербродом, по коридору и вышел на лестничную площадку, там стоял конопатый Пожарник. «Ребя, кого я вижу, — закричал Пожарник, как будто они увиделись впервые. — А вырядился-то. Ты смотри, как вырядился. Куда, — сказал он, преградив дорогу Носу, повернувшись, чтобы уйти, — нам поговорить надо. Это у тебя чего? Дай куснуть». Мальчик молчал.

«Ну дай, — лениво сказал Пожарник, — чего жмотничаешь-то».

Он вышиб из рук мальчика кусок бутерброда, протянутый ему, и приказал: «Подними».

Нос оглянулся, они стояли вокруг. Он поднял с пола бутерброд и протянул Пожарнику.

«Сам уронил, сам и жри», — молвил Пожарник.

С третьего этажа спускалась учительница. «Мальчики, вы что тут?»

«Да ничего, — сказал бодро Пожарник. — Мы гулять идём, ещё десять минут осталось».

«Брось, Пожарник, чего пристал к пацану», — произнёс властный голос за спиной у Носа, выступил человек по имени Бацилла и отодвинул рыжего Пожарника, который без слов подчинился. Нос держал в руках разломанный пополам бутерброд. Человек подошёл вплотную.

«Ну-ка, — сказал он, — повернись к свету».

Мальчик озирался.

«Маму твою туда-сюда, ну и рубильник», — задумчиво сказал Бацилла и покачал головой. Все заржали. Бацилла медленно занёс руку, дёрнулся, заставив мальчика отшатнуться, и, как ни в чём не бывало, почесал у себя за ухом; это был старый фокус, неизменно удававшийся.

«Ты откуда такой взялся с таким носярой, — продолжал Бацилла, — дай-ка подержусь». Мальчик стал отступать и получил от кого-то сзади подзатыльник. Он обернулся, все стояли с невозмутимым видом, один уставился в потолок, другой смотрел в сторону. Нос взглянул на Бациллу, тот пожал плечами, и тотчас кто-то огрел мальчика по уху. И снова все смотрели, скучая, мимо него. Эта игра повторилась несколько раз, в конце концов он свалился на пол и закрыл голову руками. Тут зазвенел звонок. Для порядка его пнули раза два ногами. Он услышал, как они убежали, поднялся и отряхнул костюмчик. Когда он вошёл в класс, классная руководительница — это был её урок — уже стояла за своим столом и, очевидно,

ждала его. Она даже не сделала ему замечание. Он пробрался на своё на место. Похоже было, что девчонки о чём-то донесли. Не глядя на него, она сказала:

«Дети, вы должны знать. У каждого человека может быть какой-нибудь физический недостаток. Но это не значит, что...» Мальчик не слушал, его мысли были далеко. На уроке физкультуры его тапочками играли в футбол. Дома мать всплеснула руками, увидев пятна. Знает ли он, спросила она, сколько стоил его костюмчик? Мальчик сидел над раскрытой тетрадью и думал о том, как он завтра придёт в школу и молча сядет на своё место, и никто не будет знать о том, что произошло, никто даже не догадается до тех пор, пока рыжий не подкатится, как обычно, чтобы начать издеваться над ним, и как он не спеша встанет и, не глядя, не сказав ни слова, размахнётся и врежет между рог, так что Пожарник полетит на землю вверх тормашками у всех на глазах; как этот Пожарник поднимется с пола, с глазами белыми от ярости, и бросится на него, и получит снова. И лишь тогда все поймут, что никто с ним больше ничего не сможет сделать, потому что мальчик одет с головы до ног в невидимые латы. И в этих летах он выйдет на школьный двор и встретит там Бациллу, Хиврю, гнилоглазого Лёнчика и других. Мать увидела, что тетрадь пуста, и сказала, что уже девять часов вечера.

После этого прошло несколько дней, и однажды соседка по парте — помнится, её фамилия была Осколкина — сказала: «А я знаю, кто это сделал». Произошла сенсация. Явились рабочие с лесенкой. Народ толпился вокруг. Картина с Чапаевым была снята со стены, её несли по коридору. На носу у героя гражданской войны красовались очки, к усам были добавлены лихо закрученные продолжения, изо рта торчала длинная изогнутая трубка, дымящая чёрным дымом, как паровозная труба. И в довершение всего бешено скачущему коню был пририсован углём внушительных размеров детородный член. Посреди урока в класс вошёл завуч, мы, сказал он, это так не оставим, мы выясним, чьих это рук дело. «Если, — продолжал он, — виноватый сам не сознается, то значит, он трус и недостоин звания юного пионера». Все молчали. «Я жду», — сказал завуч. Он добавил: «Я хочу, чтобы вы все поняли. Это уже не просто хулиганство, а политическое преступление. Пусть тот из вас, кому известно, кто это сделал, встанет и скажет».

«Откуда это ты знаешь», — мрачно сказал Нос. Уроки кончились, так получилось, что они вышли из школы вместе.

«Знаю, — сказала девочка. — Только не скажу».

«Значит, не знаешь».

«А я видела».

«Кого это ты видела». Случай с Чапаевым почему-то произвёл на него сильное впечатление и возбудил мысли, ещё не ясные ему самому.

После некоторого молчания она заметила:

«Можешь меня не провожать».

«А я и не собираюсь тебя провожать», — возразил он.

«Я с такими не вожусь».

Он пожал плечами. Дошли до поворота, она должна была свернуть направо, а ему предстоял путь по Кривому переулку, который мальчик переименовал в Магелланов пролив. Там, на скалистых берегах, горели зловещие огни, дикие племена следили за мореплавателем.

«И вообще, — сказала девочка по фамилии Осколкина, — это не метод».

«Что не метод?» — спросил Нос.

«Не метод борьбы», — сказала она и побежала домой. Ночью он плохо спал, не мог понять, где он, просыпался, но думал, что всё ещё спит, у него произошла эрекция, он смотрел на коня, который выставил напоказ своё приобретение, раскорячив задние ноги и задрал хвост, дело происходило, как выяснилось, в их переулке. И в то же время этой был другой переулок.

В школе продолжалось следствие по делу о Чапаеве, многих вызывали к директору, дошла очередь до него. Директор был мал ростом, казался хилым рядом с могучим завучем, носившим прозвище Гиппопотам, и говорил тихим, ласковым голосом. «Мы знаем, что это не ты, — сказал директор. — Ты этого никогда не сделаешь, мы знаем. И даже больше того, прекрасно знаем, кто совершил этот акт надругательства. И ты, конечно, тоже знаешь. Ведь правда же? Мы знаем, что ты знаешь. Так что никакого секрета ты нам не откроешь, если скажешь, кто он. И никто не будет говорить, что ты наябедничал». — «Это твой долг. Ты обязан сказать», — прибавил басом Гиппопотам. «Андрей Севастьянович, зачем уж так на него наседать. Мы никого силой не заставляем. Хотя можно применить и более строгие меры. Тот, кто отказывается изобличить преступника, тот сам становится соучастником. Так как же? — сказал директор. — Я жду». Он вздохнул. «Значит, будем играть в молчанку. Ну что ж! Ты сам об этом пожалеешь». Вместо Чапаева никого не повесили, позже, кажется, картина была реставрирована, но память не сохранила подробностей, так или иначе, они уже не имели значения.

Следующий день не принёс ничего нового, его втолкнули в девочку уборную, не давали выйти, это была сравнительно безобидная выходка. Ясно было, что они напрягают фантазию, чтобы изобрести что-нибудь поинтересней. После уроков его поджидали у ворот. Не надо было выходить, чтобы убедиться, что его ждут, он это знал заранее. Знал, что они дадут пройти мимо, а потом кто-нибудь громко сплюнет, окликнет его ласковым голосом, кто-нибудь скажет удивлённо, как будто только сейчас его заметил: «Паяльник. Не,

мужики, бля-буду, это Паяльник!» Он притворится, что никого не видит и не слышит, но перед ним встанет слюнявый гнилоглазый Лёнчик. Ему защипнут нос двумя пальцами и начнут водить взад-вперёд под общий гогот. Потом кто-нибудь сделает вид, что хочет схватить у него между ногами. Расставит два пальца и ткнёт ими, как бы собираясь выколоть глаза. И он уже слышал, как всё кругом ревели и пело:

«Паяльник!»

«Рубильник!»

«Румпель!»

«Руль!»

Почему эта малость имела такое огромное значение? Очевидно, она должна была что-то означать, служила доказательством чего-то. Иногда он тайком гляделся в зеркало, старался увидеть себя в профиль и выпячивал губы, чтобы сделать её незаметней. Он убеждался, что это не малость. Уборщица прогнала его из класса. Мальчик стоял у окна в пустом коридоре. Уборщица прошагала мимо с ведром и шваброй, он дождался, когда она войдёт в учительскую, влез на подоконник и отвернул верхний шпингалет, внизу был школьный двор. Он оглянулся — уборщица стояла в дверях учительской и восхищённо смотрела на него. Он раскинул руки, прыгнул и полетел, сначала над двором, перемахнул через крышу, сделал круг и увидел под собой ворота, там стояли Пожарник, Лёнчик, ещё кто-то, у всех разинуты рты от удивления. Нос парил над школой, внизу собралась толпа; он жалел о том, что не захватил с собой что-нибудь такое, но тут очень кстати оказалось под рукой ведро, принадлежавшее уборщице, и он вылил грязную воду на голову Пожарнику, а сам полетел дальше.

Неожиданно подошла Осколкина — откуда она взялась? — и сказала, что знает, как выйти из школы так, чтобы никто не заметил. Она сама много раз так выходила. Зачем, спросил мальчик.

«Так. Для интереса».

Она добавила:

«Мало ли что. Может, пригодится».

По чёрной лестнице спустились в подвал, всё оказалось очень сложно и очень просто, она нащупала выключатель, с силой толкнула забухшую дверь, они поднялись на крутым ступеньками наверх и неожиданно очутились где-то на задворках; как назывался этот переулок, сейчас уже невозможно припомнить.

«Можешь не волноваться, — сказал Нос, — я тебя провожать не буду».

«А я и не волнуюсь. Что, испугался?» — спросила она.

«Мне на них наплевать. Я всё равно уйду из школы». Эта мысль внезапно пришла ему в голову, как все замечательные мысли, и он решил обдумать её на свободе, в спокойной обстановке. Но сейчас



он подумал, что девчонка смеётся над ним исподтишка, над ним невозможно не смеяться, подумал, что ей будет стыдно, если кто-нибудь их увидит, и сказал:

«Слушай. А чего ты ко мне вяжешься?»

«Дурак. — Она обиделась. — Вовсе я к тебе не вяжусь. На кой ты мне сдался?»

«Так бы сразу и сказала».

«Ему, дураку, помочь хотят, а он...»

«Ну и пошла подальше», — сказал мальчик.

Он вернулся домой позже обычного, а на следующий день заявил матери, что больше не пойдёт в школу.

«Как это так, не пойдёшь?» — возмутилась она.

«А вот так. Не пойдёшь, и всё».

«Пойдёшь, как миленький».

Он презрительно усмехнулся.

«А в чём дело?» — спросила она.

Он ответил: ни в чём.

«Ты от меня что-то скрываешь. Ты знаешь, — спросила она, — что значит быть человеком без образования?»

Нос пожал плечами.

«Ты хочешь мести улице. Хочешь пасти свиней. Ты добиваешься, — сказала мать дрогнувшим голосом, — чтобы я всю ночь не спала, плакала и завтра пошла на работу с головной болью».

На этом разговор прекратился, вечером она увидела, что он делает уроки, и промолчала. Мальчик сидел над тетрадями, но в действительности умел делать несколько дел сразу. Он думал о том, что подвал может пригодиться и вообще этот способ — подарок судьбы. Да, большие идеи приходят в голову внезапно. Его жизнь обрела смысл.

Тщательная конспирация есть закон и залог успеха; все последующие дни он был занят продумыванием подробностей, нужно было предусмотреть все неожиданности. Но тут ему пришла в голову гениальная по своей простоте мысль, что разыскивают лишь того, кто скрывается. Тот, кто действует открыто, не вызывает подозрений. Инстинкт подсказал ему меру необходимого соотношения осторожности и отваги. В школе открылся буфет, мать выдавала ему деньги и отдачи. В школе открылся идиотом, чтобы стоять в очереди, в толпе голодных и галдящих учеников, вообще туда ходить. Не говоря о том, что у тебя могли в любую минуту вышибить из рук завтрак, сбросить на пол тарелку, выхватить из рук бутерброд. Так ему удалось в короткое время скопить достаточную сумму. С плетёной бутылкой он отправился в лавку и закупил необходимое. Расчёт был правильный: никто не обратил на него внимания, когда спокойно и чинно он нёс бутылку — разумеется, не по Кривому, а по тому самому переулку, в котором они тогда оказались с Осколкиной. На-

кануне решающих событий, на уроке, Нос поглядывал на училку, на других, видел огненно-рыжую голову Пожарника, сидевшего впереди на первой парте, как положено второгоднику, и ощущал себя господином жизни и смерти. Тайна вознесла его над всеми. С соседкой он не заговаривал, хотя ему очень хотелось её удивить.

Так и подмывало сказать ей: а вот завтра кое-что увидишь. Нет, — и он сделал бы вид, что раздумывает над окончательным решением, — нет, послезавтра. Она спросила бы с равнодушным видом: что увидишь?

Такое, ответил бы он, что ты никогда в жизни не видела.

Тут она перестала бы притворяться. Что ты задумал? Скажи мне одной! — вскричала бы она.

Сама увидишь.

Нос подумал, что, пожалуй, стоило бы предупредить её в последний момент, но как это сделать? На уроке он отпрашился в уборную, чтобы провести последнюю рекогносцировку. Тут он понял, что риск всё же велик. Он засёк время на больших часах, висевших в коридоре, спустился, поднялся, вся операция должна была занять от пяти до семи минут. Когда прозвенел последний звонок, он подошёл к классной руководительнице, держась за щеку, и предупредил, что завтра, наверное, не придёт в школу. Зубной врач положил ему мышьяк, чтобы убить нерв, но боль становится всё сильнее, он даже не знает, дотерпит ли он до завтра. Она подозрительно взглянула на него, принесёшь, сказала она, справку от доктора.

Жди, думал мальчик, тебе она всё равно уже не понадобится.

Но Осколкину всё-таки надо было предупредить. Он догнал её. «Слушай, — сказал он. — Только поклянись, что никому не скажешь. Клянёшься?»

Она воззрилась на него, сделав круглые глаза.

«Клянёшься?» — спросил Нос.

«И не подумаю, — сказала она презрительно, — чего это я буду клясться».

«Ну, не хочешь, как хочешь».

«Сначала скажи».

«Дура. Это в твоих интересах».

«А в чём дело?»

«Я завтра не приду», — сказал Нос, подумав.

«Ну и что?»

«Мне к зубному надо. Он мне мышьяк положил, сволочь».

Несколько времени шли молча. У поворота она сказала: «Ну, я пошла».

«Ты тоже завтра не приходи», — сказал мальчик.

«Чего это?»

«Я говорю, не приходи, поняла? Сиди дома. Вопросов не задавать».

И он зашагал прочь.

Он расстрелял взбунтовавшуюся команду и приказал сжечь мятежное судно. Дождавшись весны, он вышел на оставшихся трёх кораблях из устья Параны и двинулся на юг, не теряя из виду берег, в уверенности, что найдёт проход к океану, и в самом деле достиг пролива, и дал ему своё имя. И когда, наконец, после долгих блужданий, под неусыпным надзором враждебных плёмен, засевших в ущельях, корабли Фернандо Магеллана прошли сквозь пролив, перед ними открылся спокойный, бескрайний океан.

Мальчик вышел из дому раньше обычного времени, с портфелем и мешком, в котором лежали физкультурные тапочки, во избежание дорожных инцидентов сразу выбрал окольный путь, вышел к Чистым прудам, пересёк трамвайную линию, побродил по дорожкам безлюдного бульвара, несколько позже его можно было увидеть перед особняком латвийского посольства, он стоял, любуясь замысловатым гербом на дверях. Было всё ещё рано. В половине девятого он оказался на задворках, отсюда было слышно, как в школе прозвенел звонок. Ошалелый школьный звонок, одно из худших воспоминаний жизни. Нос прошёл, держась у самой стены, к низкой железной двери и спустился в подвал. Чувство времени руководило им, как если бы в мозгу у него работал хронометр; в восемь часов сорок пять минут он прикрыл за собой дверь подвала и стоял в самодельной маске, которая завязывалась сзади верёвочкой, на площадке перед лестницей, прислушиваясь к звукам наверху. Некто, его направлявший, инстинкт-хронометр, подал сигнал, и тотчас Нос пошёл вверх по ступенькам, держа в одной руке плетёную бутылку, в другой портфель и мешок с тапочками, и выглянул в коридор, после чего сложил свои вещи на пол и облил их. Всё так же спокойно, с ровно и точно работающим механизмом в мозгу, он шёл, наклонив бутылку, по коридору, пока не кончился керосин. С бутылкой нечего было делать, он оставил её на подоконнике. Затем он вернулся к чёрному ходу, вынул заранее приготовленный бумажный жгут, чиркнул спичкой и, швырнув жгут в коридор, бросился вниз по лестнице в подвал, сорвал с лица маску, выскочил наружу, не теряя времени, чтобы не пропустить волшебное зрелище, обогнул квартал; несколько минут спустя он чинно шагал обычным своим путём со стороны Кривого переулочка к воротам школы.

Тут его постигло великое разочарование. Ничего не было. Ничего не происходило, окна школы блестели на солнце, подъехал с урчанием грузовик, шофёр высунулся из дверцы, кто-то там отворял створы ворот и пререкался с водителем. Издалека послышалась сирена. Нос взгляделся и чуть не завопил благим матом от радости: в окнах первого этажа дрожало пламя! Сразу в нескольких окнах, и там, и здесь. Ему хотелось прыгать, плясать. Вместо этого он стоял на тротуаре, на противоположной стороне, и, слегка прищурившись,

---

с каменным лицом наблюдал за происходящим. Горел весь нижний этаж, и, значит, им всем на втором и на третьем уже не спастись. Посыпались стёкла, кто-то выбежал из подъезда, люди метались по двору, красная пожарная машина никак не могла въехать, грузовик толчками выдвигался из ворот, вторая машина стояла посреди переулка, пожарные разматывали шланг. Между тем густой чёрный дым валил из окон второго этажа. Толпа обступила мальчика, он протиснулся вперёд, милиционеры оттесняли зевак с мостовой, вой сирен заставил всех повернуться. В конце переулка из-за угла вывернули ещё две машины. Санитары с носилками проталкивались между людьми в касках и брезентовых робах, чей-то начальственный голос командовал в мегафон. Нос выбрался из толпы. Он шагал, сунув руки в карманы, перешёл трамвайную линию, миновал бульвар, шествовал по Покровке, шёл без всякой цели, глядя перед собой, сумрачный, одинокий, как адмирал, свободный, не нужный никому и ни в ком не нуждающийся.

# Жанна СИЗОВА

/ Лондон — Санкт-Петербург /



## КУРАТОР ПУСТОТЫ

*Действующие лица:*

куратор, дирижер, Анастасия, мальчик, гости-гаджеты.

### ***Действие первое***

КУРАТОР:

Приветствую в священном вас Нигде.  
Nobody из вас знает  
ораторию нового времени  
«Isaniae est valet»<sup>1</sup>.

*(Выходит дирижер с лицом крота, и по спине его стекает пустота.)*

ДИРИЖЕР:

Вот музыка не эта и не та...

*(Возникает Анастасия в африканских косичках с войлочной лентой.)*

АНАСТАСИЯ:

Для чистоты эксперимента  
необходима анестезия!

*(На подносе разносит ломкий лидокаин.  
Гости-гаджеты, мелькая зелеными огоньками, перешёптываются.)*

---

<sup>1</sup> «Isaniae est valet» — безумие разрешено (лат.)

ГОСТИ:

О, новое слово,  
трансцендентный прорыв,  
это похоже на море,  
янтарную ветку слив!

ХОР:

Мы воспеваем нечто!  
Мы воспеваем ничто!

КУРАТОР:

Все мы немного мистики,  
в сфере большой акустики...

ХОР (*наступая*):

Мы создаем нечто!  
Мы создаем ничто!

*(Мальчик с родимым пятном на шее нервно руками щупает воздух.)*

МАЛЬЧИК:

Я потерял очки! Вы не видели, где очки?

КУРАТОР (*не слышит мальчика*):

Сейчас прозвучит интродукция «Шорох орехов»,  
в ней перекличка эха —  
того, кто лишился нечто  
с тем, кто нашёл ничто.

*(Куратор подходит к каждому из присутствующих, дотрагивается.  
Дирижер, Анастасия, хор и гости-гаджеты исчезают.)*

### ***Действие второе***

*Остаются мальчик и куратор. Мальчик держит в руках очки.*

МАЛЬЧИК (*озирается*):

Где дирижер, где гости — синие огоньки?

КУРАТОР (*не видя мальчика, себе под нос*):

Исчезли сенсорно, в одно мое касанье, надоели.  
Я — пустоты законный прокуратор  
(немного сам пустынножитель),  
управитель одной неоглашённой компоненты.

(*Замечая мальчика, вздрагивает.*)

Как ты попал сюда?

МАЛЬЧИК (*по слогам, с изумлением*):

Пришел по абонементу.

*Возникает темнота.*

*Ни мальчика, ни куратора.*

*Приближаются синие огоньки,  
они кружат и кружат, повторяя:*

Мы воспеваем нечто!  
Мы воспеваем ничто!  
Nobody из вас знает  
ораторию нового времени  
«Isaniae est valet».



## Владимир ЗАГРЕБА

/ Париж /

### ПАРАМЛЕЛЕПИПЕД

*Виктору Платоновичу Некрасову  
посвящается*

Здесь писатель и поэт  
каждый день сходил на нет...

Ветер рвал французские листья и с русским остервенением швырял их на общую землю. Она куталась в американский меховой полушубок и чёрные парижские колготки, своими извилистыми дорожками — рисунком, куда-то уходили в перспективу, под юбку. Высокие коричневые ботинки, с длинными шнурками и рядом матовых крючков, твёрдо стояли на «своём», а пуховые воланы — плечики её привольного свитера под полушубком, напоминали о том, что национальная хоккейная канадская лига хорошо представлена за границей.

Аллеи не были тёмными, скорее сырыми, хотя их создатель лежал тут же, под византийским крестом в сорока пяти метрах отсюда.

— Ты знаешь, чего моя Лизка нашему Вике простить никогда не могла?

Её тяжёлые опухшие от «борьбы за существование» веки моргнули. (Похоже, место под солнцем в Новом Свете требует большого «припухания» и «вековых» издержек! Во всяком случае новый «краснокленовый» взгляд красноречиво говорил об этом.)

Тополиный пух кокетливо летал и падал в тот день, как хотел. Вика пришёл в этот «кокетливый» день к нам в гости, то есть, к моей маме и ко мне, но не к нашей собаке — Пене (Пенелопе), идиотке, с вызывающим жёлтым шарфом вместо ошейника, которая всё время лаяла, как на моём старом джазовом диске тридцатых годов. Вика обожал мою маму и прямо «светился» в её присутствии. Его кожаная авиационная куртка «Линдберг» болтала своими кожаными ремешками два раза в месяц на двусмысленно рогатой вешалке у входа, но папа не был «рогатым».



Мама была на кухне и что-то там жарила, по-моему, блинчики с мясом, точно не помню, Лизке было лет восемь, наверное, но точно помню её зеленое платице в горошек, с белым воротничком и треск горячего масла на сковородке с отбитой ручкой. Звонок. Лизка открыла двери и... оторопела. Ты же помнишь, когда он «под этим», то все «торопеют», не только дети.

— Вика ввалился в перелётной куртке с ремешками и с фотоапаратом...

— Ты, знаешь, ну, такой — параллелепипед — удар в бок, вспышка... и готово.

— Где бабушка? — на сломанном жёлтым «Наполеоном» языке пролепетал Вика.

— На кухне — жарится, — перепутала глагольные формы Лизка.

— А мама?

— В ванной!

— Парится?

И вместо «кухни — бабушки» Вика рванул ко мне — в «ванную — маму». Ты помнишь, ну ту, с цветочками, на белом кафеле. До сих пор кожей чувствую горячие струны струй, запаха яблочного шампуня и дикий вопль-приказ: «Открой и не позируй!»

— У каждого свои странности, — то ли с грустью, то ли с сожалением добавила она и уронила куда-то вниз свои опухшие веки.

— А Лизка боится вспышек до сих пор.

Она повернулась:

— Ты замёрз?

И пошла вперёд, ну, теми... «своими», по мокрой аллее, в перспективу.

Всё, что было связано за несколько лет до этого визита с Викой, в моей голове разворачивается в одну бесконечную фотоплётку. Мама «американского полушубка» не была свободной мамой, у неё был папа, но в отсутствии папы, и в присутствии Вики, в доме рождалось какое-то романтическое оживление и безнадёжное удовольствие. Вике было под семьдесят с гаком и, несмотря на этот и другие «гаки» («плевать я на это хотел!»), он был абсолютно сумасшедшим и абсолютно молодым.

Как ещё можно было определить этого красивого стареющего безумца, когда в восемь утра (пораньше... и подальше...), побрившись тщательно безопасной бритвой и немецким «кистенём» (трофейная немецкая кисточка для бритья — единственное, что осталось от «окопов Сталинграда», да и ещё осколок внизу живота...) и, плеснувши в свою красивую, с чёрными усиками, пасть огромную чашку чая, на которой красные буквы кричали: «Выдуй!», он вырывался из дома, засунув в карман тот самый «параллелепипед» (ну тот, который всё делает боком... в ванной — пара Леле в пипед — и других местах!) и мчался на автобус восемьдесят девять.



Виктор Платонович Некрасов

*Фото В. Загребы*

Эта безумная «кафегонка» началась как-то неожиданно. В Париже десять тысяч кафе. Сначала невинный безумец хотел посетить их все и выпить в каждом чашечку кофе. Это был первый этап. Хаотические «кафешатания» по шесть-восемь раз в день — вызвали у Вики перебои в сердце и некоторую повышенную возбуждённость. Чтобы придать этому «кафенаваждению» какую-то осмысленность и законченность, на собственной кухне и самолично (второй этап кафеино-социологического исследования!) было решено посещать только те кафе, названия которых заставляют удивиться, задуматься, а заодно — задумавшись, позволяют выпить чашечку кофе, стакан («дэми» — чего тут скрывать — двести пятьдесят!) желтого или тёмного пива.

Ну как не пропустить одно или два «дэми» в таком симпатичном кафе, как «Сквозняк» или «Туда и обратно», на бульваре Лефевр, в доме номер сто семьдесят три. Ну как же не затянуться глубоко синим «Галуазом» и пустить синее облако в кафе «Собака, которая курит...»

Кроме того на той же кухне было решено сделать, если надо (ну тем, который боком) десять тысяч фотографий: портретов барменов у их стоек. С усами белыми и чёрными, жёлтыми, совсем без усов, но с бакенбардами, с чёлочкой, лысых наполовину и насовем, в очках и с бородами. Протирающих графины, бокалы, чашки, блюда, ложки, столы, засовывающих в тостеры «крок — месьё», «крок — мадам», сосиски, яичницы... курящих трубки, сигареты, сигары (но не папирсы), держащие бильярдные кии, глядящих попугаев, котов, и огромное число собак, в числе которых Вика «открыл» чёрного, огромного, как шкаф ньюфаундленда Порфирия (почему?), того который, периодически сидел на пороге «бара лётчиков» на самой длинной улице Парижа, рю Вожирар, в доме триста пятьдесят четыре, вывалив наружу красный шершавый язык.

И, наконец, третий этап — более осмысленный, более продуманный, который был им продуман до мелочей в парижском кафе «Виски от пуза» — «на улице Святого Мавра», в доме сто пятнадцать, где рвут зубы пять зубных врачей одновременно, судя по пяти табличкам у парадной. Именно в этом, «от пуза», был выработан Вики, Виктором Платоновичем, священный ритуал посещения... настоящий питейный кодекс.

Сначала сесть за столик, расслабиться, выкурить «Галуаз», приготовить «параллелепипед», осмотреться... затем по обстоятельствам заказать одну или две чашечки кофе... а уж если обстоятельства позволяют одно или два «дэми», или три, а в отдельных случаях — и от пуза! Кроме того нужно завязать разговор со всеми барменами заведения и отдельными «дэми — посетителями».

В «Висках от пуза» был окончательно уточнён выбор кафе. Решено было посещать только те кафе, в названиях которых ютятся —

надежда, противоречия, парадоксы, непонятное дрожание. Долой все эти бесцветные кафе и бары у бассейнов, аббатств, автобусных остановок и госпиталей.

Теперь нога Вики не поднималась и не переступала порог, если весёлая вывеска не сообщала о том, что вы вступаете в бар «Чёрной кошки» («Где чёрный кот?» — спрашивал Вика), в бар «Прекрасных листьев» («Дайте прекрасных листьев, прикрыться!» — шутил он) или в «Валун», («я сегодня уже после второй бутылки такой валун!»), а если уж попадалось кафе «Алиби», «Королевская ковка» или «Кафе-квартира», то чёрные щёгольские викины усики задумчиво смотрели в стаканные донца до позднего дна вечера.

Я должен испить все эти «чашки» до дна, чтобы понять, как это всё работает. Глупцы! Они думают, чтобы привлечь собутыльников достаточно повесить неожиданно интересную вывеску и клиенты повалят валом!

Почему в кафе «Тринадцатый трамвай» рельсами даже не пахнет? И ни одной кондукторши у стойки, только три проститутки, одну из которых, всё-таки, зовут «Билет». (Любовная записка — по местному!). Почему в кафе «Солёные морды» — сплошные кислые рожи? Почему в «Итальянской пушке» у стойки наливает бельгийское пиво («Внезапная смерть») «малая» Берта (всего — сто пятьдесят сантиметров?) А где же большая? Из Эльзаса, в красной кружевной кофточке и с чёрной лентой на шее, как у Анны в одноимённом фильме, но не с одноимённой шеей?

Теперь уже из противоречия Вика метался по Парижу в поисках единственного кафе, название которого отличалось бы от «товарищей по стойке».

Хочу найти кафе, которое притягивает негативно, как грех в ванной, как стакан водки в бане или запах пороха бывших военнослужащих. Надоели все эти «*Tout va bien*» — «Всё хорошо!» Хочу, чтобы кафе называлось: «*Tout va mal*» — «Всё хреново!», как в настоящей жизни. Это больше отвечает моему темпераменту и обстоятельствам. Кстати, не забудь мне напомнить сходить в «Кровавую Мери», давно не пил томатного сока! Но всё-таки одно «сомнительное» я откопал, в десятом районе, в доме номер двенадцать, на улице Посланника. И чем отпугивает? Паникой!

Спокойно толкнул дверь... Вхожу... всё вроде тоже спокойно. Бармен — Нельсон-Даян спокойно зевает, с повязкой на левом глазу. Редко такое увидишь — за стойкой оба глаза нужно иметь! (Уж не поэтому ли поводу «Паника»? Непохоже.) Рыжий кот с жёлтыми глазами, но без повязки, на батарее вытянулся.

То тут, то там — рассажены посетители. Стынет в чашках чай, зачем-то пузырится в стаканах, отдавая свою «душу» кому-то пиво, звякают ложки.

Десяток пожилых дам, лет под семьдесят пять, пьют шоколад из толстых чашек и громко споря (но без паники, а могли бы!) о ценных бумагах золотого русского займа... ну, того... сибирского... наш паровоз, вперёд лети... В общем, «русский» вопрос обсуждают. Предводительница собрания, в жёлтой шляпке, с вуалью, и со старой чёрной родинкой на щеке, так гневно:

— Ленин и Сталин — один товарный (вагон)! Англичане — вывали! Им заплатят, а нам, как всегда фига! Опять искать женщину надо! Может, детям?..

Я — к «Мойше» (он уже кончил зевать), и десять франков, так спокойно, — на стойку, как в полицейских фильмах, за информацию:

— Простите, голубчик, то есть — месё, почему же ваше кафе «Паникой» называется, а вроде бы сегодня совсем спокойно?

Монета звякнула о цинк и тут же цинично исчезла.

Да очень просто, месё; то есть, голубчик. Это из-за мадам Деборы Савиньи. Семнадцатого сентября, послезавтра, годовщина нашей «Паники». Двадцать лет тому назад Дебора вот тут сидела у кассы, ну прямо, как сейчас. Но плохо себя почувствовала — беременной была. Тут же здесь и родила, не отходя от неё. Пока вызвали пожарных... в кафе паника поднялась. Все рванулись с мест: любопытно ведь роды на цинке! Разбили пять чашек и два блюдца плюс восемь тарелок. Да ещё Дебора, падая, опрокинула зачем-то фарфоровую вазу: «Наполеон в Руэль-Малмезоне», но родила, не отходя от кассы. Правда, один из завсегдатаев, что вот там сидел, в левом углу, и целовался со стаканом земляничного пива — оказался медбратом, помог.

— А раньше мы «Лютиком» назывались.

— Ещё «дэми»?

— Спрашиваете! С годовщиной и новорожденной!

— Рановато... Через две недели! Теперь уже дочь Деборы, Ка-ролин — беременная! Но, к сожалению, она теперь далеко от этой «кассы»... В Арле! И тоже в кафе. Отпочковались с мужем. Но тоже «Паникой» арлезианской! У нас в семье всегда такой круговорот: сначала новая жизнь, беременность; потом новое кафе — страсть; затем новая паника — старость. Такие традиции старые... С вас двадцать франков.

— Вы позволите я вас «пара-еле-пипедом»?

Так и осталось после «вспышки» — одноглазый Нельсон-Даян, «Паника» и рыжий кот, который зачем-то засунул две передние лапы в батарею, а две другие вытянул безнадежно... за две недели до новых родов.

Был день как день. Будильник уже своё звякнул: «Пораньше...» и огромная чашка чая «Выдуй!» была выдута в семь часов пятьдесят три минуты залпом. День начинался как всегда «хорошо» и напротив его дома, в кафе «Tout va bien» — «Всё хорошо» в восемь утра,

за столиком номер восемь. Огромный американский зелёный бильярд с дырками-лузами в каждом углу и между также ждал своих утренних посетителей, как Вика свой дежурный горячий кофе и горячую хрустящую недежурную булку.

Осмотревшись по сторонам, он уронил в тонкие чёрные усики:

— Привет!

Лысый бармен в клетчатой ковбойке и с бритой блестящей головой-шаром, похожей на бильярдные шары на полках, которые тут же «отдыхали» от ежедневного неизбежного стука, деловито протирал стаканы. «Шар» закатил глаза и буркнул тоже в рыжий оттопыренный в обе стороны ус:

— Салют!

— Как дела? — спросил Вика, не поднимая головы от первой страницы хрустящей «Фигаро». (Так, поддержать разговор.)

— Прекрасно! Жена в больнице — инфаркт! — поддержала «Ковбойка-шар».

— Вылезет?

— Похоже, нет!

— Что делать будешь? — Вика оторвался от «Фигаро».

— Сменю вывеску!

— Правильно!

Чёрт возьми! Вот тебе и поддержал! Стараясь быть внимательным и симпатичным, он на хорошем французском языке (даром что ли лицей «Генрих IV» кончал!) добавил:

— Может, обойдётся?

«Шар» уставился в окно и молча катанул «слово»:

— Не похоже!

— И завещание не оставила!

Снял очки и протёр их влажным полотенцем.

— Нас вчера, под это дело, обокрали... Ложки серебряные, ножи. Шкаф дубовый — Людовик пятнадцатый, с колоннами и резьбой, тонну весил, и как они могли его без крана поднять? Чёрное платье Матильды с длинным вырезом и тоже с чёрной розой...

— Ваше кофе и гренки!

— Пресс-папье — «Революцию» с гильотиной. Но, слава Богу, пепельницу Шарля не взяли... Только добавили, гады, в неё два окурка!

— Пепельницу Шарля?

Усы вздрогнули рыже:

— Де Голя! Ну, генерала, того, у которого по две звезды на фуражке и на рукаве. Мой отец с ним в Лондоне был. Стоял периодически «на часах», у студии БиБиСи. А сигара тоже периодически лежала, у микрофона. Ну так папочка (какое историческое чутьё!) на память и для потомков унёс сигару вместе с пепельницей! (Спасибо ещё, что микрофон оставил!) Сигара намочла и развалилась, а пепельницу уже сорок лет бережём, как зеницу!

Зачем же называть кафе «Всё хорошо», когда на самом деле всё так плохо, — как-то растерянно протянул Вика. И отхлебнул глоток.

— Ну, кто же знал, что так оно будет, — философски заметил «шар».

— Брасанса «обчистили», он взял гитару и песню — обидчику, а мне бы безоткатное орудие... я на гитаре не умею. Если Матильда не вылезет, я вывеску обязательно сменю.

— И выбросьте, пожалуйста, окурки из пепельницы, — посоветовал Вика, поднялся, вынул из кармана «Линдберга» — «параллелепипед». Сделал боком, вспыхнула вспышка... и в подъезжающий автобус, восемьдесят девятый. В то время, как зазвонил телефон, слёзы лились рекой не переставая уже восемнадцать минут. Аньес была девушкой двадцати трёх лет, ещё одетой в зелёную полосатую юбку с пряжкой, и не только в неё. Горе было странным и несколько шагреневым. Её любимый полосатый тигровый питон — Тигруня (очень оригинальное имя!) трёх с половиной лет и метров, который делил с ней (с — Аньес!) её молодые годы (тоже оригинальный выбор!), внезапно загнулся, заглотив (в который уже раз!) что-то несъедобное в её отсутствии. Я бросил «змеиные» утешения и поднял трубку:

— Нашёл!

— Деньги?

— Да, нет, кафе! И знаешь, как оно называется?

— «Tout va mal»?

— Почти. «Tout va très bien» — «Всё очень хорошо!» Приходи завтра в пятнадцатый район. Улица Девушки, сорок три. К восьми, поклюём «мокрое» мясо.

— На «мокрое» приду.

— Ну, я пошла, — шмыгнула носом в последний раз «безутешная вдова».

— Не могу без чёрта полосатого...

— Ну, и иди...

На улице Девушки, в доме номер сорок три, действительно в этот вечер было симпатично. Довольно много мужчин, чуть меньше — женщин, и уж совсем мало девушек — ни одной. Вика сидел за столиком в углу, почему-то рядом с афишей Шемякина (нас всегда зачем-то преследует прошлое), которая приглашала посетить галерею Карпантье и посмотреть его (шемякинскую) «Жизнь Рембрандта», в доме номер сорок шесть, на Rue du Vas. «Тот, который боком» тут же боком лежал на столике.

— Я взял тебе «карпаччио», ну это — «мокрое». Тонкое, но много. Через него можно смотреть на мои негативы. И как они умудряются резать так тонко... и не рвётся! Кстати, ты не специалист по французским винам? Я тут тебе приготовил, — питейный словарик: «любитель Бордо-залейся» — французского производства. Я с удив-

лением посмотрел на огромный бордовый штамп на бордовой обложке: «Любитель-Бордо» и четверостишие Бодлера — его (Бодлера) почерком, во славу! Подзаголовок интриговал: «Вина-Бордо и их оценка по двадцатибалльной системе»:

— тысяча девятьсот семьдесят пятый год — вина терпкие. (Придётся терпеть! Заметь — цифры, это не градусы, а баллы!) — восемнадцать!

— тысяча девятьсот семьдесят шестой год — хороший год — «перезрелый» (Это про меня!) Вино мощное — шестнадцать!

— тысяча девятьсот семьдесят седьмой год — вино несколько «пикантное» (то есть «колется», ну, как не вспомнить Сашу Галича) — только восемь!

— тысяча девятьсот семьдесят восьмой год — в вине этого года прекрасно сочетаются юное вино и развитый вкусовой букет (странно, я не заметил цветов, хотя от «юного» я трижды по пять дней, был в Гонулулу!) — тоже шестнадцать!

— тысяча девятьсот семьдесят девятый год — в вине этого года много шарма и характера, очень симпатичное вино (у водки характера ещё больше!) — опять шестнадцать!

— тысяча девятьсот восемьдесятый год — если найдёте вино этого года — пейте сразу! (А я-то, идиот, пью сразу, что ни попадя!) — одиннадцать!

Вика остановился:

— Я тут его почерк (Бодлера) между делом подделал-перевёл, по-моему, не слабо...

И он развернул столовую бумажную салфетку:

Сегодня горизонт — залейся...  
И без узды, упрёков, шпор  
Наш винный дух невинно взвейся  
В «бордо» Бодлер нашёл... упор!

— А мы что, хуже! Давай, до упора! За «мокрое» мясо и сухую воблу! Я сегодня две плёнки отснял. И всё на «Б»!

И вдруг нас прямо-таки накрыло конским топотом и ржаньем. Спрятанный в потолок динамик «заржал» прямо над головой:

«Сегодня, девятого мая, на ипподроме Оттоя состоялись традиционные скачки с препятствиями на три тысячи метров. Как всегда в это время года трибуны ломаются от желающих выиграть не только своё пари, но также полюбоваться на конские гривы, блеск подков, на лоснящиеся от пота лошадиные животы и акробатические «сальто» жокеев под ногами своих коней, в случае неудачного падения».

Голос в динамике поперхнулся и попросил прощения.



«В числе восемнадцати участников скачек, нам сообщает с ипподрома, наш специальный корреспондент — Паскаль Троя, за пять минут до старта, находятся: жокей Андре Марти (жёлтая куртка, синяя кепка) на двухлетнем жеребце «Веничка»»...

— Тише! — вздрогнули одновременно викины усы и моё сердце.

— Почему Веничка?

— Виктор Эклюз, (красная куртка, зелёная кепка) — на серой двухлетке «Скачи-и-не-думай», а также Эдуард Бержева, печально знаменитый тем (белая куртка, чёрная кепка), что в течение двух лет принимал кокаин, чтобы сбросить эти проклятые двести граммов веса, тоже на двухлетке «Указ», тоже знаменитой (но уже в медицинском мире) тем, что уже трое жокеев и один крупный иностранный издатель остались после скачек на нём без указательных пальцев. (Не будут указывать!) Эти три пары мы с нетерпением ждём на финише.

— Обожаю скачки, хотя этот «пятидесятикилограммовый» мир странен, — сказал Вика, пиля ножом прозрачное «карпаччио».

— Особенно когда слышу конские русские имена... А какое удовольствие видеть весь этот «конно-женский» обоз, съезжающийся показать свои шляпки!

— Где же ты, Семён-вислоусый? Динамик крикнул и сбавил голос и напор.

«Из восемнадцати участников только семнадцать вышли к стартовой резинке. Восемнадцатый конь по кличке «Женщина»...

— Прямо какое-то Подмосковье, — протянул Вика.

«Не только отказался войти в предназначенный ему стартовый бокс в течение положенных ему десяти минут, он несколько раз падал категорически на траву, несмотря на хлыст, угрозы и упрощивания своего седока. Пришлось оставить «Женщину» в покое, на траве».

Диктор остановился передохнуть.

— Даже на скачках здесь... мы как у себя дома, — сказал вслух Вика, — хотим — скачем, хотим — ложимся! Всё перепуталось, Сереженька. Ты помнишь бабелевскую «Историю одной лошади» — концовку: «Но оба мы смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони». Там — ни мая, ни коней! (кроме — Первого и «Первой конной»), а тут — тоже не поймёшь: май — есть, улица Данте — тоже, а борделей на ней нет. Конь и женщина здесь — в одном лице, и, кроме того, они, кони и женщины, не ходят здесь по лугам, как люди, а падают...

Насытившись драматизмом произведённого эффекта, кто-то у стойки разочарованно вырубил радио.

— Ты, Вика, смешной... Сегодня же день Победы. Может быть, кто-то и напоил коня — «Женщину» по этому поводу... Может, жockey — выходец... А «Женщина» — не иноходец! Ведь коню-то русское имя дали...

И мы чокнулись «многим шармом» — семьдесят девятого года.

— И вообще, делай всё в жизни боком, только это и интересно.

— Пытаюсь, но не всегда получается.

— Сто лет тому назад у меня была старая «Лейка» (нет, не любовница, ту звали — Таня Налейко, ох, как наливала!), которая всё время болталась у меня на шее, на ремешке. Я присобачил на неё («Лейку») огромную чёрную трубу с призмой и дыркой в бок. Прохожие думают, что снимаешь прямо, а я ловлю кадр в бок!

— Давай теперь по огурчикам!

Солёный хрустнул и исчез навсегда.

— Лучший фотограф мира Картье-Бриссон прав: «Выходя на "фотоохоту" — всегда держите палец на спусковом крючке, то есть на кнопке». Вот и держу его (палец) вот уже пятьдесят лет. На десять тысяч «клик-кляков» — так себе, только один гениальный. Помнишь его портреты: Трумен Капоте, такой красивый мальчик, двадцати пяти лет, сидит на железном садовом стуле в огромных капустных листьях, а может, и не в капустных. Игорь Стравинский, с тяжёлым, изрезанным морщинами лицом (но не таким изрезанным, как Эзра Паунд — на предыдущей странице — алкоголем), с таким же морщинистым котом на плече.

У своей подмосковной дачи, в берёзках Илья Эренбург (наверное, в Переделкино, не указано в указателе), испуганный, с двумя огромными «мешками» под глазами, но не на плече. Съевшаяся от времени и страстей, старушка Брик-Маяковская (так и написано чёрным по белому, странно и почему? Может, для продажи? Ведь не «кольцевались»?) в старой жакетке, закрывает в своей московской квартире, нет, не входную дверь, а своё старое, зачем-то сморщенное лицо — ручками. Может, «Лейки» стыдится? (Он все свои портреты «Лейкой» делал с объективом в пятьдесят миллиметров.)

— Нажимайте, нажимайте... (Нет, не на педали, а на кнопку спуска везде: в трамвае, в кафе, в метро и в бане, в туалете, на лугу, где ходят мужчины и лошади, а также в очередях и в постели — это Картье, моими устами.

— А у меня «луга» не было, но много «понажимал» я лет пятьдесят тому назад, под Сталинградом. Странное слово — двусмысленное. Заменить бы, но чем?

— Может, станцией метро «Сталинград» в Париже?

— Тебе «мокрое» нравится?

— Так вот, этим «лейкиным» боком, с трубой, я случайно удачный портрет любовницы моего генерала сделал — Мотовилова Захара Степаныча. Такая «цыпочка» была — рыжая Аннушка, и масло не разливала, только водку. Радисткой была. День и ночь стучала разными «ключами», на Захара Степаныча. Этакий двадцатилетний «золотой» ключик. Гимнастерочка расстёгнута и оттуда, такой неожиданный мирный белый лифчик... и это во время Великой битвы! Два ящичка водки заработал.

Около нашего столика крупный мужчина, в синем костюме и с розочкой Почётного легиона, с огромной лысиной и таким же аппетитом, осторожно разделявал огромный кусок мяса, а нетронутый початок кукурузы в его тарелке о чём-то мучительно напоминал. Его дама, тоже не девушка, около сорока четырёх лет, в голубом платье и тоже с розой, но уже жёлтой и живой, кокетливо несла синюю шляпку с вуалью и с красным стоящим перышком, ласково жаловалась:

— На этой «Титикаке» удивительно жарко и много обезьян. Господи, как я рада тебя видеть!

Лысина в синем костюме и «легионом» вдруг повернулась к нам, оставив свою «титикаку» в бело-красных макаронах.

— Простите, пожалуйста. Я достаточно понимаю по-русски. Но не очень достаточно понял, как это делать — боком. Что делать?

Тоненькие усики Вики встрепенились, как могли.

— Всё. И в частности фотографии, как Картье Бриссон и Роберт Капа.

Почётная лысина «загорелась»:

— Я знал последнего, вернее, их обоих: Андре и Герду Фридман. Я тоже венгр. Какая судьба! Я тоже был добровольцем в Испании пятьдесят лет назад. Интернационал и тому подобное. Разрешите представиться — полковник в отставке, Жан Кот.

— Очень приятно, капитан Александр Осколок! — доложил Вика. «Кошечка» Кота скривила губки.

— Жан, ну, право!

Но Жан Кот уже развернул свой стул на сто восемьдесят градусов к нашему столику.

— Я был тогда младшим лейтенантом. А Андре, в тридцать восемь, — специальным корреспондентом «Лайфа». Он приехал к нам с целью «освятить» своей «Лейкой» республиканскую атаку. Мы только что получили ваши советские танки, по-моему, «Т-28», в нашей роте их было три... Лучше бы их не было!

Вика сделал «красный» глоток «семьдесят девятого».

— За вас, полковник!

— Мадам! — и он кивнул галантно «перышку». И повернулся ко мне:

— Я уж тебе рассказывал. Роберт Капа, а на самом деле, Андре Фридман, гениальный военный фотограф... Ну, ты помнишь «Смерть

республиканца». Бруствер, траншея... размытые серые облака... сухая трава. И солдат республиканский в профиль... (Тоже — боком!), который только что встретился с... пулей! (Для того пули и делают, чтобы встречаться с солдатами!) Руки — крестом, в правой — винтовка, левой — не видно. И тень тоже крестом на земле от солнца за две секунды до падения тела. Левая нога ещё на земле, а правая уже оторвалась...

Жан Кот, полковник в отставке, «сделал ручкой» и поправил единственный волос, который с лысины почему-то переместился на лоб.

— Мы стояли под Брунетоном, в июле, как я уже говорил, где мы и получили эти проклятые три танка из Москвы, морем. Тэд Амин, мой приятель с чубчиком, предложил их назвать: «Братство», «Свобода», «Равенство». Это вроде соответствовало в то время моменту. Я десять долларов Тэду на красную краску дал.

— Жан, остынет! — сорокачетырёхлетнее «перышко» опять сделало гримаску. Кот даже не повёл ухом. А Вика улыбнулся «птичке», чтобы «отмазать» её от полковника:

— Согреем, голубушка!

И как бы отвечая внутренним мыслям Вики Жан глотнул своё пиво с поэтическим названием «Белая горячка». (Молодцы, бельгийцы! Одним махом утоляют жажду! А какой литературный вкус! А какая тяга к искусству!)

«Птичка» в возрасте кисло улыбнулась.

— Роберт до двух часов в покер дулся. Продул всё! Атаку ждали. И вышел в три часа ночи из отеля «Два ангела» с Гердой, своей женой, подышать воздухом. Герда Таро, как принято говорить в романах, была безумно мила в своём военном комбинезоне — с двенадцатью карманами и коричневой хрустящей портупейей — настоящий «республиканский» ангел. Вместе с Робертом — в покер, вместе — в постель, вместе — в атаку! Тэд, тот с чёлочкой, мой приятель, демократ и отверженный, только что кончил последнюю букву «о», которая «е» — (Egalité), на башне «Равенства». Буквы ещё мокрые были... в три часа семнадцать минут. — У Кота повлажнили глаза. «Птичка» уже не морщилась и затаилась. — Атака! Роберт кинулся к «ангелам» за «Лейкой». «Братство», «Свобода», «Равенство» рванулись, бешено рыча, с места, разворачиваясь... Герда осталась под «Равенством». Настоящий «падший» под танком «ангел»! А Тэда в «Братстве» сожгли заживо через пятнадцать минут.

Вика разволновался:

— Тоже, мать вашу, справедливость! Ну, ладно, попасть под танк на войне — это положено: чуть ли не двадцать процентовневинных жертв. Но под своей, да ещё почти на глазах у законного му-

жа. Да, ещё под тот, который называется: «Равенством». Судьба — циничная сука! Нашими же танками давят наших же женщин. Хорошо еще, что при этом не фотографируют родственники.

— Если бы я знал, — сказал полковник поморщившись, — не дал бы денег Тэду на краску! Пусть уж лучше бы погибла под безымянным!

И развернулся на своём стуле на сто восемьдесят градусов к «птичке»:

— Попроси подогреть теперь, душа моя!

«Перышко» порозовело, справившись с макаронами. Мокрое «Карпаччио» сохло в наших пересохших глотках и тарелках от этой цинично-танковой несправедливости.

— А Капа пил два года в Нью-Йорке не просыхая, — бросил через плечо лысый полковник.

— В Нью-Йорке? Хотели выслать — подданный враждебной Венгрии.

— Вот тебе и развлеклись на улице Девушки, — сказал Вика, — но всё-таки героя встретили, Кота-мецената! Чем лучше кафе называется, тем хуже новости! Это я уже давно заметил. Кстати о «птичках»!

— Я читал в старом журнале «Фото», что «капин» шедевр-монтаж подделка! То есть, «птичка»-то вылетела, но знаменитый «республиканец» с пулей так и не встретился...

— Разминулись?

— Какой то американец на «ИБМ» — всё просчитал: позицию тела, вес пули, угол «роковой» встречи, скорость вращения пули перед контактом, угол наклона тела перед падением и даже скорость ветра на снимке в тот день, по наклону ковьяля!

— И что решила «ИБМ»?

— Выплюнула на экран в тридцать сантиметров только одно слово: «Клюква»!

Другая статья доказывала, что Роберт Капа попросил приятеля «умереть за дело» перед «Лейкой» за «пару копеек» (по-испански — песет), что тот с успехом и сделал.

— Это как с Миттераном, в шестьдесят втором, у Обсерватории. Террористы из «Оаса» «охотились» за Де Голлем. Молодой депутат парламента — Франсуа Миттеран, решил привлечь к своей политической персоне внимание уже запуганной насмерть общественности. (А мы что, хуже!) И тоже за «пару копеек», но уже во франках, четверо приятелей, обстреляли из автоматов его «Рено», в то время как он сам выбросился на газон из своей машины и полежал около неё немного.

— Полежал?

— Хорошо полежал!

Расследование пожалело адвоката героя, сначала он поплакал четырнадцать минут в кабинете у следователя — потом (говоря!) — четырнадцать лет следователь «проплакал» в его президентском кабинете. Странная штука жизнь! Там, на фото, в героической Испании, — подделка, во имя совести и прогресса; тут, во Франции, в жизни — подделка, во имя низости и корысти. И тут и там — свидетели — пули, а главное действующее лицо — обман!

Вика засуетился. Потянулся к куртке и вытащил чековую книжку.

— За всё нужно платить!

Взял «который боком» и повернулся к Коту-полковнику:

— Прощайте, полковник! Поосторожнее с красной краской.

— Снимочек на память?

— Не волнуйтесь, капитан. Доллары уже кончились!

«Титикака» улыбнулась с облегчением и вздрогнула в последний раз под вспышкой перышком.

Капли катились по стеклу, катились и катились. И за стеклом веранды всё бежало тоже: потоки воды сливались и разливались, и опять сливались, и чтобы не повторяться, по ним, давали маху (и Авенариусу — прибавил бы Вика!) — мокрые прохожие — на автобус, прохожие сухие — из автобуса, опять же мокрые прохожие, чтобы «нырнуть» в метро, и, наконец, полностью сухие прохожие — «вынырнувшие», чтобы ими же и остаться.

— Город, конечно, обалденный! И странное дело — ничего русского, кроме моста Александра III, быстро и икры Петросяна, а я всё время натыкаюсь на какие-то русские «осколки»... — и он посмотрелся напротив в зеркало.

— Тебе, Серёженька, это кафе ни о чём не говорит?

— Разве что о куске мяса, но только сухого, пожалуй, — сказал я и осмотрелся.

Шум дождя заглушался всё время хлопающими дверями и звонком ложек и вилок, которые метко бросал в блестящую раковину высокий блондин с чеховским моноклем и таким же блестящим кольцом в ухе. Пластмассовые абажуры-«окорока» лили перпендикулярный свет на стойку и на столики. «Ветчинный» свет ровно освещал стены, на которых висели старые полосы газеты «Le Monde» с речами академиков, то есть «бессмертных». Владимир Ормесон, Жан — такой же (Ормесон) Анри Труая (литературный псевдоним Льва Тарасова), маршала Июня и по-моему, адвоката — Жоржа Изара, который защищал Кравченко.

Прямоугольные куски пластика прикрывали листы старого жёлтого «Мира», то есть «Le Monde»'а различной давности. В левом углу стойки огромная касса «National» сверкала всеми своими кнопками одновременно. В центре, на стойке, на возвышении, приковывало

недоуменные взгляды огромное кафельное биде (я не поверил своим глазам), из которого три чёрные розы тянулись с удовольствием к белому свету. (О, святотатство!)

— Розы, академики, биде, «National», — по-моему, это — кафе наше. Уж слишком много противоречий на каждый квадратный метр. Эти чёрные «лютики» в биде скрывают какую-то тайну, обиду, вызов. Заложим и разберёмся!

— Пожалуйста, три «дэми»! — Вика расстегнул воротник своей клетчатой рубашки. — Всё-таки какой Маяк, сука! «Но очень плохо в Париже женщине, если женщина не продаётся, а служит...» — процитировал Вика Вовика, коснувшись рукой щёгольской линейки своих чёрных усиков.

— И той, которая продаётся в пять раз лучше, чем нам... А уж о той, которая служит, и говорить нечего, вообще, кайф!

— Ты не заметил, как эти «окорока» называются?

— Нет, конечно. Проскочил. Лило как из... биде, — я покосился на монумент.

— Я «шел» по адресу: рю де Шарон, девять. Прохожие металась за стёклами, особенно избегая двух кружевных балконов третьего этажа напротив, с которых потоки весеннего дождя низвергались особенно иступленно. Четверо полумолодых людей, лет тридцати пяти, встали, покидая «окорока» и открывая одновременно чёрные зонты, совсем не похожие на те, шербургские. Вика лукаво улыбнулся и привстал в полупоклоне, по Станиславскому: «Уходите, уходите, не толпитесь у дверей, уходите, уходите, кто остался — тот еврей!»

Девушка без возраста, «не еврей», но в джинсах, непонимающе оглянулась, открыла синий зонтик и последней унеслась уличными потоками. Никого не осталось. Только мягко всхлипнула входная дверь. «Мадам Пи-пи»!

— Ты, шутишь? Кафе «Мадам Пи-пи»?

Тайна белого кафельного биде наконец-то приоткрывалась, как «чёрная маска».

— А нам хорошо в этих академических кругах, — сказал Вика, оглянулся и рванулся к чеховскому силуэту у стойки, который метнул последнюю блестящую вилку в такую же блестящую раковину, блеснув при этом моноклем и не промазав.

— Молодой человек, ради Веспасиана, объясните, пожалуйста, кто такая мадам Пи-пи? И эта штука, — и он указал на то, откуда тянулись чёрные розы, почти касаясь чистых перевернутых бокалов над головой окольцованного. — Вроде бы «это» эстетически отталкивает?

— Ну, что вы, — сказала «кольцо в ухе», — это наоборот, притягивает, я имею в виду клиентов. В солнечный день нет ни одного свободного места у стойки, а уж в туалете... Я вам по секрету ска-

жу — мадам Катрин (Катынь?) Стрижевска — славная дама, настоящая! Служила под «куполом», у академиков, пятнадцать лет в туалете, около «моста искусств», напротив Лувра. А вот и она!

«Настоящая» величественно спускалась по винтовой лестнице.

— Мою задницу весь Париж знает! — сходу заявил Катюнчик. — Добрый день!

Вика опешил, и не он один, все, кто мог опешить, открыли от удивления рты. И было отчего. В красном бархатном костюме, с собольиной опушкой, появилось огромное стокилограммовое тело, с пышным (подавляющим описание!) «балконом» — грудью и тяжёлыми бёдрами, знающими свою цену.

Сверху завершала приятная головка, с копной волос, абсолютно рыжих и неожиданных, как шляпы у Ван-Донгена. На лацкане красного бархатного пиджака, как вызов общественному мнению и вкусу, сияла золотом брошка (и тоже биде!). На стрижевской груди всё же оставалось ещё достаточно места для новых абсолютно изысканных и неожиданных утех и украшений. «Балкон» мадам Стрижевской, то есть её могучая грудь, был украшен, нет, нет, не приятной головкой и шейкой Нефертити, нет, нет, не профилем какого-то вульгарного Тутанхамона или фасом (лицом!) обольстительного маршала Нея, нет — скульптурные мужские атрибуты — брелок, доверчиво лежал на груди Катеньки, ожидая случайного взгляда.

— Не пугайтесь, мальчики. Ничего вульгарного здесь нет. Я тоже, как Дина Верни, была натурщицей. (Эта та, у которой в глотке, на пластинке воровских песен, грач или ворона нарисованы!) Нет, к счастью, не у академиков, у простых смертных, с красками. И это моя бронзовая задница лежит на лужайке у Лувра. Верни думает, что это — её, но я-то точно знаю, как я Майолою нравилась.

Это «её» со знанием дела и с восхищением поддержал блондин у стойки.

— Уж очень я хороша была в тот мой «бронзовый» век. Я пришла «под купол» прямо из кабаре: «Дама Пик». Леон меня оттуда вытащил. (Мой Леон — был единственный «бессмертный», который до конца своих дней так и не признал всерьёз профсоюзного движения!) В «Даме» я тоже работала по той же специальности, ему в «пику».

— Вы прекрасно сохранились, — сказал Вика, галантно рассматривая «пластмассовое» мясо.

— Я у «Мазарини» десять лет неотлучно в туалете просидела. «Бессмертные» забывали внизу у меня всё «на смерть»: французские глаголы, шпаги, галоши, академические словари, шляпы с плюмажем, но без кокард, именные вставные челюсти, трости с золочёнными набалдашниками (и с ядом), слуховые аппараты и батарейки, правительства, носовые платки с монограммами, но бросить в тарелку «Наполеон — на Аркольском мосту» (я всегда держалась за На-



полеона. Говорят, его отравили мышьяком!)... мелочь, франк, десять, пятнадцать — никогда не забывали. Считали за свою академическую честь помочь Катринчику-милашке. — «Милашка-Катринчик» глубоко вздохнула и посмотрела Вике прямо в глаза. — А сколько я вступительных речей выслушала? У нас в туалете радио было и цветы. И с балкона тоже. (Лизка-косая иногда подменяла... тоже отбор был!) У нас под «куполом» все кресла номерные...

Мы переглянулись с Викой.

— Кроме моего и Виктора Монтана — у входа. Кто как умрёт (а это у нас случалось довольно часто!), речь — ему, про то, какой он (бессмертный) был...

Вокруг нас всё затихло. Стыла «утка в апельсинах», стыло мясо с беарнским соусом, которое, говорят, делал сам Генрих IV перед своими «женскими» вылазками и до того, как его зарезал Раваяк; сохли в тарелках грибы «по-гречески» и несколько поджаренных яичниц — «крок-мадам» всё ждали и ждали своих заслушавшихся «крок-месё». Все — алкали глазами Катюнчика, в смысле Катринчика, — алкаши!

— Это только они на вид все одинаковые за восемьдесят, в зеленом с золотом и при шпагах, а внутри все разные... то журналисты, то адвокаты, то писатели, то хореографы, несколько дипломатов и эмигрантов, три юре и два повара (я про те времена говорю...) Значит, одна речь — тому, который занимал; а вторая — тому, кто на «смену»... и часами, часами — «битва за кресло — номер», выборы. Не могу слышать это слово!

— Я тоже, — сказал я рассеянно, забывшись.

— За десять лет — двести пятьдесят шесть выборов и все до поздней ночи. Редко кто сразу — в «кресло». Во время этих «посиделок» у меня всегда «час пик» был — мочевые пузыри не выдерживали! Один из академиков, бывший русский, с одиннадцатого года...

— Я тоже русский и тоже с одиннадцатого, — лукаво перебил Вика.

— Вы же не академик! — отрезало «золотое» биде.

— Увы, мадам, но мне нет ещё восьмидесяти.

Катюнчик переместил своё тело к «Националю», и дымок «Га-луза» поплыл к кассе. Под ней, Катюнчиком, или как её, что-то жалобно всхлипнуло и застонало, старый паркет?

— Так вот, этот, с одиннадцатого... прозвал почему-то меня «пиковой дамой». Странно. Ведь он же не знал ничего про нас с Леоном. Но очень славный, два раза по сто франков оставил, и это только за улыбку. Такое не забывается.

Вика встрепенулся.

— Мадам Катрин, а вы не помните, как его звали?

— Конечно же помню, я всех «стофранковых» помню. Я его ещё «труаянским конём» прозвала, что-то напоминало... может (Нет, нет — не пи-пи, что вы!) псевдоним или лицо.

— Вы правы, мадам. Его звали Анри Труая, — поддержал разговор я, покосившись на золотое биде на «балконе» Стрижевской, которое мне ободряюще подмигнуло светом по-светски.

— Правильно, молодой человек, какая я идиотка! Ведь я его вступительную речь «под купол» вон там справа повесила. Как сейчас помню, это было двадцать шестого февраля тысяча девятьсот шестидесятого года: опять упал в тарелку «сотенный».

Она повернулась направо к столику, за которым томилась перезрелая пара в очках, осужденная полустыившим кроликом.

— У меня всегда рябило в глазах от их золотых мундиров и шпаг. За десять лет только в моём академическом туалете чего только я не пережила: две дуэли, три реанимации (одну с успехом, сама массаж делала до приезда скорой!), восемь сердечных остановок, а уж сердечных приступов и не счесть. Я в моём столике всегда *адалат* держала (улучшенный валидол!). Я даже два раза упоминалась в «Академических записках», в завещаниях!

Человек двадцать посетителей «Мадам Пи-пи» жадно вслушались в наш импровизированный диалог. Вика чиркнул спичкой, не шведской, а из «Войны и мира» — не отсырела, последнее достижение отечественной кинематографии: шестнадцать спичечных коробков в одной призовой коробке, на которых были отсняты (на память — всё что осталось!) все герои фильма Толстого-Бондарчука (Владька Спичкин привёз из Киева вместе с последним номером «Огонька»), но без массовок. Я бы назвал эту дарственную коробку «Поджигатели!») Сизый дымок «Галуаза» потянулся к ближайшему «окороку» и жёлтому, подслеповатому плексигласу какого-то академика, по-моему, адвоката.

Золотое «биде-руно» вздохнуло:

— А головы-то какие! Под девяносто всем... всё забывают, а родословную своего «седалища-кресла» со времён Мазарини на память шпарят. Вот — это всё, — она повернулась и взмахнула своими могучими ручками, — дала мне моя «академическая» молодость: «Мадам Пи-пи» плюс ещё две пары бронзовых задниц, там на лужайке, у «пирамиды» Пея. Это кафе я открыла в их честь! И в мою тоже! Вам нравится? Но это ещё не всё. Зайдите в туалет... живые цветы, «окорока́»-лампы (я забыла вам сказать, что мой первый любовник — был мясник, как Шекспир!), а на зеркале, там, та шляпка с чёрной вуалью, в которой я в первый раз на рабочее место «под купол» явилась.

И Вика увидел, что на винтовой лестнице, которая вела на второй этаж к дамскому туалету, действительно наблюдалось некоторое «столпотворение»: спорили о смерти Эразма Роттердамского.

— Обязательно зайду! А можно вас... — параллелепипед боком вылез из бокового кармана «Линдберга».

— Только с моей «кормилицей», — ласково потрепала белый кафель тысяча девятьсот двадцать восьмого года, — и с вами, Лех, приблизьтесь!

— Кольцо в ухе и монокль приблизились к рыже-красной копне Катрин Стрижевской.

И красным полыхнула Катя.

Все задвигались и вернулись к своим кормушкам. Мы тоже сели за столик.

— Знаток «Лолиты», ты мог бы ей что-нибудь подбросить... из этого... — Вика подмигнул мне, толкнув вилкой уже давно остывшую куриную ногу.

— Она же не поймёт, он же из другого «света». Если — только для тебя, Вика!

«Мы гордимся нашими туалетными комнатами, столь же чистыми, как и у вас дома!» — Страница сто девяносто третья. Phaedra publisher, New-York, N.Y., 1967.

— Цыпа моя, страницу помнишь! Преклоняюсь, Серёженька. Но ты подумай только, — очередная затычка «Галуазом» совпала с некоторой Викиной возбуждённостью. Горячий пепел сигареты упал на совсем остывшую куру.

— Бред какой-то. Двухметровый дядя семьдесят лет тому назад придумал «литературный ход» показать «загнивающий»... так сказать, через задний ход — парижский туалет. Выдуманный литературный образ поддержал «историческую» неизбежность. Дядя получил своих «пару копеек» — теперь уже в рублях, сложил все «двадцать томов своих партийных книжек» и чиркнул на белом листе, без клякс, ещё пару слов: «Всё — Лильке!» или «Всё — «Лейке», или «Всё — Лилёк» (той, которая личико — ручками перед «Лейкой»). И растворился в пороховом дыму. Через семьдесят лет рыжая Стрижевская, с золотой брошкой-биде, в Париже, на улице Шарон, девять, тринадцатого марта тысяча девятьсот восемьдесят четвёртого года, в двенадцатом районе, в гробу видела все эти выдуманные литературно-пролетарские реминисценции... и «боком» — у своего любимого биде, в кафе «Мадам «Пи-пи» (телефон: 48-05-83) в двадцать часов пятнадцать минут (время местное!). Вроде бы никакой связи, а задуматься, господи, настоящая жизнь даже через сто лет мстит, и как — литературной лжи!

Мы уходили почему-то счастливые и опять в дождь. Стрижевская за своей кассой-«Роллс-Ройсом» выглядела особенно импозантной.

— Мальчики, проверьте сдачу! Деньги не пахнут? До скорого!

Лех у раковины опять метнул железо, по-моему, это были теперь столовые ножи.

А по каким улицам ходил Равик из «Триумфальной»? В какой клинике «искал» свои желчные пузыри? В «Мощарте» на улице Вознесенная или в «Трёх сестрах» на улице Визе, шестнадцать. Сколько же он получал «на лапу» от хирурга-гинеколога? В каком отеле открывал двери его русский приятель, капитан-портье, одолживший ему на пару часов свой именной наган?

Забавные мысли лезут в голову, лезут и лезут. Я сижу за столиком на какой-то улице, где два платана, и, как бы в прострации, смотрю прямо перед собой, на ту сторону. Огромный грузовик с прицепом, из Марсея, пятиться задом к зелёной парадной дома напротив, чтобы выбросить через пять минут сорок кубометров барахла из прошлой жизни в новую. На блестящем белом боку — синие буквы подмигивают, но без утолщений: «Сами — грузите, сами — везите!» И никакого намёка на набоковскую «недобросовестную попытку пролезть в следующее по классу измерение». (Уже пролезли?) Но, с другой стороны (как же не повториться!), огромные буквы, но уже красные (может быть, от усилий второго ряда), игриво выдают название фирмы: «Интеллигенты». Времена меняются, и даже грузчики, с татуировками и без, начинают профессионально острить боками своих грузовиков, через пятьдесят лет после выхода «Дара». Теплый ветерок шевелит всё, что может шевелиться.

Над головой щёлкают какие-то щеглы (но не касса!), грачи или ещё кто-то. Моё бельгийское пиво «Внезапная смерть» в стакане, по-моему, не торопится исполнить предназначенное.

— Держи, пупочка! — хулиганские глаза Вики вызывающе улыбаются: — Товарища по оружию!

На круглый столик упал альбом карандашных рисунков.

— Петя Митурич, киевлянин и суворовец, как и ты, то есть — кадет. Красные широкие лампасы на брюках... как у маршалов и генералов (Устав вооружённых сил СССР). Псковский кадетский корпус почти кончил, но выгнали: был чуткий к литературе (запрещённой!) мальчик.

Розово-серый пепел от «Галуза» упал рядом с рисунками «Пети». Я испуганно надул щёки... «Пронесло!» И пепел тоже.

— А где же наша «Внезапная», с косой?

Я повернулся к бармену, которого ещё не видел, и оторопел. За стойкой бара стоял настоящий «Попей», которого все граничные дети знают в лицо: огромные бицепсы и нет зубов (поэтому он не ест мяса — не хочет, падла!), в отличие от нас, у которых есть зубы, но нет мяса, и трубка всегда дымится в левом углу рта.

— Правильно «есть» и в «левом»!

У этого настоящего «Попея», как и у того, на рисунке, синие толстые вены на правой руке переплетались, пытаюсь скрыть татуировку — синий якорь, который судорожно цеплялся за три ненадёжных слова: «За всё заплачено!»

— Пожалуйста, две «смерти», — сказал Вика и расстегнул коббойку под «Линдбергом».

— Послушай, что я сегодня откопал в «жёлтых страницах» — наш «программец» на ближайшие «месяца»...

«Усатое» кафе, дом сто тридцать восемь, в предместье Святого Мартина; кафе «Сто килограммов», на улице Фолли-Мерикур; кафе «Вино без воды» (Через неделю! Через неделю!). Сашенькины усы задёргались от удовольствия. Кафе «Стрельни-сигарету!» (Ох! и постреляем, а может и «Беломор» найдём!) И наконец, кафе «Барахло», в доме номер один, на улице Большого Вора. А молочные берега... Сены? Прямо «молочный» рай какой-то! Кафе «Молоко» в двенадцатом районе. Чуть дальше, в десятом, не поверишь, кафе: «Корова и компани» (вывеска — неон красный и белый) — оба этими «выменами» на ветру трясут... прямо у входа, подходи с бидоном!

А «Сети шпионажа» в четвёртом (такой знаменитый фильм был, в пятьдесят шестом — восемь часов простоял в очереди, а как начинается... плывёт пароход, вдруг — бах! И только какой-то заколоченный ящик на волнах качается, а на нём мышка... «ехала — болела»!) там, говорят, портрет Оцуа на стене во весь рост, наглого русского американца из Голливуда — штаб-квартиры местной «молочной» резидентуры (все пьют только кофе с молоком!) как раз напротив кафе «Орёл или решка», в доме четыре, на рю Дюаль.

«Попей»-убийца, принёс внезапно своё «убийственное» пиво и трубка в левом углу рта полыхнула «Амстердамом» — табаком, который тоже вдруг, в свою очередь, случайно напомнил о Бреле.

— Ваше пиво...

Я отодвинул «Петю» и увидел, что на шее у Попея, который нагнулся над столиком, пунктирная линия татуировки идёт «от уха до уха», путаясь тоже в словах — совете: «Разрезать по пунктиру!»

Вика оторопел и полез в карман (Картье прав, как всегда!) за «тем, который боком». Но «пунктир» уже пошёл что-то резать к стойке.

Ничего себе обстановочка: «Внезапная смерть», «резать шею по пунктиру», сплошные якоря-наколки, и вместо музыки кто-то сверху зачем-то щёлкает! Вика засуетился и пошёл «по следу» в кафе.

Напротив, на той стороне улицы, четыре «интеллигента» выгружали огромный зеркальный шкаф, наверное дубовый, тяжёлый, гад. Размытое отражение чего-то «кафейного» вдруг лизнуло фасад здания. Я открыл альбом товарища Митурича, моего «боевого» товарища. Господи, какой праздник, какой воздух рождal карандаш!

Петя, мой друг по стрелковой роте, биография скороговоркой (но всё-таки — биография!)... Я посмотрел год издания — семьдесят третий! Понятно! Вступительная статья — три страницы, понятно! Воспоминания ученика, товарища Захарова, тоже понятно, хотя...

Но несколько старых, пожелтевших фотографий рождали какую-то щемящую тоску. Мальчик пяти лет... Рига. Фотограф Виршинковский. Пока ещё ничего не напоминало о лампасах... Вторая фотография (уже напоминала!) и безудержно толкала улыбнуться и «поржать». Военный класс академии художеств — тысяча девятьсот тринадцатого года... Кто — стоит, кто — сидит. И тут же между ними, одноклассниками, «засунуты» две живые лошади. (Их два казака под уздцы держат!) На одной из них барон Мюнхгаузен — Митурич-Митрич сидит в седле, но задом-наперёд (единственный из этой группы, кто сидит?) Потом ещё две небольшие фотографии и всё — и больше никаких позитивов. На странице тридцать третьей — Осичка (нет, не «рыжий» — чёрный) сидит на стуле у камина, в пятнадцатом году. (Может рифму к Александру Сердцевину ищешь?)

На сороковой — портрет хорошенького Л.А. Бруни (Кто же это?) На сорок пятой странице — портрет Велимира Хлебникова, умирающего в деревне Санталово, в тысяча девятьсот двадцать втором году... (Что же это они умирают все — в эти годы? Через семь страниц — «смехач», Велимир Хлебников («О, засмейтесь, смехачи!..») «усмешается» на смертном ложе... Господи, какой рисунок! Топчан. Деревянные стены с сучками и, в профиль, совершенно высохшее худое тело и, тоже в профиль, лицо, борода и пучок полевых цветов под головой. Ни одной лишней линии, ни одной карандашной «задорины». И подпись под рисунком рукой Митурича: «Первый председатель земного шара» — двадцать восьмого июля, тысяча девятьсот двадцать второго года... а дальше... заборы, заборы, от которых не оторваться.

— Спасибо, Петечка, что тебя из нашего «пажеского» корпуса вышибли — такую книжку сделал!

— Серёжка! — весёлые глаза Вики забегали возбуждёно. — Ты даже не знаешь, куда ты меня привёл!

«Тот, который боком» уже суетился в его руках: «клик»-налево, «кляк»-направо. И два раза — «параллелепипед» вспыхнул через дорогу, в сторону красных от усилий «интеллигентов» и зелёной массы деревьев, скрывающих что-то тоже, архитектурно красное и тяжёлое.

— Мы уже три года ищем что-то из ряда вон, а тебе трудно поднять голову!

— Нет, нетрудно...

Я поднял голову, но название кафе напротив солнца как-то терялось в красном ажуре навеса, да ещё петины рисунки взволновали, увели от действительности... «Здесь лучше, чем напротив!»

Ещё не схватив, где лучше, я повёл глаза — напротив, на ненабоковский грузовик, который уже освобождал от красных плюшевых кресел свой бок — «интеллигенты» знали своё дело: брезентовый бок ненабоковского грузовика был поднят.

— Серёженька, мы же напротив тюрьмы «Френ»! Невероятно! И какое чувство юмора! Какой день!

— Какая удача! Где моя «смерть»?

«Внезапная» была опрокинута безжалостно и внезапно.

— И закажи ещё две! Туда, туда зайди! — он давился от смеха.

«Тот, который боком» уже лежал боком на столике — плёнка кончилась.

«Попей» никого не резал у стойки, только мыл зачем-то чашки. Два посетителя (тоже «крутые в плечах») тянули лениво пиво. Но с четырёх сторон на них смотрели странные натюрморты. Четыре окна, нарисованные маслом, представляли собой зарешечённые окна различных тюрем... Прямо напротив меня статуя Свободы была закрыта тяжёлой решеткой, два разогнутых прута которой напоминали о бегстве... из Нового света. Лукавый художник катанул внизу подпись: тюрьма «Синг-Синг», Нью-Йорк, и свой номер 007440. Слева, тоже масло, «давало» по Эйфелевой, и тоже через решётку. В левом углу тоже не хватало железного прута — «Сантэ» «Здоровье» (Беги, на здоровье!) Справа, около груды пивных чистых стаканов, виднелись какие-то рисовые поля и соломенные конические жёлтые шляпы — тоже через решётку, судя по подписи внизу: отель «Хилтон», Сайгон. И тот же личный — нагрудный номер художника. Интуитивно я повернул голову на сто тридцать пять градусов. Сзади через зарешечённое окно тянулся куда-то, подвешенный золотым маслом, мост — Сант-Франциско — в «Алькатрас».

А кроме того на стенах, так по мелочи, то тут, то там, были разбросаны блестящие наручники разных моделей и систем и нагрудные теперь уже знаки заключённых... ну, те, номерные... перед вспышкой... для картотеки.

«От уха до уха», увидев моё ошарашивание, поставил огромную красную чашку с портретом Щорса и с бодро-боевой надписью: «Из Киева от Щорса, для чая и для морса!» (При чём тут Киев? Зачем тут Щорс?) и сказал басом лениво, кивнув в сторону окон:

— «Хобби», собираю номера друзей! (но про «морс» и Киев не объяснил!)

— Ив, «дай по соловью!» — сказал один из «крутых» тоже густым голосом. (Как они тут все простужены!) И его толстый палец внезапно остановился на неизвестно откуда появившейся статье на столике: «Изменение себестоимости молока и стоимости питания одной коровы во Франции». Ножка его бокала (не его — ножка!) оставила мокрый кружок на бумажной подставке, на которой почему-то французские буквы кричали: «Отсидел — помоги!»

Ив подмигнул мне и также густо и лукаво протянул:

— Пять лет провёл, напротив... ни одной бабочки не видел. Теперь птиц завёл... пусть щёлкают... — и толстая — с ногу — рука, перевернула кассету.

Я принёс две холодные «смерти» и поставил их на столик. Вика помрачнел, посмотрел зачем-то напротив...

— За Генку и за Славика!

Я не задавал лишних вопросов, но заметил, что лучистые морщинки у глаз собрались в тревожные пучки. Нам было лучше здесь, чем им — напротив: и тем, кто за деревьями, и тем, кто под тяжёлым красным плюшем кресел, и, тем, за кого мы пили.

— Какой «решёточный» размах у них тут... прямо, как у нас там! А в «Петеньку» ты влюбился?

Я развёл руками, пытаюсь ими (руками) подыскать пару «не-нужных» слов...

И как же это «Митрич — Митурич — Мюнхгаузен», весь «задом-наперед», семьдесят лет советской власти проехал и ни разу не сел? Да только за одну тридцать третью страницу...

— Судьба вела!

— Давай ещё по «косатой», Сержик, и на автобус. Напротив, марсельские «интеллигенты» устало засовывали свои грузные тела в пузатую кабину южного грузовика с тайной надеждой, что там... потом... где-то у цели их тоже «интеллигентно» выгрузят.

Квадрат серого бетона врезался в коричневую землю геометрически безнадежно. Зеленая травка то тут, то там... Какие-то лапы, липы... Зелёная бутылка виски «ЛЗ» с красно-желтой этикеткой на жёстком квадрате и красное яблоко... так, как бы случайно: «Закусить — согреться!» Приняв пять глотков в себя, я переворачиваю горлышко... и лью, и лью, и лью — на землю.

— Вика, согрелся?



## Борис ЛЕВИТ-БРОУН

/ Верона — Киев /



\* \* \*

Кто стучится в дверь ко мне  
с толстой сумкой на ремне?  
*С. Маршак*

Тишина. Закрывать глаза?  
Мыслить «против» или «за»?  
Холя брентную натуру,  
караулить рифму-дуру?

Тихо тая на миру,  
длить постыдную игру?  
Без ответа, без вопроса –  
сигарета... папироса...

Зная, что и в дверь ко мне  
среди пустоты и лени  
постучит бескрылый гений  
с толстой сумкой на ремне.

\* \* \*

В мечтах, в трансцендентальном плане.  
*Г. Иванов*

Так кипарис роняет очерк грусти  
на скучный мир, на грешный люд под ним.  
Так узнаю я, что на сердце пусто,  
корыстен, как всегда, и нелюдим.

Из неба мне не высосать отраву,  
не обмануться нищетою дум.  
Скептический, трансцендентальный ум  
в силки не увлекает птицу-славу.



## Юрий ХОЛОДОВ

*/ Саванна — Киев /*

### БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ

#### Семен

Семен всю жизнь избегал конфликтов. Женившись в тридцать лет, сразу принял за правило во всем потакать жене. Невысокий, ладно скроенный, но с какой-то едва заметной робостью в широко поставленных глазах, мягкостью характера он пошел в мать, которая рано умерла, сразу после окончания войны. Тогда ему, старшему из трех братьев, было только двенадцать, и он хорошо помнит как, прячась за кухонной дверью и испытывая чувство страха, подслушивал пьяный разговор отца с соседом дядей Мишей, с которым прошел всю войну до самого Берлина. Тот просил отца не оставлять его малолеток, помогать чем сможет, словно прощался с жизнью. Когда вскоре тетя Эмма с двумя пацанами перешла жить в их дом, он решился спросить отца, почему так случилось. Тот отмахнулся: «Не твоего ума дело!» Как узнал позже, дядю Мишу посылали работать в Германию по репарациям, и он должен был развестись с женой еврейкой. Отказаться он не смог.

После случившегося, при таком скоплении детворы в доме на подростка Семку уже никто не обращал внимания. Целыми днями с ватагой уличной босячки он рыскал по развалинам домов, выискивая сохранившиеся послевоенные сокровища, а то пропадал на речке, собирая по кустам пустые бутылки. На вырученные деньги покупали у знакомой продавщицы курево, пиво, а иногда и чекушку. Часто, когда стемнеет, забирались на деревья вокруг летнего кинотеатра, откуда можно было смотреть трофейные фильмы. Тогда же он и превратился из Соломона, названного так при рождении, в Семку, Семена, просто потому, что его друзья-приятели никак не простили бы ему такого неподходящего имени.

Вскоре вольная уличная жизнь ему наскучила. Захотелось что-то мастерить самому и видеть результаты своих усилий. Он научился собирать приемники, чтобы в скрежете и завывании глушилок слушать далекие голоса, как бы с другой планеты. Ему мечталось хоть краем глаза заглянуть в тот незнакомый запретный мир.

Отслужив армию, Семен уехал в Ленинград. Какое-то время работал чернорабочим на строительстве дорог, пока осмотрелся, потом закончил профтехучилище и пошел работать слесарем на завод. Обычно после смены с напарником по цеху, приняв по маленькой, слушали «вражьи голоса» или запретный джаз, прокручивая на самодельном магнитофоне (тогда их еще не было в продаже) кем-то много раз переписанную кассету. В получку расслаблялись уже по полной, так что, если удавалось прорваться в женское общежитие, там, как правило, и оставались до утра.

Неизвестно, как бы сложилась дальше Семенова жизнь, если бы не счастливый случай. Внезапно разболелся зуб, да так, что даже принятая внутрь тройная доза не помогла. Пришлось бежать к врачу.

Вот не повезло, подумал с досадой, усаживаясь в диковинное кресло и со страхом рассматривая зловеще сверкающие на подносе незнакомые инструменты, — замучает, пока будет управляться. Заметив, как он побледнел, любезная старушка-врач успокоила:

— Вижу, вы здесь в первый раз. Это совсем не страшно. Потом будете чувствовать себя героем. Только, пожалуйста, не ломайте ручки моего кресла. Оно дорогое, американское, здесь таких не делают. — И что-то добавив по-французски, улыбнулась, как-то острожно, словно опасалась нарушить толстый слой розового грима на впалых щеках.

Прощаясь, она строго сказала:

— Вы, молодой человек, как культурный мужчина, должны следить за зубами, чтобы в сорок лет не превратиться в старика. — Ее тонкие губы чуть приоткрылись, обнажив сверкнувшее золото зубов. — Я думаю, это не понравится вашей жене. Кстати, какого рода ваше занятие?

Семен засмеялся.

— Да я не женат.

Признаться же, что он обыкновенный работяга, слесарь, хоть и самого высокого шестого разряда, не хотелось, как-то не солидно. Вот электронщик — совсем другое дело, и звучит вполне интеллигентно.

Старушка сразу оживилась.

— Мы с сестрой наемни приобрели в комиссионном магазине большой комбайн, немецкий. Там столько разных кнопок, трудно разобрать. Может, взглянете?

Теперь Семен действительно почувствовал себя героем.

— Покажите, разберусь. Интересно посмотреть на эту штуку, а то часто приходится перебирать всякий хлам, — и он доверительно улыбнулся.

— Живем мы в самом центре, на Невском. Если вас не затруднит, в это воскресенье, — поспешила старушка. — Купим что-нибудь к чаю.

Конечно, она подумала в первую очередь о своей дочери Мире, ее единственном позднем ребенке. Уже за тридцать, а она все перебирает. Тот старый, тот слишком толстый. Избаловали. Что ни подай — все не по ней. Паренек молодой, простой, симпатичный. Бог даст, может, сойдутся, появится надежда на продолжение рода. Не хотелось, чтобы дочь повторила судьбу старшей сестры, известного в городе врача гинеколога. Та так и не вышла замуж. После преодоления запрета соблюдать черту оседлости, выдержав множество экзаменов, в том числе французский и латынь, и с отличием закончив медицинский, так и не нашла себе достойного. Не слушала советов, не помогли уговоры...

Семен явился без опоздания. Объяснил старушкам, как обращаться с их сложной машиной. Они все аккуратно записали на большом листе бумаги, приклеили на стенку. Потом пили чай с миндальным печеньем при свечах, и Семен, шумно отхлебывая, бережно, чтобы не разбить, ставил хрупкую прозрачную чашечку на сверкающее зеркальной чистотой тонкое блюдо. Все это было так не похоже на их «общагу». Большая тщательно убранная комната. В углу пианино в солнечных бликах. На раскрытой крышке пухлый, с потертыми страницами сборник каких-то нот, ниже — диковинная надпись «Шредер». Портреты усатых стариков в золоченых рамах. Горка с играющим светом хрусталем. Мягкий ковер, в который, сняв ботинки, приятно погрузиться измученным грубой обувью ногам. Живут же люди, думал, не замечая, как пристально следит за каждым его движением Мира, сидящая напротив, пока старушки деликатно устраивают ему перекрестный допрос. Пришлось признаться, что электроника — это его увлечение с детства, на самом же деле он всего лишь слесарь, правда шестого разряда, а живет в общежитии при заводе...

Перед самым Новым Годом, когда они с дружкой сидели у себя в комнате и уже в который раз разлили по стаканам, в дверь постучали. На пороге в костюме Снегурочки стояла бабушка-гинеколог. Подчеркивая каждое свое слово решительным жестом маленькой жилистой руки, она приказала:

— Собирайся. Внизу ждет такси. Будешь праздновать Новый Год вместе с нами. Мира не возражает.

— Пардон мадам, я возражаю, — парировал напарник, — у нас уже налито.

— Налей и мне, — храбро сказала бабушка, беря со стола банку из-под кабачковой икры.

— Во дает старуха! — Тот подмигнул Семену, выливая остаток из бутылки.

Вышли на улицу.

— В Новый Год мне, бывало, приходилось рядиться Дедом Морозом, — пожаловалась бабушка. — А теперь вот бороду, усы, шапку и мешок с подарками прихватила для тебя.

Она подтолкнула Семена на заднее сидение. Сама села рядом. Доверительно склонившись к нему и царапая щеку оборочками бу-мажной шляпки, заговорщицки проговорила:

— Будь с ней посмелее. Мы, женщины, это любим. Только при-творяемся.

— С кем, с ней? — не понял Семен.

Старушка была глуховата.

— Решительно и смело! — продолжила она, стуча его по колену маленьким кулачком. И вдруг засуетилась. — Что мы сидим? Уже подъезжаем, а ты еще не готов. Надевай шапку, приклеивай бороду, усы... Фу!.. Как вы можете пить такую гадость?

Комната, в которой он был однажды, уже не казалась такой просторной. В самом центре — елка, чуть не до потолка, между горкой с хрусталем и пианино втиснулся большой диван, а на столе, сдвинутом к самому окну, бокалы для шампанского и блюдо с аппетитным яблочным струделем. Семен потянул носом — жареным не пахло. С сожалением вспомнил об оставшейся дома домашней колбасе.

С боем курантов разлили по бокалам и дальше, как видно у них было заведено, недолго задержавшись у стола, перешли к новогодним развлечениям. Каждый выбрал себе подарок из четырех одинаковых пакетов, перевязанных голубыми лентами. Ему достался одеколон Шипр, зубная щетка и лавандовое мыло, что, подумал, будет кстати, если не отпустят и придется остаться до утра. Мира села к пианино, и под звуки Хава Нагила старушки, подняв руки, плавно пошли кругами, будто держали наполненные до краев кувшины над головой и боялись расплескать. Потом комнату наполнили нежные убаюкивающие звуки фортепиано.

Семен осторожно присел на диван. Тот под ним даже не скрипнул. Добротно сделано, подумал. Захотелось прилечь, но постеснялся. После выпитого накануне и новогоднего шампанского его клонило в сон. Мира прервала свое музыкальное представление.

— Хватит его мучить! Не видите, человек, может, после смены, а мы ему Шопена.

— Нет, почем, — Семен встряхнулся, — я ничего, мне интересно. У нас в общаге по вечерам часто можно услышать джаз, но и это тоже для души.

Мира, близоруко щурясь, подошла к дивану, пытаясь лучше рассмотреть неожиданного гостя. «У нас в общаге» звучало грубовато, но чем-то и привлекало. Конечно, не образован, дремуч и с кучей дурных привычек. Но симпатичен и смотрит совсем по-детски. Ну, вылитый Иванушка из сказки для детей. И вдруг мелькнуло: чем не жених? Может еще не поздно? Попробовать отмыть, принарядить, приладить

для себя. Вспомнила, как в десятом классе, когда девчонки уже наперебой крутили с мальчишками любовь, она, вечная отличница, угловатая, с нагло торчащим носом на невыразительном лице все ждала своего сказочного принца. И дождалась. Красавец, весельчак, спортсмен Степка-второгодник делал ей откровенные намеки, уверял, что каждая девчонка где-то прячет свою изюминку, и, если поискать... На уроке математики подсел к ней, придвинул тетрадь. А там вместо уравнений — обнаженные красавицы в шляпах и высоких сапогах. И подпись: *Хочу с тобой дружить.*

— Скоро экзамены, — пояснил, улыбаясь. — Боюсь, без твоей помощи снова не проскочу, сяду на мель.

— Почему я? — спросила шепотом.

— Ты для меня лучшая из всех, на данном отрезке жизни.

До сих пор не понимает, почему тогда его не оттолкнула. Наоборот, приблизила, обязалась взять шефство. Когда в первый раз осталась с ним после уроков, он с развязной улыбочкой сразу полез ей под юбку, стал гладить холодную коленку. Стерпела, наверное, из любопытства, сможет ли удержать его в рамках дозволенного. Не замечала, что с каждым разом сама отодвигала запретную черту, пока однажды, засидевшись с ним допоздна, уже не могла удержаться от соблазна испробовать все до конца.

Узнав о случившемся, мать и тетюшка всполошились, не пора ли искать ей жениха. Что ни праздник, в доме новые гости. Дядьки все солидные, с положением. А как представит их в роли Степки, сразу и воротит. И удивительно, чем дальше в прошлое уходило то приключенные школьных лет, тем приятнее было вспоминать, как вместе со Степкой искали в темном классе утерянную изюминку. Захотелось снова почувствовать себя девчонкой, как тогда в десятом. Может, подумала, потом и пожалею, а пока... Конечно, Семен не Степка, больно робок, но если подтолкнуть...

Включили музыку, и она потянула его танцевать. После каждого танца он не раскланивался, не целовал руку, спешил вернуться на насиженное место, что ее сместило и в то же время располагало — она уже относилась к нему с симпатией. Когда старушки, сославшись на усталость, ушли к себе, Семен решил, что ему пора прощаться. Хотелось расслабиться, вздремнуть немного.

Мира села рядом.

— Ты не бойся. Я в Новогоднюю ночь как ребенок, хочу дурачиться, играть в детские игры. В какие ты умеешь?

Он смутился.

— В «коца», в «лярвочку»...

— А знаешь, у нас любимой была такая веселая игра, называлась «поймай мышку в чулане». Это просто. Завешиваем окна, выключаем свет, чтобы совсем темно, и ползаем по ковру. Ты будешь кошкой. Я мышкой. Кис-кис... кис-кис.

— Здорово, — повеселел Семен, — а если поймаю?

— Тогда ты меня съешь! — Ее глаза стали совсем круглыми. — Только не начинай охоту, пока я не позову.

Поднялась, выключила свет. В комнате стало темно. Что-то в стене шуршало. Дом старый, подумал, наверное, мыши хозяйничают по ночам. Потом стало тихо. Он терпеливо ждал. Шла минута за минутой. Ни звука, как в могиле. Снова потянуло в сон. Подтянул ноги, положил голову на пахнувший чем-то звериным кожаный подлокотник. Веселые пузырьки еще бегали по жилам, застревая где-то в самой середине становящейся легкой как детский мячик головы. Это хорошо, вспомнил, хорошо, что завтра нет работы.

Вдруг что-то пискнуло, совсем рядом. Прислушался. И снова где-то в стороне... кис-кис... кис-кис... Сполз на ковер, полез, тащась в темноту. Кис-кис... уперся головой в ветку ели, чуть не выколол глаза. Кис-кис — где-то слева, справа. Мя — что-то откликнулось внутри. Работая локтями, по-пластунски рванул по кругу и снова еще больнее оцарапал иглами щеку. Фу, черт, выругался про себя, вот поймала дурака. Ну, погоди, я отыграюсь. Выполз из-под ели, притаился, стал терпеливо ждать, когда «кис-кис» сыграет где-то рядом. Поймал за волосы, огладил по спине. Да она совсем... в чем мать родила!

Тут-то и пригодилось ему напутствие старушки «Будь с ней посмелее». Но пойманная мышка и не сопротивлялась.

После свадьбы старушки наперебой старались приобщить Семена к семейным ценностям. Обучали столовому этикету, объясняли, как одеваться, завязывать галстук, носить берет. Приучали принимать душ утром и вечером, перед тем, как ложиться в удивительно пахнущую свежестью постель. Узнав его настоящее имя, предпочитали называть его Симон. Спорили между собой, нужно ли обучать его французскому. Ограничились тем, что подкладывали на прикроватный столик какой-нибудь из их любимых романов, про любовь. Мира должна была следить, чтобы он перед сном прочитывал страниц по двадцать. Утром за завтраком устраивали проверки, требовали пересказать прочитанное в культурных выражениях. В общем, всем было дело. Семену, попавшему так неожиданно совсем в другую жизнь, это нравилось. Он даже чувствовал как бы свое превосходство над прежними товарищами по работе. Не просто было только приучить себя читать романы, пока Мира, подсунув под него коленки, терпеливо ждала своего часа. Но скоро это вошло в привычку. Интересно было представлять себя в роли книжных героев. Вот, думал, и у него с Мирой вроде как любовь, правда, чего-то не хватает. Не тот вольтаж, не то напряжение, как бывало. Зато упряма, если что замыслит, добьется своего. Два института, престижная работа. Тут редкий мужик проявил бы такое упорство. Настояла, чтобы и он больше соответствовал своему новому местопребыванию. Как не сопротивлялся, пришлось поступить в заочный институт, получить диплом инженера, сменить место работы.

Не все, однако, шло гладко. После родов Мира изменилась — часто болела, стала придирчивой, капризной, и Семен радовался каждой возможности хоть ненадолго снова почувствовать себя свободным. Он охотно ездил в командировки контролировать качество сварных работ в промышленных магистралях и первое время даже испытывал неловкость, когда его, простого инженера, встречали как важную персону, селили в лучших номерах. Считал, что каждый на его месте мог бы выполнить такую несложную работу. И все же это грело, поднимало настроение, как и рюмка-другая крепкого напитка после работы. Каждый раз, возвращаясь из служебной поездки, он надеялся встретить жену в добром здравии и хорошем настроении. Не получалось. Трудные вторые роды, потом одна за другой ушли из жизни их милые старушки. Пришлось нанимать домработницу, сначала одну, потом другую.

Конечно, Семен и сам охотно брался за любую домашнюю работу. Часто приходилось быть и нянкой и кухаркой. Бывало, когда жена болела, ночи напролет просиживал у ее постели, он надеялся, что она намеренно преувеличивает свои страдания. Но глубоко укоренившееся в сознании уважение к образованности и непростому происхождению жены (ее отец, Лейзер, был удостоен звания инженера-электрика, закончив еще до революции Петроградский Политехнический Институт Императора Петра Великого, получив тем самым право жить и работать в Петрограде) не позволяло ему проявлять свою волю и тем более высказывать свои подозрения. За много лет, как не старался, они так и не «приварились» друг к другу. Пришлось усвоить правило: возникло напряжение — не возражай, уступай, перетерпи.

Когда еще только зрело решение уехать за границу, он вспомнил, как в юные годы мечтал узнать правду об этом закрытом для них таинственном мире. Теперь же, на склоне лет, его пугала неизвестность. Как будет жить среди людей с чужим, непонятным языком? Чем будет заниматься? К своей нынешней жизни он прилачился давно. Всякое случалось. Иногда казалось вроде как идет по минному полю. Чувствовал, где может рвануть, знал, как обойти. Вся жизнь как у Миры на пианино: клавиша белая — клавиша черная. Черных вроде бывало больше. А там? Что его ждет? Каждый раз, когда затрагивалась болезненная тема, ему хотелось притормозить, найти какие-то аргументы, отговорить. Не хватало смелости, да и сомневался, послушают ли его.

Но тут случилось то, что и должно было случиться, что уже давно зрело в высоких умах, там, на самом верху. Их любимица Лиечка вернулась после вступительного экзамена в медицинский вся в слезах.

— Это несправедливо! Это так несправедливо! Я знала лучше, чем другие. Эта тетка на экзамене, она еще и издевалась. Говорит: была бы моя воля, я бы не поставила и это.



— Угомонись, — успокаивал старший брат Мирон, — тебе не повезло родиться в другое время. Теперь твои кудряшки всем режут глаза. Я был почти уверен, бортанут по пятой. Отсюда делаем вывод: нас здесь ничего не держит.

Похоже было, что и Мира, всегда самостоятельно принимавшая важные решения, чувствовала, будто вырывает себя с корнями. Распорядилась загрузить в контейнер все подписные издания и купленные у букинистов редкие книги домашней библиотеки. В растрепанные тома и картонные обертки Семен прятал семена помидоров, огурцов, редиса, чтобы там не забывать вкуса прежней жизни. И только Мирон и Лия уезжали без сожаления, да еще Егор, новоиспеченный член семьи — один из мечтателей-авантюристов, уносимых за океан волной еврейской эмиграции.

После переезда все опасения Семена, как он и предполагал, полностью оправдались. Ни Мира с ее двумя дипломами, ни он с его изобретательскими способностями на новом месте оказались не у дел. Как сотни и тысячи таких же немолодых, без языка, кучкующихся по большим городам. А тут еще не то, чтобы провинция, но так, городок спокойный, жизнь неторопливая. Иммигрантов всего несколько десятков. У каждого свои заботы. Кто прибыл раньше и уже освоился — мнит себя настоящим американцем. Они свое уже перетерпели. Помощи от них не жди. Считают, что и ты должен съесть свою порцию дерьма.

Вот только Егора это никак не касается. Пашет себе за двоих. Семен даже завидует ему.

Какой правильной и упорядоченной была бы жизнь, если бы тот, кто где-то в верхах поставлен ею управлять, с самого начала твердо и определенно указал: Семену быть изобретателем, Егору — дирижером. И так надо бы с каждым, а то ведь пускает все на самотек. Тогда не искали бы оправдания, мол, жизнь не сложилась, могло быть по-другому. Но не нам их судить. Ведь, если подумать, и мы могли бы стать совсем другими.

## **Егор**

Егор, хоть и числился в консерватории в середнячках, был крепкий оркестрант, цепкий, любое заковыристое место легко читал с листа. Тем не менее, перспектива пробиться в компанию маститых, стать если не самым-самым, то хотя бы его подручным, была весьма туманной — истязать себя ежедневно, чтобы достичь технического совершенства, особого звучания, в общем, стать виртуозом — нет, это было не для него. Вот почему, пока другие мучились, вкладывая в пальцы замысловатые композиторские штучки, он как отбившийся от стаи одинокий волк часто бродил по Ленин-

граду, перебирая все возможные лазейки, куда можно свернуть с унылого, малоперспективного пути туда, где в призрачном тающем тумане маячила совсем другая жизнь.

На одной из генеральных, играя, почти не заглядывая в ноты, он, чтобы развлечься, с любопытством наблюдал за дирижером, ловя небрежности в его движениях. У нас в Союзе, как было заведено в оркестрах? Иной дирижер неделями готовил новую программу. Для струнников практиковались групповые репетиции, на которых уже не спрячешься, не прикроешься соседом, показывая все, на что способен. На сводных дирижер как повар сливал в общий котел тщательно очищенные, отмытые голоса, время от времени выхватывая оттуда для пробы кого-то из середины, предлагая ему в одиночку изобразить тот или иной пассаж. Попробуй, возрази, и можешь быть уверен, скоро объявят конкурс на твое место — перебирайся на задний пульт. Еще хуже, если спишут в тираж, кем-то заменят как неперспективного. Бегай потом, чтобы где-то прислониться. Вот дирижер — совсем другое дело. Чем не для меня, подумал. Это так просто! Выстраивать голоса, одни поднимать, другие смягчать, двумя-тремя акцентами сверх тех, что в партитуре, усиливать напряжение, переходя к кульминации, а уж потом держать, держать всех, чтобы мурашки по спине, на одном дыхании, до самого обвала.

После репетиции, прогуливаясь по Невскому, снова и снова возвращался к разработке первой части. Никого не замечая, плавно разводил руками, мягко подталкивал неповоротливые виолончели, пристраивал шаг под ударных, напевая партию куда-то уплывающего в синеватую уличную даль английского рожка. Прохожие в удивлении оборачивались, когда он вдруг начинал подпрыгивать, чтобы встряхнуться. Вот так, подпрыгивая, он вдруг осознал, что самый верный выход — смотреть за бугор, туда, за океан, к потомкам завоевателей, ковбоев, авантюристов. Там, он слышал, в каждом городке свой оркестр и только там можно развернуться, заработать хорошие деньги. Может быть, стать известным дирижером, «управляющим оркестром», диктовать свою волю.

Способность схватывать все на лету, пусть не углубляясь, не пропуская через себя, поддерживала в нем уверенность в собственной исключительности. Рожденный под знаком Скорпиона, вегетарианец, он в выборе женщин не был гурманом, особо не перебирал, считал, что все они, худо-бедно, природой предназначены для снятия плотских напряжений, отвлекающих, постоянно напоминающих о себе внезапными всплесками желания. В эти моменты он, впрочем, преобращался до неузнаваемости, становясь мягким и обаятельным. Почву для сближения легко находил в любимых им рассуждениях о музыке. Не чувствуя должного отклика, мягко переходил к литературе, предпочитая современную. Считал, что классика с ее затянутыми экспозициями, многостраничными разработками подходов к кульминации, по сути, с одной и той же целью, отжила свое. Современные стремитель-

ные сюжеты и новые герои-супермены были ему более близки и понятны. Бывало, зайдя в книжный, где всегда выставлялись свежие образцы этого производства, он с интересом пролистывал какую-нибудь из новинок, как оркестровую партитуру. Попутно отмечал проскочившие неудачные выражения или даже опечатки, чтобы при случае было чем удивить очередную избранницу. Вот там-то, на двадцатой странице в шестой строке в таком-то слове пропущена буква. Это всегда действовало безотказно, сокращало путь к успеху. Были у него в запасе и другие испытанные приемы.

И вот, когда цель его дальнейшего продвижения по жизни определилась, все приобретенные навыки должны были пойти на пользу. Сразу и план наметился. Вспомнил о Лиечке, младшей в семье Миры и Семена, что жили по соседству. Пару раз приглашали послушать, посоветовать, стоит ли дочери продолжать обучение на виолончели. Помнит ее смущение, когда он нежно трогал пухлый локоток, показывая как правильно держать смычок. Волосы барашком, детские веснушки на щеках. Подумал, чем не вариант. Ему проговорилась, что старший брат Мирон всех подбивает уезжать. Надо бы поторопиться. В тот же день зашел к соседке — конечно, она одна все решает. Предложил, в знак особого к ней расположения, без всякого вознаграждения готовить Лиечку к училищу, она того достойна. Мира расплылась в благодарностях. Егор был взволнован. Теперь он мог посещать свою малышку в любое удобное время.

Удобное время, как правило, находилось в вечерние часы, когда хозяйка, соблюдая семейные традиции и гордившаяся своим стойким интересом к культурным событиям, вводила всегда послушного мужа куда-нибудь в оперу или на спектакль драматического театра. Мирон тоже где-то пропадал на тайных сходах ортодоксов. Тут-то Егору и пригодился с годами приобретенный опыт. Уже через две недели Лиечка сама, оставшись с ним наедине, опустил глазки, ставила виолончель лицом в угол, брала его за руку и тянула к старому, с обвисшими боками дивану. Густо краснея, униженно просила:

— Ну, Егорушка, милый, ну давай, поцелуй меня... еще разок, последний... Никто не узнает.

Немного поломавшись, он уступал, думая про себя: все идет правильно. Если удачно сложится, его судьба определится. Соберут семейный совет, будут решать. Мирон скажет: пусть рожает. У Семена голос совещательный. Хозяйка к нему благоволит. Упасть ей в ноги, просить принять в семью. Должно сработать.

Так и случилось. Перед подачей документов их поженили, так что Егор шел на выезд, как говорится, «в одном пакете».

Мечта сбывалась.

Америка не праздновала его приезд, поэтому с проектом «Великий дирижер» пришлось повременить. Новая роль примерного семьянина была не совсем привычна, тяготила, но до поры держал себя в

руках. Мирон в поисках работы сразу уехал в большой город, так что теперь ему, Егору, вполне прилично владеющему английским, досталось приспособлять всех домашних к новому существованию. В оркестре, куда легко прошел по конкурсу в группу первых скрипок, деньги платили небольшие, но это позволило сразу взять кредит на покупку дома, приобрести старенький форд, лишь бы ездил. Семен постоянно с ним возился, что-то подтягивал, менял, подлечивал.

Жизнь в доме замирала, съеживалась, когда узнав о возможности сыграть какую-нибудь «халтуру», Егор на несколько дней уезжал в дальний конец штата. В магазины не ходили, дверь никому не отпирали, на телефонные звонки не отвечали, боялись не понять чужую речь. Когда он возвращался, женщины пчелками вились вокруг, старались услужить.

— Мы тут без тебя чуть не пропали.

Сначала это грело, потом стало раздражать. А тут еще родился первенец, склонный к истерикам. Лия плакала, когда после беспоконной ночи муж устраивал ей экзамен по английскому разговорнику.

— Тупица! — говорил он ей в сердцах, уезжая на репетицию. — Я понимаю, Семен, у него уже труха в мозгах. А ты? Хочешь до старости развешивать шмотки в JCPenney?

Лиечке было стыдно и за себя, и за отца, и она старалась, как могла. Обклеивала расхожими фразами двери и стены спальни, слоняясь по дому, все повторяла и повторяла отдельные слова. В конце концов, ее старания стали приносить плоды. Впервые решилась сходить в ближайший супермаркет, даже перекинулась несколькими фразами с соседом, подстригающим газон. Егор был доволен. Наконец-то можно будет освободиться от рутинной обязанности чуть ли не каждый день ездить по магазинам, выбирая дешевые продукты. Бывало, загружает холодильник, а Мира стоит рядом, наблюдает.

— Что ж ты, миленький, не купил пару баночек сметаны. Вчера только говорили, что кончается.

Снова надо ехать. Попробуй, возрази — у нее сразу давление, мигрень. Семен как насадка всполошится, захлопочет:

— Ты полежи. Я сам на кухне справлюсь — приготовлю и подам. Все уберу. Отдыхай, дорогая.

Егор как-то не выдержал, спросил:

— Что ты все приседаешь возле нее?

Тот не обиделся, только сказал:

— Себе будет дороже.

Егор рвался на свободу. Домашняя обстановка становилась все более невыносимой. Снова беременная жена, раздражающая своей беспомощностью. Семен, готовящий по утрам яичницу с этим отвратительным запахом жареного сала. Мира с вечными жалобами на здоровье, постоянно требующая возить ее по врачам и не забывающая навивать холодильники всякой снедью. Огромная морозилка в гараже

всегда забита дешевыми курами, сосисками, хлебом, морожеными овощами, словно все это враз исчезнет из магазинов, как бывало в прежней жизни. Теща оживала только по праздникам, устраивая шумные застолья, когда в дом съезжались кроме давних знакомых еще и ближайшие соседи. Самое ужасное было, когда она под занавес садилась за расстроенное пианино и колотила с каким-то вульгарным придыханием перед каждым тактом мазурки Шопена. Все аплодировали, орали: за это надо выпить.

В межсезонье можно было сбежать на целый месяц. Записаться на летнюю серию концертов куда-нибудь в дальний штат. Выбрать молоденькую девчужку из оркестра для освоения американских идиом, не упуская случая продемонстрировать ей силу русской плоти. В зимние месяцы чаще стал летать в Россию то к знаменитому Мусину в Ленинград на курсы дирижеров, то в Сочи, где из безработных музыкантов пытался организовать оркестр, то в Петрозаводск — там обещали его попробовать на место второго дирижера. И в каждом городе у него была подруга для удобства. И салат приготовит, и выгладит рубашки, и все такое прочее.

## Семейные будни

Как-то после приезда мужа Лия, возвратившись после занятий в колледже, нашла в кармане его пиджака любовную записку. Читала, перечитывала, места себе не находила. Когда решила потребовать объяснений, он только пожал плечами. Ну, было, было один раз. С каждым может случиться. Побежала к матери, искала у нее поддержки. Мира отмахнулась:

— Я всегда чувствовала, что он кобель. Прими как есть. Где мы сейчас найдем тебе другого? Я болею. Как будешь сама с двумя детьми?

Семен отнесся к жалобе любимой дочери с большим вниманием. Два раза прочел короткое письмо:

*«Ты пишешь, что собираешься к нам в августе на недельку. Готова тебя принять. Твоя козочка».*

— Вот козел! Не наигрался до женитьбы. Матери показывала?

— Говорит, это нормально. Они все такие... Что же мне теперь? Разводиться?

Семен был в растерянности. Случившееся, как большая пробоина, пугало, грозило пустить ко дну едва державшуюся на плаву посудину их жизни. Сбежит этот козел, и им не прожить на пособие и те мизерные деньги, которые ему платят на кухне ресторана. Не будет чем расплачиваться за дом. Лиечке придется бросить учебу, искать работу. Им куда-то переселяться, а у него в гараже целая мастерская, где он в свободное время что-то конструирует, чувствует себя человеком, как в прежние времена.

— Не знаю даже, что тебе сказать. Никогда еще не приходилось решать такие трудные задачи. Мать, наверное, права, не надо торо-

питься. Дети будут расти без отца. Ты еще не стала на ноги, только учишься. Мы уже постарели, здесь никому не нужны. Попробую с ним поговорить. Может, все еще образуется.

Семен уже давно заметил, что в доме что-то не ладится. Ему не в тягость и вставать пораньше, и готовить завтраки каждому по вкусу. Салаты из овощей для Егора. Располневшей жене — что-то по рецептам для похудения. Дочери — горячие сэндвичи. Подалвал, убирал, мыл посуду. К этому все привыкли. Конечно, приятно было бы услышать хотя бы слово благодарности или похвалы. А то сидят, друг на друга не смотрят, как пассажиры на вокзале. Ну, с Мирой, совсем отстранившейся от домашних дел, все понятно. Она слепо верит в непогрешимость американской медицины, всегда готова дать отпор любым попыткам уговорить ее не ездить бесконечно по врачам, готовя себя к дорогим операциям. Да и как не воспользоваться такой возможностью? Ведь ей это бесплатно! Но молодые? Ни приветливого слова, ни улыбки. Только Мира вдруг бросит с раздражением:

— Сядь уже. Не мельтеши.

Обидно чувствовать себя последней шестеренкой в семейном механизме. Не знают они, что в ресторане, где он третий год работает на кухне, хозяин только ему доверяет украшение всевозможных блюд по торжественным случаям, потому что он превращает их в настоящие шедевры. Хотелось бы, чтобы и дома было все красиво и необычно. Но нет уже старушек, которые оценили бы его таланты. Он часто вспоминает, как впервые попал в дом, где поблекшие от времени портреты благородных стариков — отца и деда, в золоченых рамах, казалось, охраняли особый семейный уют. Со временем все это куда-то испарилось, осталось в прошлом. Изысканные блюда по рецептам старинных книг, привычные звуки французского за столом, дружеские шутки.

Раньше ему никогда не приходила мысль что-то изменять в своей жизни. И хотя Мира давно уже не та, и он взял все заботы о ней и детях на себя, он по-прежнему гордился, что она выбрала именно его, и каждый раз, когда собравшиеся гости подливали немного лишнего, не забывал напомнить всем, какая у него жена: два высших и еще музыкальное образование. А как она играет на пианино! Такая музыкальная семья. Сына учили на скрипке, дочь — на виолончели. Часто после парилки с напарником по работе в ресторане и крепкой заправки расхваливал с восторгом своих внуков, какие они спортивные и успешные в учебе, не в пример другим детям иммигрантов.

Разговор с дочерью совсем его расстроил. Чтобы успокоиться, бороться с мыслями, зашел в гараж. Взял болт подлиннее, зачем-то стал накручивать на него гайки. Одну, другую, третью. Подыскивая подходящие слова к предстоящему разговору, обнаружил, что совершенно не понимает, что за человек его зять, что у него внутри, хотеть и прожил с ним столько лет. Ускользающий взгляд, ровный голос без всяких внутренних волнений, легкая походка. Было бы легче решить

эту проблему под рюмку, но тот в рот не берет спиртного. Вот если бы дочь промолчала, не говорила ему о найденном письме, может оно как-то бы утряслось само собой.

Неожиданно Егор сам, возвращаясь с репетиции, заглянул к нему в гараж.

— Все мастеришь, — воровато заскользил взглядом по стеллажам с инструментами. — Я к тебе за советом. Ты прожил жизнь, можешь подсказать, как выпутываться, когда попался на горячем.

Потом Семен удивлялся, откуда взялись нужные слова, словно кто-то подсказал.

— Иди проси у нее прощения, а свой кларнет засунь подальше, спрячь в футляр, и пусть она носит ключик у себя на шее.

Зять смотрел на него с интересом.

— Это можно. Но согласись, мы мужчины устроены по-другому. Нам просто необходимо хоть иногда...

Семен отмахнулся:

— А я что, не мужик?

Егор поморщился, уловив запах слежавшегося мяса из не плотно прикрытого холодильника.

— Ну, извини. Ты у нас святой. — Выходя из гаража, обернулся. — Спасибо за совет. Пойду, исповедуюсь. Попытка — не пытка, как говорил Лаврентий.

После случившегося Егор стал более аккуратным, тщательно за метал следы своих походов, хоть и не считал их чем-то греховным. Слухи о его вольной жизни время от времени все же как-то просачивались, обрастали пикантными подробностями, которые с интересом обсуждались близкими и не близкими приятелями семейства.

Мира продолжала увещевать дочь:

— Закрой глаза. Пока он тянет, пусть тянет. Дети подрастут. Ты получишь работу, тогда и решай. Смотри, как Семен старается нам помочь. Работает в ресторане, смотрит за детьми, занимается уборкой, и я не уверена, что он тоже там, на кухне, где молодые поварики, еще не попробовал чего-то другого. Здесь это просто!

Лия слушала мать и, скрепя сердце, соглашалась. И она, и отец, еще недавно представлявшие свой дом надежным укрытием от мирских невзгод, вдруг оказались беззащитными. И только Миру это совсем не волновало. Выбрав что-то из книг, плотными рядами спрессованных на резных, почти до потолка, сколоченных Семеном полках, целыми днями просиживала в глубоком плетеном кресле на веранде, прислушивалась только к тому, что происходит у нее внутри, не подкрадывается ли какой-нибудь новый недуг и не пора ли просить зятя везти ее к врачам.

Егор, между тем, изредка вспоминая о детях, возил их на пляж или в Макдональдс. И, пока они с аппетитом уплетали мерзкие для него гамбургеры, листал оркестровую партитуру, видя перед собой

вместо посетителей за столиками желанный оркестр. Надеясь осуществить свою мечту, он не считался ни с какими финансовыми затратами. Часто летал в Россию, залезая во все большие долги.

Однажды привез любительскую запись концерта Петрозаводского оркестра, где уже довольно уверенно стоял за дирижерским пультом. В доме гремело очередное застолье. Гости, изрядно насытившись и упившись, пребывали в ожидании традиционного Семеновского воздушного рулета. Кто-то вышел покурить. Кто-то в гостиной смотрел футбол. Егор пришел с опозданием. Постояв у неубранного стола, что-то выбрал из салатов, но тотчас же, оставив нетронутым, перешел в гостиную и, выключив спортивную программу, вставил кассету. Рев стадиона сменили звуки Бетховенской симфонии.

— Смотри, как ловко машет, — громко сказал Семен, смягчая наступившее неловкое молчание.

— А это где? — кто-то лениво поинтересовался.

— Оркестр не наш.

— Да-а, жидковато.

— Дайте послушать. — Лия села поближе. Неужто, подумала, он уже у цели? Конечно, Петрозаводск еще не Лондон, не Вена, не Берлин, но все же. Жест уверенный, красивый. Возникло даже какое-то чувство гордости. Все же это было что-то свое, хоть и измятое, потрепанное, утопающее в мутном потоке сплетен и пересудов. Проснулось желание защититься, отгородиться, спрятаться от других. В последнее время стала замечать, что муж более внимательно относится к детям. Посменно с Семеном возил их то на плавание, то на карате, то на футбол. Из последней поездки привез девочку, чтобы помогала по хозяйству. Хотелось верить, все еще наладится, как-то притрется. Теперь уже, думала, больше надо заботиться не о себе, о детях.

В тот памятный день Семен возвращался домой в неурочный час с горечью, смешанной с легким чувством освобождения — уволен, якобы за нарушение дисциплины. Прижимистый хозяин закрытого клубного ресторана, вынужденный по закону каждый год повышать обслуге почасовую оплату на несколько центов, не мог себе позволить такого расточительства. Настало время замены — всегда можно найти других, готовых работать за гроши. Семен действительно несколько раз опаздывал, с трудом находя парковку для машины. Но кто же, как не он, мог так искусно уложить салат на огромном блюде, так украсить серебряные вазочки с мороженым, венчая их свежими ягодами и изготовленными по своему особому рецепту лепестками рассыпчатых печений. За это даже был отмечен высокими гостями, получив в награду прозвище Кукимэн. Наглый хозяин, давая расчет, еще потребовал передать повару секрет выпечки его тонких и прозрачных украшений. Ну, ничего, утешал он себя, больше времени будет теперь проводить с детьми, ухаживать за женой, мастерить по уже обдуманному проекту электрическую коптилку для рыбы. Хороша будет под пиво!



На веранде, как обычно, в кресле с книгой на коленях дремала Мира. Услышав шаги, позвала:

— Это ты, Семен, проверь, что там в доме. Мне послышался какой-то посторонний шум.

Наверное, приснилось, подумал он, приоткрыл осторожно дверь и обомлел. По коридору из спальни молодых бежала перепуганная девушка, а за ней, держа ее за косу, совершенно голый Егор. Семен отступил, подсел к жене.

— Что это ты такой бледный? — поинтересовалась она.

— Уволил меня хозяин, — растерянно пожаловался Семен.

— Ну и хорошо, — обрадовалась Мира, — а то тратишь на бензин больше, чем приносишь, а я сижу тут целыми днями одна. Эту не дозовешься — некому воды подать.

— Попроси Лиечку, она подыщет кого-нибудь порасторопней. У нее теперь знакомства, связи на работе. — Только бы не послала за чем-нибудь в кухню, подумал в страхе. — Конечно, ты права, в доме вон сколько неполадок. Стиральную машину надо перенести в гараж, решать проблему с канализацией — там трубы железные, давно прогнили. Надо менять на керамические. Пальму со двора убрать, чтобы было место для детских игр. Молодым все некогда...

С треском распахнулась дверь, и оттуда со скрипкой на ремне выскочил веселый Егор.

— Я на концерт. — Повернулся к Семену, заговорщицки подмигнул. — Девчонку не трогай. Она немного приболела.

Семен старался держать себя в руках, делать вид, что ничего не случилось, но как-то просочилось, и Лия устроила девчонке допрос. Та призналась, что это у них давно, еще с России. Обещал заботиться, со временем где-то устроить на работу. После таких откровений Лие уже не верилось, что можно продлить установившееся в последнее время перемирие. А тут еще подружки в один голос: «Не будь дурой. Выгони их обоих!»

Начался бракоразводный процесс, и Егору пришлось искать прибежище у коллеги по оркестру. Тот часто по ночам где-то пропадал, приходил только под утро. По всем углам разбросаны носки, грязные рубахи. Всегда помятый, даже на концертах. Егор скоро почувствовал, что такая вновь приобретенная свобода его не радует. То ли привык к семейной жизни, то ли возраст уже не тот. Ближайшая перспектива утвердиться за дирижерским пультом все еще оставалась весьма далекой. Сочинский вариант требовал больших вложений. А он и так задолжал своему прежнему семейству — и дом заложен, и на совместных счетах пусто. Петрозаводск тоже тянул с ответом. Американцы, даже в провинциальных оркестрах, предпочитали своих. Участие в двух конкурсах успеха не принесло. Все больше утверждался в мысли: надо переждать, успокоиться, попробовать начать жить как бы снова. Прикидывал, перебирал, с кем из своих ленинградских и сочинских поклонниц мог бы начать новый жизненный виток. Тут-то ему и припомнилась последняя поездка в Петрозаводск.

## Лиса

В репетиционном перерыве заметил одиноко сидящую в зале совсем молоденькую девчушку. Русые волосы с пробором, матовая бледность северянки, спокойный взгляд. Вроде, подумал, не похожа на тех, кто по дешевке продаются у гостиниц по вечерам. Таким он никогда не доверял. Почувствовал, как запело что-то внутри. Проходя мимо, зацепил:

- Как звучит оркестр со стороны?
- Я не музыкант, мне трудно судить профессионально.
- Работаешь здесь?
- Да нет. Просто прихожу, когда есть время. Отвлекаюсь.
- Отвлекаешься от чего?
- От нашей жизни. Тут только и отдыхаю, да еще в церкви.
- Любопытно. Я в России бываю теперь не часто. Было бы интересно поговорить, узнать, что тут сейчас происходит.
- Боюсь, испорчу вам настроение.
- Понимаю... Муж ревнивый...Бой-френд?
- Какие тут женихи? Если кто и работает, то в день получки половину пропивает. По всему городу песни, пьяные драки, хоть из дому не выходи. Народ гуляет. — Она поднялась. — Пора мою бабулю забирать после утренней службы. Спасибо за удовольствие. Жаль только...

Он перебил:

— Приходи со своей бабулей на концерт. Я на контроле предупрежу. Зовут как?

— Лиза.

Бедная Лиза, подумал, вот ты и попалась.

Но ожидание скорого успеха не оправдалось. Музыкой Лиска, как ласково называла ее бабуля, давно увлекалась — почти всегда могла сказать, какого композитора исполняют. Что же касается литературных новинок, то тут он и сам поотстал. Попробовал неотработанную тему «способы преодоления жизненных проблем», чем вовсе загнал себя в тупик. Не сумел дать хоть один дельный совет, как вырваться из замкнутого круга серых будней. Оказалось, ей меньше года до получения медицинского диплома, а в перспективе: бегай целыми днями по вызовам за гроши. Впервые в своей практике он, ничего не добившись, отступил. Теперь же, вспоминая об этом, даже хвалил себя. Не надо будет притворяться, врать, что все время думал о ней, вспоминал. Просто сделает деловое предложение — оформить фиктивный брак. Поживет у него, пока освоится, подучится, сдаст на американскую лицензию, а там посмотрим. Хоть и молода, думал, но, видно, с характером, если сумела сохранить себя, не скурвиться. Такая ему подходит. Станет врачом. Будут хорошие деньги. К тому же любит музыку, значит, поддержит его проект.

Был конец концертного сезона, и Егор «добивал» последние халтуры. Садясь в машину, включал любительские записи русских бардов, чувствуя, как где-то глубоко внутри вдруг начинает проклевываться, прорастать никогда ранее не испытываемое чувство ностальгии.

Лиса призналась, что ждала его, постарается не быть ему обузой. Единственно о чем просила, чтоб успокоить свою бабулю, венчаться в их маленькой церквушке. Та верит, что браки совершаются на небесах, и его приезд — это послание Господне. Батюшка у них добрый. Благословит.

Егор вспомнил, как, надев кипу, ходил устраивать своих пацанов в частную еврейскую школу — для детей иммигрантов это бесплатно. Теперь снова придется притворяться. Ну и что? Ничего страшного. Ему не привыкать. Сыграет в лучшем виде.

По возвращении поспешил переехать в другой штат. Платить по счетам он не собирался. В тихом небольшом городке нашлась работа в школе. Предложили преподавать скрипку, виолончель, еще по выбору какой-нибудь духовой. Раз в неделю он мог даже стоять за дирижерским пультом, собрав маленький оркестр из любителей, учеников и педагогов. Надеялся превратить его когда-нибудь в настоящий.

Иногда он задумывался, чего же ему все-таки не хватает, чтобы стать профессиональным дирижером? Что есть такого у этих великих — Караяна, Бернштейна, Мравинского, Меты, Гергиева, наконец, чего нет у него? Партитуру он легко читает, техника на уровне, умеет выравнивать голоса, с музыкантами тактичен. Что случилось на конкурсе? Почему провал? Не то, чтобы был хуже подготовлен, чем другие. Хорошо помнит, только стал за пульт, а прямо перед ним — такая сочная спелая грудь красавицы скрипачки! Как не заметить? Это отвлекло, мешало сосредоточиться. В какой-то момент отключился, шел на автомате. А когда очнулся, оркестр давно уже ушел вперед, а он все машет в прежнем темпе. Конечно, это непростительно дирижеру-симфонисту, приехавшему побеждать. Это просто случайность, невезение. А второй конкурс? Вроде все было в порядке. Показал себя в лучшем виде. Но опять неудача. Похоже, в жюри заранее договорились — у кого-то, видно, связи...

Лиса, сразу после переезда, чтобы не чувствовать себя нахлебницей, пошла работать кассиром в супермаркет. В университете взяла курс продвинутого английского и несколько специальных — спешила подтвердить свой медицинский диплом. Ну и, конечно, домашние заботы — кухня, уборка, стирка. К концу дня так уставала, что единственным желанием было поскорее уснуть. А тут Егор со своими постельными забавами. Терпела с покорностью прилежной ученицы, но часто не выдерживала, засыпала в самый ответственный момент. Он ее будил, не отпускал, пока не брал свое. Станный народ, думала, эти музыканты. Ей всегда казалось, живут как бы в стороне, в какой-то особой, чистой атмосфере без грубости и эго-

изма. А вот же. Прежде такой предупредительный и нежный. Как скоро все это куда-то ушло. К тому же стал подозрительным, замыкается в себе, что-то скрывает.

Как дитя хрупкой северной природы, долго пробуждающейся по весне, но буйно и коротко цветущей, Лиска от постоянных домогательств своего избранника стала уставать. А он, напротив, увеличил свои притязания, требуя подчинения каким-то новым прихотям. Почувствовала, что так долго не выдержит, надо что-то менять, чтобы не сломаться. Вздохнула с облегчением, когда он объявил, что уезжает почти на месяц в другой штат на летнюю серию концертов. Звонил ей каждый день. Скажет два слова и молчит, слушает, не прозвучит ли в ее голосе подозрительная нотка. А как приятно было в это время снова почувствовать себя свободной, ловить улыбки молодых людей, окружающих ее в университете и в госпитале, где проходила практику. Часто спрашивала себя: с кем из них могла бы сойтись? И, не задумываясь, отвечала: да почти с каждым. Мысленно даже выбирала. Этот симпатичный, хороший врач, а как улыбается! А этот только подает надежды, но, слышала, очень перспективный и так хорош собой. Вот еще один, молодой и привлекательный, правда, уже женат, но это не помеха — русские женщины в Америке в цене. А что же Егор? Что-то больше не рвется в Россию. А где же его дирижерские амбиции? Успокоился после провалов на конкурсах?

В первый же день приезда, когда вернулась из госпиталя после ночного дежурства, устроил допрос. Не просил, прямо настаивал признаться в какой-то им якобы уже прослеженной связи. И хотя потом извинялся, говорил, что это чисто мужское свойство, что ревнует — значит, любит, ощущение, что он за ней следит, в чем-то подозревает, с каждым днем становилось все навязчивей. Похоже, он притворяется, играет какую-то непонятную ей игру? И может это в природе музыкантов искать в других скрытые пороки для самоутверждения. Он же никогда не виноват. Даже намек на угрызение совести. Стыд, неловкость — такие чувства ему незнакомы. Он особенный! Самонадеян. Всегда прав. Он господин и повелитель. И как с такими качествами стать настоящим дирижером? Что-то нужно еще, нужен не только голый профессиональный расчет. Может, нужно сделать полшага в сторону, всего полшага, чтобы почувствовать прелесть свободного полета или сладость падения, когда и рождается что-то сродни вдохновению, и никто не остается равнодушным — ни оркестр, ни слушатель. Но для этого нужна какая-то душевная тонкость, душевная чистота, чего ему явно недостает...

Порой казалось, будто кто-то и впрямь уже стоит между ними. А тут еще открылось, что муж свободно распорядился их общим счетом. Когда попросила объяснений, не стал вдаваться в подробности, мол, ей все равно не понять. Сказал только, что он сделал какие-то выгодные вложения, теперь надо ждать и, если повезет... Молча проглотила. Подумала, надо готовиться к новым неожиданным сюрпризам...

## Эпилог

Когда Мира после третьей операции на позвоночнике, продолжавшейся девять часов, вдруг перестала говорить и вставать с постели, Лия, видя, как отец мучается с ней, предложила отправить маму в дом престарелых. Но Семен даже слушать не захотел. Целый год не допускал к ней никого, кормил из ложечки, причесывал, мыл исхудавшее, ставшее почти кукольным тельце, пока однажды, дежуря ночью у ее постели, почувствовал, как будто она пришла в себя, долго смотрела на него и вдруг тихо, почти неслышно прошептала: «Я буду ждать». И тут же отошла. Может, послышалось?

Целый день он не отходил от плиты. Сам все готовил. Помянуть пригласили всех, кто ее знал. Подходили, говорили слова сочувствия, по-русски, по-английски — все смешалось в голове. Он подливал и подливал себе в маленький стаканчик, пока совсем не отключился.

Ранним утром следующего дня весь дом наполнился едким запахом гари. Когда Лия зашла в кухню, сковорода уже дымилась. Семен сидел, держась за край стола, тихо стонал.

— Папа, что с тобой? — бросилась к нему.

Он посмотрел на нее с испугом, хотел что-то сказать, но слова куда-то исчезли, рассыпались. И все вокруг стало вдруг неузнаваемым, чужим. Откуда-то, до рези в глазах, ударил свет, и будто две старушки в белом берут его под руки, ведут куда-то. Се-ля-ви, се-ля-ви — поют ангельскими голосами. И он им подпевает: ля-ви, ля-ля, ля-ви...

\* \* \*

Жизнь в доме, как после затянувшегося наводнения, постепенно входит в нормальное русло. У Семена после случившегося микроинсульта еще замедленная речь, с трудом подыскивает нужные слова, но каждый новый день для него теперь как дар судьбы. Вот и у дочери, надеется, скоро все наладится. Помолодела, распрямила волосы, сбросила лишний вес. Снова как девочка. Встречается с американцем. Большой. Надежный. Привез из магазина три мешка земли для грядок во дворе, рассаду помидоров, перцев, огурцов. Говорит, в доме все надо переделать. По утрам, когда Лия уезжает на работу, Семен часами сидит на веранде в Мирином кресле, слушает пение птиц.

Ля-ви... Ля-ви...

Весна.

Хочется жить.

Саванна, Джорджия



## Валерий ЮХИМОВ

/ Одесса — Киев /

\* \* \*

с упорством садовой улитки,  
под мойры глухое ку-ку,  
сшивать грубо пряденой ниткой  
крючки и петельки в строку,

нанизывать слово за словом,  
скрепляя прореху в углу  
пространства, где черное море  
на желтую брызжет луну.

там волны сбиваются в стаю  
шпаны в подворотне, маяк,  
заплывший, уже не моргает  
и глазу не виден никак.

там берег мясистый в панаме  
втирает лиманскую грязь  
с усердием дяди вани,  
за чайкой взлетел водолаз,

его башмаки аргонавта  
вздыхают на этот полет  
и ждут не дождутся антракта  
с буфетом в созвездии звезд.

покуда мелькает иголка,  
покуда волочится нить,  
сквозняк поддувает из щелки,  
фотоны летят во всю прыть,

не ведая, что их создатель  
у мойры соседской в долгу,  
которая — несколько пятен  
в его воспаленном мозгу.

\* \* \*

туман скрывает сутулость, наброшенный редингот,  
в отсутствие тени выглядит мешковато,  
которая, выполняя команду «апорт!»,  
заблудилась из гастронома, смятый

окуроч чертит параболу, парашют  
высоко позади, за ним небожитель  
склонился над водами, чей минет  
глубок и не лишен открытий

чудных. бестеневой фонарь коптит,  
поблескивая сталью в руке, капли  
считают медленно до двадцати,  
стекая в апплет

на мониторе. холодает, сгустившийся конденсат бозе  
делает невозможным возвращение тени,  
и ревун в порту грустит о Champs-Élysées  
замерзающим звуком. маяк-астеник

исчезает в туннеле, его красная ложь  
краснеет все более до рассвета,  
так, что та, которой не ждешь,  
примет за догоревшую сигарету.

\* \* \*

бычьим глазом налитое яблоко  
ломит ветку над прудом,  
где пускают кораблики,  
как стихи — ундервуды.

где скобленная палуба,  
боттичеллевых линий,  
накренилась и падает  
в объятия феллини.

будет — руки заламывать  
над бумажным листочком,  
безутешно замаливать  
запавшую строчку.

птица клавишей щелкает,  
переводит каретку,  
неразборчивым почерком  
волны берег коверкают.

время стынет как полдень,  
густое и синее,  
мозаичным ордером  
в опустевшем триклинии.

\* \* \*

тьень перебрала лишнего и шатается на ветру,  
тянется к фонарю, как двуручная свая,  
обхватить его крепкие бедра и пить электричество, чтобы к утру,  
побледнеть и слиться с ним окончательно, т.с. остолбевая.

она бормочет стих про ему известный предел,  
прижимаясь локтями, коленями и всем прочим,  
чтобы ночь прошла как один трудодень,  
чтоб оставить о себе хоть бы прочерк.

византийский вельможа, с моря приходит, в россыпи звезд, туман,  
отодвигает фонарь и набрасывает влажное покрывало,  
он пьет ее медленно, словно сухой сандеман,  
охлажденный в меру, и закончив, пишет губной помадой на фонаре  
— vale.

\* \* \*

облако хоботом напоминает слона,  
разрезанное пополам — вдвойне,  
тусклый золинген злая луна  
правит на мелкой волне.

она проверяет его на бумажном листе,  
где еще не закончен стих,  
и строка обрезается точно где  
должен быть типографский штрих.

палец порезан и черная кровь  
пачкает пол-листа,  
моря, полная до краев,  
черная линза выгнута.

слоны распоротые летят,  
как перины, сыпая пух,



лезвие ходит вперед-назад,  
опережая звук.

луна раздувает ноздри, кровавый след  
тянется от стиха,  
шарит прожектором ртутный свет,  
ночь тиха.

и если судьба луной за тобой,  
по следу твоих стихов —  
пятнадцатилетний дэнни-бой  
салютует — всегда готов!



## Владимир ЕШКИЛЕВ

*/ Ивано-Франковск /*

### ТЁМНО-СИНЯЯ СТОРОНА ПРАВДЫ from experienced

В прошлом не только мобилизованные в литературу вожатые, но и писатели высокой руки полагали для себя обязательным формулировать «главные задачи» перспективных текстов. Перед тем как приступить к новой книге, сановитые мужи века письменности в тусклой задумчивости усаживались за массивные, покрытые зелёным сукном и нитролаком столы, сосредотачивали чистоту помыслов, заряжали ленты в пишущие агрегаты и принимались формулировать; они устанавливали некую «планку оправдания», а затем свирепым творческим толчком перебрасывали через неё тела своих опусов. Нередко тяжёлые, насыщенные моралью и поучениями, те сбивали планку, падали в лунную пыль редакторского недоверия; мужи века письменности обезжиривали их, вытапливая из текстов прилагательные, выравнивали метафоры, энергичными диалогами придавали упругость сюжетным линиям и вновь примеривали их к «планке оправдания». Перечитывая старые добрые книги, время от времени наталкиваешься на следы этих нездоровых усилий.

Так получилось, что перед первой встречей с Девушкой в Тёмно-синем я вычитал у одного реально продвинутого писателя нечто раздражительное; реально продвинутый утверждал: «Основная идея — написать правду, какой бы жестокой и страшной она ни была».

Ни больше ни меньше.

В эпоху господства присяжных фраз добрые люди часто путали правду с истиной; как мне представляется, тогда слишком уж доверяли газетам и прочему потоку, почти не раскрывая тех первобытных книг, где написано: правд бегают по земле избыточно и только истина — одинокий солдат высшей силы. Прочитав об основной идее писать страшную правду, я почувствовал отвращение ко всевозможным правдам. Оно, это отвращение, неожиданно для

меня, раскрутилось в обширный депресняк, а по пути вызвало тошноту, несовместимую с тремя свиными сосисками, прованским рожком и горчицей в моём желудке.

Я сблевал.

После этого случая и до того дня, когда я встретил Девушку в Тёмно-синем, в моём воображении не существовало персонажа хуже правдоискателя. Тогда я играл в охоту на них; преследовал и выводил на гибельный вектор этих сирот пошлости. Выводил в местах скопления значительного количества свободных от постоянной работы и бодрых людей, готовых часами втыкать в разнообразные бредни: в редакциях газет и новостных сайтов, в архивах и библиотеках, в партийных штабах и волонтерских офисах, а также в кафе, в распивочных средней вонючести и в окончателных, расположенных в тылах овощных магазинов, «наливайках». Там искатели настоящего и подлинного, словно навозные жуки-скарабеи, беззаветно лепили-катали шарики болезненных правд, отстаивали своё достоинство и выискивали в прошлом уродливых зародышей нынешних могущественных и признаваемых обществом мифов.

Встреча с Девушкой в Тёмно-синем произошла в библиотеке. Она появилась именно в тот момент, когда я в очередной раз, остроумно и аргументированно (как мне казалось), высмеивал навозный шарик уже почти уничтоженного, краснеющего и пыхтящего правдоискателя. Кучка случайных свидетелей внимательно завидовала моему триумфу.

На Девушке были новенькие, очень тонкие джинсы, плотно обтягивающие длинные ноги, а также тёмно-синяя футболка с серым портретом какого-то растамана; светлые волосы она собрала в скаковой, на две трети сплетённый в косу, хвост.

— Какого лысого ты к нему прицепился? — спросила меня она; глаза у неё тоже тёмно-синие.

Горячая полоса горчицей легла между моими рёбрами, ограничила дыхание. Она ложится нечасто, тут длинных ног и скакового хвоста мало; для её счастливого появления необходимо встретить нечто архитектурное, начинающееся аристократически тонкими щиколотками, продолженное гибким торсом и увенчанное правильно организованной головой на изящно очерченной шее.

У Девушки всё необходимое было продолжено, организовано, очерчено и увенчано на мировом уровне. Образованные люди помнят описание Квазимодо у Гюго; представьте себе абсолютную противоположность этому описанию, оденьте эту противоположность в индигу, и вы приблизительно поймёте о чём идёт речь.

В общем, она была до озноба похожа на известную модель девяностых; на красавицу с испанской фамилией — то ли Санчес, то ли Лопес, то ли Маркес, запаматовал — из-за которой выглядывало (у модели, а не у Девушки) вполне нечернозёмное происхождение.

В тёмно-синем случае происхождение угадывалось смутно, но фантазия охотника на взыскующих правды босяков рисовала некую боковую, удачно сохранённую в провинциальной скромности, ветвь родовитого семейства, восходящего к гербам Сас или Абданк.

Она была то что надо.

И вот, проведя ладонью вдоль остывающей полосы, я приступил к толкованиям и комментариям; я объяснил Девушке, что мой, с позволения сказать, оппонент относится к специфическому племени социально активных людей-хомячков, не украшающих своими деяниями окружающих ландшафтов; что его соплеменники своими поисками и разоблачениями мешают людям идти вперёд, разрывая петли вечного возвращения и разрушают величие; что они отвлекают от стержневого, генерализированного и магистрального, искушая простых пахарей жизни бороться с коррупцией и прочими играми сильных, заставляя общество грызть собственный хвост; что и в прошлом и теперешнем спрятано немеряно материала для мелких конфликтов; что долбано-упёртое искательство правды рано или поздно превращается в подрыв изначального и фестиваль дешёвых понтов; что, в конце концов, согласно теории Манвельса, каждая гражданская практика является воспоминанием об обычной, а не узловой, последовательности событий.

— Чья теория? — переспросила девушка.

— Манвельса.

— И что же из этого следует? — на её переносице появилась тонкая складка; мне почему-то представилось, что Девушка хочет чихнуть.

— А из этого следует, что само понятие правды утоплено в морщинистой магне взаимосвязанных событий, — я проследил взглядом бегство недобитого правдоискателя и, неожиданно для себя, соскользнул с темы, пробормотавши:

— Правда в том, что все правды, встречаясь друг с другом, аннигилируют.

— Приплыли, — подытожила Девушка, а затем сказала:

— Правда всё равно присутствует. Правда, она как война. Пока ты побеждаешь — она твоя. Для тебя самого, для других.

После её сравнения правды с войной я перестал охотиться на правдоискателей. В конце концов, каждый имеет право сгнить именно в том окопе, который для себя выкопал. Конфетно-букетный период моих отношений с Девушкой в Тёмно-синем оказался недолгим; через два дня после нашей встречи в библиотеке она забрала баул с вещами из подтопленного фекалиями студенческого общежития и на такси переехала жить ко мне.

Я постепенно изучал Девушку, открывая в ней странную вселенную, имевшую мало общего с мирами моих знакомых. Оказа-

лось, что появление складки на её переносице сигнализирует о том, что Девушке стало смешно. Правда, смеялась она редко. И совсем не читала книг, ни первобытных, ни бройлерных. Её обычным состоянием была скептическая меланхолия, иногда прерываемая сексом, одиноким танцевальным кружением на мигающих площадках ночных клубов, а также спазматическими походами по радикальным сайтам. Девушка, среди прочего, отрицала текущую туристическую цивилизацию, ностальгируя по временам, наполненным смыслом.

Она грезилась прошлыми веками, походами и революциями, гибельными поступками романтиков, людьми длинной воли, битвами, обдолбанными гениями андеграунда и массовыми приступами идеализма; она говорила, что хочет костюмированных игр, но в последний момент, примеряя арендованные тряпки, начинала прикалываться, развешивала их на стульях, растирала себя питьевыми бальзамами, замирала голая перед зеркалом, разливала на ковер пиво и отказывалась.

Она часто повторяла, что мечтает стать наёмником, что любит оружие, но ни разу не попросила взять её на охоту; запах оружейной смазки провоцировал её кулинарную активность и после чистки ружей мою кухню заполняли кастрюльки с тушёными овощами и салатницы с размазанными по ним пахучими смесями; она рассказывала о своих снах, в которых люди длинной воли непременно отступали, неся своих раненых лесными тропами; в этих снах она укрывалась в пещерах от беспилотников, стреляла по утренним теням, исповедовала беспредельные восточные культы и выдерживала ярость полуночных допросов.

Она пыталась писать brutальные стихи, в которых война разрушала детские спальни и выбрасывала плюшевых мишек на бетонные блоки и ржавые рельсы; возможно, этими стихами она перехватывала, как смертными петлями, шеи неведомых мне травм; во сне она часто кричала и брыкалась, бормотала фразы, отдалённо похожие на заклинания, и звала не маму, а какого-то Серого.

— Я — пифия, — говорила она, когда просыпалась, затем добавляла, загадочно щуря свои тёмно-синие порталы:

— Нельзя, нельзя вечно ползать внутри вопросов.

Иногда Девушку прорывало на длинные монологи об утраченном ощущении настоящего. Любимым её словом была «вертикаль». К вертикалям в её понимании относилось всё, что противостояло нашему миру — миру стоимостей и равноценных обменов. Всё обозначенное ею, как неподдельное, от учений средневековых гностиков до песен лесбокоммунисток. Девушка напряжённо искала вертикали на кладбищенских сходках фейри-готов, в мутных струях кодированного интернета, в немилосердных поступках, которыми пыталась взломать горизонтальную сущность домашнего быта.

Однажды она предложила мне поучаствовать в тантрическом упражнении «итамг»; согласно её сценарию, нам предстояло пройти по ночной улице и предложить секс первому встречному.

— Только предложить? — я вглядывался в тёмно-синий сумрак за окном, представляя себе лица прохожих, услышавших тантрическое предложение.

— И трахнуть с ним, если согласится, конечно же, — Девушка делала всё на полном серьёзе.

— Или с нею. С первой встречной.

— Или с нею, — её переносица была абсолютно свободна от складок. — У тебя есть какая-нибудь старая майка?

Я перевернул гардероб и выбрал самую позорную из возможных маек. Запятнанную кетчупом, шашлычным жиром и соком любви, небрежно постиранную, с погрызенными шлейками и нитяной бахромой по нижнему краю.

— Вертикальная вещь, — кивнула Девушка, сняла футболку, джинсы, бельё и натянула на себя ископаемую ветошь; это добавило ей сексуальности — майка едва покрывала лобок и оставляла для обзора всю геометрию и всю графику её ног. Кроссовки она сменила на слайсы.

— Ты пойдёшь по городу в этом, — я не спрашивал, просто констатировал наличие высокой планки Вертикальности.

— Это же тантра.

— Нас загребут полицаи. Или прибьют.

— Ты же мужчина. Безопасность — твоя проблема.

Прошло всего несколько минут и вот мы с Девушкой в Позорной Майке уже идём мимо приборостроительного завода в сторону электростанции. Первым встречным оказывается пролетарского вида алкаш в клетчатой рубашке навывпуск и выцветших джинсах. Он лысоват и заряжен мутным счастьем. Алкаш тарачится на мою спутницу, а я спрашиваю её:

— Начнём с этого?

— Хочешь меня? — спрашивает лысоватого Девушка; она на целую голову выше его, её атлетическое тело замирает в напряжении длинной воли: левая нога чуть отстранена, рука вызывающе оттягивает драную шлейку; она вертикальна, как поход команданте Че против боливийских латифундистов.

Алкаш отводит взгляд, качает головой, безнадёжно выворачивает карманы; мелочь и сотовый глухо падают на увлажнённую дневным дождём землю. Затем он издаёт особенный звук, в котором мешаются всхлипы и матюги, отпрыгивает в кусты и бежит, качаясь и смешно выворачивая ступни.

— Кажется, наш встречный намочил штанишки, — замечаю я и пытаюсь обнять Девушку за талию; но она слишком напряжена для подобных объятий; её тело отстраняется; я верю, что отстраняется машинально.

— Пошли дальше, — говорит Девушка; вертикаль не поколеблена, шлейка разрывается, добавляя картине масла.

— Пойдём, — соглашаюсь я.

Следующим встреченным нами живым существом — не считая псов и котов — оказывается древняя бабка, которая роется в мусорных контейнерах, расположенных в конце улицы Академика Сахарова; здесь заканчивается спальный район и начинаются окружённые коваными заборами особняки. Наполняюсь ехидным вопрошанием и пытаюсь поймать взгляд Девушки. Она делает вид, что не видит старушку, вглядывается в разбуженную жилую перспективу за последним особняком и гордо дефилирует мимо контейнеров; порыв ветра подхватывает разодранный предел майки и на мгновение тёмно-синее ночное присутствие отступает перед тем, что выделил лунный свет; за ближайшим забором кто-то свистит.

Мы проходим ещё метров пятьдесят, зажигая в глубинах дворов огоньки сигарет и включая перекрёстную собачью сигнализацию, пока меня не осеняет счастливая мысль. Я прижимаю к себе её прохладное тело, ласкаю, провожу языком вдоль уцелевшей шлейки. Она отзывается; с нею, гибкой и сильной, всё как нельзя лучше; собачья сигнализация захлёбывается лаем; мы рвём ночь хриплым дыханием и постепенно — с каждым рывком по чуть-чуть, вертикально вылезаем из всех вопросов. Продолжения «итамга» в наших движениях уже не предполагается.

— Морщинистая магма событий, — шепчет мне Девушка, щекоча и раскаляя своим дыханием ухо. — Ты сказал тогда: морщинистая магма-а-а-а-а...

## Р.-М. РИЛЬКЕ

/ 1875–1926 /

### ПОСЛЕДНИЙ ДОМ

Последний дом так грустен на селе,  
Что кажется последним на земле.

И улице так тесно среди изб,  
Что прямо в ночь она уходит из-

Под ног. Село всего лишь переход  
От бегства к бегству между двух пустот.  
Предчувствий полон, страхами объят,

Прочь из села бегу который год,  
А я же умер там сто лет назад.

*Перевод с немецкого Марии Бабкиной*



# Георг ТРАКЛЬ

/ 1887–1914 /

## ОСЕНЬ

Как птица феникс вспыхивает осень.  
С кларнетом и стаканчиком малаги  
Свой натюрморт решительно забросил  
Художник, потянувшийся в овраги.  
Свет сумрачен, а сумрак светоносен,  
И с каждым шагом он от цели в шаге.

На темных травах первые кристаллы.  
Лес красен так, что в нем костров не видно.  
Вот холмики, поросшие крестами.  
Вот яблоки, протертые в повидло.  
Задумчивы воскресные крестьяне.  
Молитва их как древняя ловитва.

В глазах усталых угнездятся звезды.  
В холодных комнатах останутся ответы.  
Шумит тростник и вздрагивает воздух,  
И путника в преддверии рассвета  
До костного пронизывает мозга  
Росою черной, капающей с веток.

## ФЁН В ПРЕДМЕСТЬЕ

В предместье, как его ни назови,  
Вечерний воздух пропитался смрадом,  
Гром пóезда доверился аркадам,  
По зарослям шныряют воробыи.

Сутулость хижин, путаница троп,  
Садов неразбериха и тревога —  
Всё это к Богу вопиет немного,  
А Бог сейчас немного мизантроп.

На мусорке питит крысиный хор.  
Полны корзинки женщин требухою,  
И череда свекрови за снохою  
Напоминает чем-то крестный ход.  
От скотобойни выхаркнет вода  
Вниз по теченью жирный сгусток крови.  
За души убиенные коровьи  
Кусты ракит краснеют от стыда.

Когда же смысл задремлет между строк,  
Строенья закачаются в канавах,  
Возможно что и прошлой жизни навык  
Потянется на ощупь как выюнок.

Отважным путешественникам тут  
Коварство скал на первое предложат,  
Руины на второе растревожат,  
Мечети перл к десерту подадут.

*Перевод с немецкого Марии Бабкиной*

# Стефан ЦВЕЙГ

/ 1881–1942 /

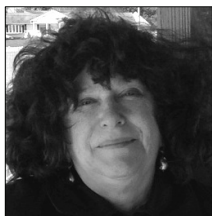
## БРЮГГЕ

Здесь всё — игра, но смысл ее потерян.  
Играли в замки старые дома,  
И прыгали мосты под стать пантерам,  
И расходились улицы партером,  
И опускалась занавесом тьма.

Здесь колоколен зубчатые буры  
Из поднебесья выкачали скорбь.  
Парадные, чьи ручки ржаво-буры,  
Играют от безделья в каламбуры,  
Что всякой вещи срок бывает скор.

В базилике апостол и химера  
Простосердечно соединены,  
Как будто пошатнувшаяся вера  
Нуждается, по мысли инженера,  
В опоре на преданья старины.

*Перевод с немецкого Марии Бабкиной*



## Татьяна РЕТИВОВА

/ Киев /

### У ПОГОСТА МОЕГО

Что скажешь, гость мой,  
Много лет спустя? Вот и  
Родительская суббота

Под дождем. Едва отпели.  
Весенние вороны мчатся  
По мгле над могилами.

И масленица на носу.  
Смотри, край неба  
Серебрит после затмения.

В начале лунное, затем и  
Солнечное, так, может, и  
Доживем мы до лета.

Урок наш в том, что  
Время распилили тоже.  
И гости задержались

Дольше срока, без дани,  
В этом бывшем постоялом  
Дворике княгини Ольги.

Не говори мне только  
О любви и вере больше  
Никогда. Одна Надежда

Еще жива, и дай ей Бог  
Многая лета. Пусть  
Мартовские иды вас

Отпустят навсегда  
Из старого календаря.  
За две недели можно

Пересечь весь *intermarium*  
На перекладных, доехать до за-  
Ветной Ингрии, Гиперборейской.

## РАЗМИНКА

Однажды я была  
В поиске  
Редких ягод  
На берегу  
Ладожского озера.

Мы тогда мало  
Спали, в основном  
Гуляли по твоим  
Местам. Храм, лес,  
Парки, речка, кабаки.

Черный чай пили  
С сахаром вприкуску,  
Бродили по грибы,  
Курили анашу, и  
Пропускали мосты.

В тот день ты мне  
Рассказал о морошке,  
И я ею до сих пор  
Брежу. Мне она  
Снится под утро,

В знойную погоду,  
Ее оранжевый запах,  
Власть синестезии  
Над влюбленными,  
Наши влажные губы.

## ЖИНКА-НЕВИДИМКА

Это я, скользкая рана  
Между палимпсестами  
Бесконечными. Но вечно

С причудами. Отвори мне  
Калитку. Пропусти меня  
Вперед. Там, за кроной

Голосеевского леса есть  
Одна ухабистая дорога  
Вниз которой не спустишься.

По бокам ее колышутся  
Преждевременно цветущие  
Ирисы, они уже за чертой

Мнимого, где *Монастыр Всих  
Святых* расположен на  
Третьем ярусе Весняной

То бишь военной, как мне  
Местные говорят, те кто  
Видят меня из-под полога

Своих арочных бровей.  
На досуге я бывало гадала  
По цыганским картам, пока

Всех духов не выгнали из  
Моей грешной головы. Всуе.  
С тех пор я брожу, как тень

Над липовыми аллеями и  
Тканью своей впитываю их  
Непредсказуемый смрад.

## САДОВНИК

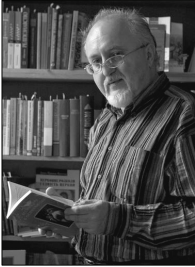
Шел по своим делам  
Вернее скользил спицами  
Велосипеда допотопного.

Забыл садовый инструмент  
Под забором возле моего  
Сарая. Не курил уже после

Одного изъятного легкого.  
И с трудом отхаркивался  
Каждый раз по дороге

Домой. Бережно, о как  
Неизмеримо бережно  
Стриг он ножницами траву,

Лежа на своем больном боку.  
И каким беспощадным оказался  
Его окончательный вздох.



## Юрий ВИННИЧУК

/ Львов /

### **АПТЕКАРЬ (1646–1647)**

#### ***Раздел 7. Наука меча***

Палач города Львова Каспер Яниш унаследовал свою весьма важную профессию от отца, палача города Сянок, у которого он был подмастерьем, и выполнял свою работу с рвением и усердием. Город был доволен его ответственным трудом и исправно платил ему как за пытки и казни, так и за другие, не менее важные обязанности, доверив палачу еще и местный публичный дом, который находился на маленькой улочке под Высоким Замком, прямехонько над кабаком Герцля Гнауфа «Под Желтой Простыней».

Также палач должен был обязать отлавливать бездомных собак и кошек, выгонять свиней из города, за каждую такую свинью получая вознаграждение, должен был следить за тюрьмой, распоряжаться в ней, поставлять заключенным свечи и сено за счет города. Естественно, со всем этим сам он справиться не мог, тут ему на помощь приходили подмастерья. Палач чувствовал себя настоящим хозяином города, и община города в долгу не оставалась, оплачивая не только работу, но и все орудия его труда, закупку дров и соломы для сжигания, дерево для виселицы и помоста. Также община заболталась о его домике — за свой счет и печь переставила, и защелки на дверях сменила, даже на лекарства и лечение он мог получить средства, а в случае смерти город его и похоронил бы.

Все виды казней были четко классифицированы, и преступник, ожидая приговора суда, уже и сам хорошо знал свой приговор. Воров за кражу, превышающую три гроша, казнили. За кражу, совершенную днем, казнили мечом, а за ночную — веревкой. Поджигателей и колдуний сжигали, как иногда и виновных в мужеложстве, женщин-воровок, чужекроваточниц и различных мошенников



топили, матерей-детоубийц и тех, кто выходил замуж во второй раз, не сообщив о первом замужестве, могли утопить, а могли и живьем в землю закопать. А уж отсечение головы считалось казнью почетной, но в то же время достаточно универсальной, поэтому применяли ее порой и для упомянутых преступлений, потому как такая казнь привлекала куда больше внимания и имела большой резонанс. Особенно если она не ограничивалась только отсечением головы. Насильника и убийцу Якуба Зембку в 1645 году сначала рвали раскаленными клещами прямо на Рынке, затем во второй раз его рвали уже за воротами, и там, на том месте, где он изнасиловал и убил девушку, разрубили на четыре части и развесили на столбах. А одну детоубийцу сначала публично до крови высекли розгами, а затем должны были зашить в кожаный мешок вместе с собакой, петухом, обезьяной и ящерицей и бросить в реку. Таким был изысканный приговор, но, когда Каспер представил присяжным счет за воловью шкуру и обезьяну, те решили ограничиться казнью мечом.

Первой казнью, которую провел Каспер собственноручно, было сожжение. Произошло это в 1641 году. Судья рассказал, что задержали мошенника, который выдавал себя за священника-бернардинца. Некий Альберт Вироземский, поступив в монастырь францисканцев и пробыв там что-то с год в новичках, решил, что жизнь в монастыре ему не по вкусу. Так что он похитил печать у настоятеля и изготовил бумагу, будто он — священник ордена и может женить, исповедовать, крестить детей, причащать и хоронить. С этой-то бумагой он и стал ездить по селам в окрестностях Львова и отправлять службу. А поскольку язык у него был хорошо подвешен, то наплести он умел немало. Наконец его поймали и посадили. За мошенничество его ждала смертная кара. И тогда он сделал ужасную вещь: решил продать душу дьяволу.

Он проколол палец и написал кровью на бумаге, что отдает себя во власть дьявола, отрекаясь от Господа Бога и Матери Божьей — только бы нечистый освободил его из тюрьмы. Писульку эту он спрятал за пазуху. Дьявол не замедлил предстать перед ним в образе юноши, посоветовав, чтобы ради своего освобождения он называл себя в суде священником. Альберт послушно выполнил этот совет. Тогда дьявол сказал ему, что теперь остается разве что ножом заколоться или повеситься, если не хочет изжариться на огне. Альберта это удивило, и он показал свою писульку, но дьявол сказал, что документ оформлен не так, как полагается. Он дал Альберту бумагу и перо, а также нож, чтобы тот надрезал средний палец левой руки и записал то, что дьявол ему поддиктует — лишь тогда он той же ночью спасет Альберта.

Бедняга поверил и в одной бумажке отрекся от Господа Бога, а во второй отписал свою душу дьяволу, в чем признался на суде.

— И что вы думаете? — закончил рассказ судья, посвящая палача в подробности дела. — Он всех нас убеждал, что действительно видел дьявола, который приходил к нему сквозь стену. Но черт был хитрый. Он и не думал освобождать этого отступника — и дальше уговаривал его повеситься. Что же — кто должен гореть, висеть не будет.

Палачу всегда работы хватало, потому как приходилось пытать и казнить не только львовян, но и крестьян и мещан из тех местностей, где своего палача не было. Было и еще одно обязательство, который лежало на нем, — собирать по хатам нечистоты и вывозить за город. Правда, Каспер за этим делом только наблюдал, а телегу с большой железной бочкой везли четверо татар, схваченных когда-то в плен, но жили они вольно и могли, если бы очень захотели, удрать, однако не удирали, а послушно выполняли свою вонючую работу, вывозя все это сокровище за город и выливая в Полтву на радость лягушкам и ракам, которых расплодилось там столько, что целые стаи аистов, гусей и уток дневали и ночевали по берегам и поймам реки.

Когда Каспер еще был юношей, отец иногда брал его в Красно, Стрый или в Перемышль, где, пользуясь тем, что их никто не знал, они быстро находили веселую компанию и гуляли два-три дня в какой-то корчме. Собственно, в Стрые «Под Короной» положила на него глаз бойкая бабенка, муж которой, перебрав, рухнул под стол и громко захрапел.

— Не были бы вы, паныч, так любезны, — обратилась молодуха к Касперу, — отнести моего мужа в хату? Вы, я вижу, мужик здоровый, а оно такое хилое, что вы, ей-богу, не перетрудитесь.

И при этом засмеялась таким заразительным, таким бодрящим смехом, что у Каспера внутри что-то екнуло, когда увидел ее глаза, горящие огнем, от которого уже и весь он занялся и запылал от ног до ушей. Не долго размышляя, он выволок пьяное тело из-под стола, закинул его охапкой на плечи и вынес из корчмы. Бабенка шла впереди и показывала дорогу. Был поздний вечер, в садах на сладкой траве засыпало лето под колыбельную кузнециков.

По дороге Каспер узнал, что ее муж — мельник, и живут они за плотиной у реки. Бабенка время от времени спрашивала, не хочет ли он отдохнуть. Но Касперу не охота было сознаваться, хотя под весом тела, залитого по самое адамово яблоко пивом и медовухой, уже и ноги заплетались, и он только перебрасывал пьяницу с одного онемелого плеча на другое. Он уже не смотрел под ноги, брел вслепую, прислушиваясь к шагам и голосу женщины, который заглушал своим храпом мельник.

— Пришли, — наконец сказала она, — занесите его на сеновал.

Каспер почувствовал большую радость, сбрасывая пьяный мешок с плеч. Тот только проворчал что-то нечеткое, и снова захрапел.

— Не знаю, как вас и благодарить, паныч. Дай вам Бог здоровья. Может, желаете вина?

— Не знаю... — замылся Каспер, растирая ладонью онемелое плечо.

— Э, да чего там, щас вынесу.

Через минуту она появилась с корзиной и поманила его к реке, там в лозах они уселись на траву, и молодича угостила его сперва вином, затем колбасой, и, наконец, собой, Каспер аж захлебнулся ее горячими поцелуями и дорвался до нее так, словно в последний раз в жизни, на самом же деле — впервые. С тех пор было у него не одно такое приключение, но, как правило, на один раз, потому как он знал, что, собираясь стать палачом, не сможет ни с кем связать свою судьбу, разве что со шлюхой, из тех, что волочатся за каждым войском и готовы на все ради хлеба и вина.

Отец Каспера был образцовым палачом, которого для особых случаев приглашали в другие города, даже в столицу, но после каждой казни или пытки он должен был здорово напиваться, чтобы восстановить расшатанное душевное равновесие, а во время одной такой пьянки в Кросно в корчме он сцепился с мажарскими вояками и, разбив одному голову кружкой, получил саблей по шее и, истекая кровью, рухнул в канаву у дороги. Тогда Каспера забрал к себе львовский палач в подмастерья, и парень сразу почувствовал разницу между обоими палачами, потому что если его отец был мягко-сердечным истериком, то львовский палач Гануш Корбач напоминал бездушную мумию, презирающую весь мир, поскольку держит его в кармане и играет им, как яйцом. Гануш научил Каспера двум очень важным ударам по шее, которые гарантировали мгновенное отсечение — один попадал между третьим и четвертым позвонком, а второй — между четвертым и пятым.

— Казнь мечом — это тебе не молотилом и не саблей махать. Тут мастером быть надо, — говорил он. — Ты должен нанести удар вертикально с максимальной прецизионностью. Потому что если осужденный в последний момент дернется или попытается вырваться, меч попадет ниже или выше. Тогда не удастся отсечь голову одним махом. Люди увидят, как казненный страдает, как у него изо рта булькает кровь, а он еще пытается дышать, и дыхание это довольно громкое. Оно больше похоже на рев. А толпа в этот момент затаивает дыхание, и в этой тишине слышно малейший звук. Второй удар в таком случае нанести будет еще труднее. А тогда ты услышишь уже и проклятия, и ругань, и даже, хотя это запрещено, в тебя могут полететь камни. Однажды у меня вышел странный случай, до сих пор не могу его забыть. Довелось мне казнить одного воришку, которого

не раз ловили, наказывали плетьюми и, наконец, решили отрубить голову. И вот, когда отрубленную голову положили на камень, она развернулась, как будто хотела оглянуться, и, выпучив на меня глаза, высунула язык и даже раскрыла рот, словно хотела что-то сказать. Я остолбенел, все это длилось очень недолго. Теперь меня постоянно мучает один вопрос: что он мне хотел сказать? Может, действительно что-то важное?

У отца Каспера был другой стиль — он отсекал голову, целясь мечом под самый затылок, но наискось, так, что меч срезал нижнюю часть челюсти. И, когда подмастерья поднимали голову за волосы вверх, чтобы толпа могла полюбоваться, то снизу вываливался окровавленный язык и дергался, на радость зевакам. Услышав об этом от Каспера, Гануш весьма заинтересовался и, подробнее расспросив, тоже начал практиковать такой способ, срывая аплодисменты и возгласы восхищения.

У каждого есть своя цель в жизни, а что за цель может быть у палача? Целью могло быть желание стать палачом таким же славным, как и его отец или Гануш, а то и превзойти их в мастерстве. Он должен, даже оказавшись вне поспола, все же возвыситься над ним, потому что толпа жаждет зрелища, и должна это зрелище получить, и его задача сделать это зрелище незабываемым, чтобы люди, которые его презирают, могли еще долго судачить об этом. Толпа любила казни больше театральных представлений, ярмарок или зимних празднований. Страх, в котором преступник восходил на помост, проливался на людей и пронизывал их верой в себя, верой в то, что им никогда не придется повторить этот путь, потому что они не такие, они — другие, лучше, они никогда не поскользнутся на жизненном пути, а потому они жадно ловили каждое движение приговоренного, каждое слово и взгляд, чтобы носить его в себе и вспоминать до следующей казни. И все же, веря в свою непогрешимость, они часто представляли себя на месте жертвы — как бы они повели себя там, на помосте, поглядывали бы гордо на толпу, как Иван Пидкова, или сыграли бы на свирели, как разбойник Гойда, а может, их трясло бы как в лихорадке, а колени подкашивались бы, и они вертели бы головой по сторонам, ища спасения, и жадно целовали крест, надеясь, что хотя бы здесь их ждет какой-то просвет.

Когда главный львовский палач состарился и понял, что лучше вовремя самому уйти, чем тебя прогонят с насмешками и свистом, с разрешения магистрата он передал свою должность Касперу, а сам вознамерился было выехать куда-то в Мазовию, чтобы затеряться среди неизвестного люда. Но как только он выехал за Краковские ворота, как на первом же повороте напали на него разбойники, надеясь на хороший куш, и, ограбив, зарубили на месте. Сколько им удалось украсть, никто не знает, но поскольку палач мог скопить неплохой капитал, в том никто не сомневался. Похоронили его за

пределами кладбища, там же, где хоронили всех, кого он казнил, или кто сам повесился или другим способом лишил себя жизни. Похоронили без священника, как последнего разбойника. Единственными людьми, присутствовавшими при этом, кроме могильщиков, был Каспер и две шлюхи, которые были благодарны Ганушу за то, что отбил их когда-то от пьяных рейтаров, которые пытались вывезти их из города на растерзание армии.

В наследство Каспер получил палаческое жилье между двойными стенами, окружавшими город, палаческий стол в трактире «Под Красной Еленой», куда никто, кроме него, не имел права садиться и даже не пытался, и определенное только для него одинокое место в костеле. Ранее палачи вместе с челядью жили в Шевской башне, рядом с которой была еще одна, служившая застенками, где иногда даже рубили головы, когда не хотели большой огласки. Евреям, жившим неподалеку, такое соседство скоро обрыдло, потому что крики истязаемых не давали покоя. После многих прошений им, наконец, удалось избавиться от шумного соседства, и палачам выделили жилье у стен Галицких ворот. Каспер жил там вместе с Ганушем, как подмастерье, а потом и сам стал хозяином и занял все помещения.

Разбойники, ограбив Гануша, забрали самое ценное, а остальное имущество бросили, и оно вернулось Касперу. Был там деревянный резной сундук с вещами и стопка исписанной мелким почерком бумаги. Когда Каспер внимательно присмотрелся, то понял, что это собственноручные палаческие записки, нацарапанные невесть для кого и для чего. То была своеобразная история разбитых иллюзий и обманутых амбиций. Что вынудило его к этой писанине? Может, он взялся за это, чтобы заполнить как-то бессонные ночи старости, воскресить себя в минувших днях, окруженных стеной воспоминаний, желая вытащить себя из болота, в котором провел всю жизнь, или же чтобы очистить себя от него, чтобы найти там, во вчерашнем дне, хоть какое-то зерно, которое оправдало бы смысл его существования, которое могло бы удостоверить на Страшном суде, что и он был человеком.

Палач, конечно же, литературным даром не обладал, но процесс писания часто заставляет людей говорить совсем иначе, чем в жизни, и, комбинируя уродливые каменные предложения, возводя словесных монстров, которые не рассыпались только благодаря своему неестественному весу, он создал нечто нечитабельное и скучное. Продираться сквозь эти словесные дебри было трудно и утомительно, однако Каспер погрузился в чтение, надеясь узнать что-то для себя полезное — то, чего ни отец, ни Гануш ему не открыли.

В отличие от Каспера, Гануш не унаследовал ремесло от отца, потому что его отец, собственно, подходил разве что на клиента палача, занимаясь различными непотребными делами, точнее — был

последним ворюгой, а поскольку такое занятие рано или поздно обрывается, то и здесь не обошлось без досадного случая, который положил конец кражам. Однажды старый Корбач украл коня у самого судьи магистрата, но, как назло, лошадь была особой породы — черный иноходец, которого судья купил у македонского купца. Глупый вор вместо того, чтобы погнать коня продавать куда-то на Буковину или Мультецию, отправился с ним на ярмарку в Жовкву, а там добрые люди, знакомые с судьей и гостившие у него, сразу коня и признали. Вора скрутили и вместе с конем отправили во Львов. Судья, который уже места себе не находил от такой невозместимой потери, обрадовался, как на свет родился, и на радостях велел подвесить конокрада на крюк и с помощью соответствующих методов добился у него признания во всех его прежних похождениях, после чего несчастный папаша напоминал вылущенный гороховый стручок, и казнь через четвертование принял уже с облегчением.

Жена старого Корбача Анна, узнав, что скоро станет вдовой, бросилась по людям и стала расспрашивать, каким образом можно мужа спасти, и одна пани, у которой мать Гануша прибиралась, нашла выход. Она не знала законов, но знала обычаи. По ее словам, было только две возможности спасти приговоренного к смертной казни. Первая заключалась в том, чтобы нашелся кто-то, кто согласился бы стать под венец с обреченным или обреченной, тогда наказание ограничивалась только символическим прикосновением меча к шее. Поэтому неудивительно, что на место казни всегда сбегались девушки, чья репутация не давала надежд на теплое семейное счастье. Приходили и те, над кем тем или иным образом поиздевалась природа. Однако этот обычай мог касаться только парней и девушек. Но существовал еще один обычай. Если сын осужденного вызывался идти в науку к палачу, стать его подмастерьем, а потом и самим палачом, то отцу отсекали только левую руку.

— У вас двое сыновей, — сказала мудрая пани, — вот и выбери-те из них того, кто принесет себя в жертву. В конце концов, не такая уж плохая специальность. Заработок стабильный, уважение общества обеспечено, — тут она засмеялась.

Анна с плачем вернулась домой и рассказала сыновьям, какой жертвы ждет от них их дорогой папаша. Старший сын наотрез отказался от такой чести, а младший покорился.

«Я был еще слишком юн, — писал палач, — чтобы предвидеть, какие страшные беды меня ждут, какое бедствие кует мне судьба. Любил я отца своего искренне и верно, и был я готов на все ради него. Не знал я тогда, что кладу черную печать на жизнь свою, что вверяю душу на муки, и никогда мне не искупить грехов своих, и буду я держать перед Господом Богом ответ на Страшном суде, яко последний из последних, яко ничтожнейший из ничтожных. Не знал я, что с того дня становлюсь юродивым, и будут меня сторониться,

яко прокаженного и плевать на следы мои, и никогда не позволено мне будет, переступив порог святой церкви, сесть около людей, а навсегда я вынужден буду торчать где-нибудь в углу, чтобы на меня и взгляд людской не упал».

Вот так удалось спасти отца-конокрада, а однорукий вор — не вор, так что пришлось старику искать другое занятие. Гануш пошел к палачу в подмастерья, а опозоренные родители забрали его брата и покинули родные края. Больше он их не видел. И только через два десятилетия, когда пришлось Ганушу казнить сразу нескольких дезертиров, которые разоряли окрестности, в одном из них узнал он своего брата. И брат, также узнав его, заплакал, лопоча: «Видишь, видишь, как нам встретиться пришлось». «Вижу, — сказал Гануш, — но это твой выбор. Ты мог быть на моем месте».

Далее Гануш описывал весь процесс своей палаческой науки, признаваясь, что должно было минуть добрых четыре года, прежде чем он привык ко всем тем жутким зрелищам, которые пришлось ему наблюдать в застенках или на помосте у прангера — этого зловещего каменного столба с вытесанными фигурами палача и Фемиды, служившего местом, у которого совершались казни. И далось ему это привыкание нелегко. Отсеченные головы мерещились по ночам, выпученные окровавленные глаза пронизывали его ледяным взглядом, множество голосов звенело в ушах, и этот ужасный назойливый звон заглушал другие звуки. Он понемногу чувствовал, как теряет способность слушать щебет птиц, даже нежное пение иволги казалось ему карканьем ворона, цветы на лугах пахли кровью, и даже вино имело ее вкус. После работы, придя домой, он долго мыл руки, тер их песком, но не успевал сесть за обеденный стол, как ощущение грязных рук снова заставляло его бежать на улицу и мыть, отмывать кровь, проступающую на ладонях. Он брезговал этими руками касаться своего лица, руки стали ему чужими, и в то время если люди обычно вообще не занимаются своими руками, он все время помнил о них, о том, что они — при нем, что он носит их при себе, и о том, чем они занимались в тот или иной день. Он всегда тщательно подпиливал ногти, чтобы чужой крови негде было спрятаться, но она была хитрее его. Он брил лицо и голову, но кровь всегда находила уютное место, например, уши или нос. Он всегда чутко выявлял ее.

Гануша кроме прочего угнетало то, что, став учеником палача, он вдруг лишился всего, чем жили его ровесники — от него отреклись друзья, он с грустью смотрел на их забавы, его, казалось, навеки покинул смех, хищное и жестокое животное поселилось в его душе и подтачивало молодость.

Каспер узнал в этих записках и первые свои ощущения, хотя у него они не были настолько драматичными. Конечно, сны тоже бывали страшными, но днем он стряхивал их, как дождевые капли, относился к своему долгу, как к обычной работе — заставил себя так

относиться. Иначе можно было сойти с ума. Разница между Каспером и Ганушом заключалась в том, что у Каспера отец был палачом, и он с детства оказался в реалиях, с которыми легко смирился. Он не стоял перед выбором, кем быть, он видел, что палач — это очень важная персона, к которой все относятся с опаской. Касперу хотелось стать таким, как отец, чтобы так же гордо расхаживать по улицам и ловить на себе встревожены взгляды. У Каспера с самого рождения не было ни друзей, ни каких-либо родственников кроме отца. Матери он не знал, и лишь незадолго до своей гибели отец рассказал ему, кем была его мать — обычной деревенской девушкой, которую соблазнил сынок львовского патриция, гостивший в их краях. «Да, да, сынок, течет в тебе голубая кровь», — смеялся отец. Следовательно, девушка забеременела и, пытаясь скрыть свой грех, бросила только что родившегося младенца в реку. «Однако ты не утонул, — продолжал отец. — Ты был бойкий мальчик. Тебя выловили нищие, вытащили, завернули в свои лохмотья и, надеясь на вознаграждение, изо всех сил побежали в магистрат. Нашелся и очевидец, видевший, как бедная девушка выбрасывала тебя в реку. Ее схватили и приговорили к смертной казни. А детеныша я выпросил и забрал к себе. Нанял кормилицу и вырастил тебя».

«И что стало с моей матерью?», — спросил Каспер дрожащим голосом, предчувствуя страшный ответ.

«Ее утопили. Вот что с ней произошло, — сказал палач и, помолчав, добавил: — Я запихнул ее в мешок, завязал и сбросил в воду».

«А перед тем мучил?»

«Это называется — подверг пыткам. Да. Конечно. Таково правило. Суд должен был узнать имя зачинщика этой напасти».

«И узнал?»

«Она сказала, что сообщит имя одному только пану бургомистру на ухо при условии, что он сам решит, стоит ли его разглашать. Так и случилось. Она шепнула ему что-то, он побелел, и на том закончилось. Никто этого имени больше не услышал».

«А как звали мою мать?»

«Гедвига. Она была красивая. У тебя много ее черт».

С тех пор Каспера как магнитом тянуло во Львов, хоть он и не представлял, каким образом может узнать, кто был его отец.

## **Раздел 8. Мастер малодобрый**

Читая записки Гануша Корбача, Каспер невольно проникся жалостью к этому маленькому мальчику, по воле обстоятельств силой вырванному из привычной жизни, чужому среди своих. Став палачом, Гануш все так же искал утех на стороне, уходя в загул в городках, где его еще не знали, но львовский палач — фигура солидная,



полюбоваться его незаурядным мастерством не раз съезжались зеваки из близлежащих поветов, а потому бывали случаи, когда его звали и ужасались, что сидели с ним за одним столом в кабаке.

Каспер вспомнил, как после очередной забавы с мельничихой в Стрые он отправился в корчму. И все было хорошо, он быстро влился в компанию местных завсегдатаев, угостив их пивом, но посреди забавы вдруг влетел запыхавшийся вестовой из Львова и закричал:

— Пан малодобрый! Возвращайтесь скорее — наконец задержали этого разбойника Чугая. Велели вам что есть духу мчаться назад и зарубить его, потому как бояться, что он снова из тюрьмы улепетнет.

Каспер моментально позеленел, заметив, как глаза присутствующих жгут его палящим жаром, как их рты кривятся в ругательствах и проклятиях, но поднялся, бросил на стол кошелек и вышел. Вслед услышал нервный шум, а затем оханье трактирщика: «Ну разве не цурис? Ну, не цурис? А я еще и с этой шельмой чокался!»

Каспер выскочил из корчмы и гнал коня до Львова так немилосердно, что у самых ворот конь захрипел и, неуклюже перебирая ногами, рухнул на землю. Каспер остаток дороги до Ратуши преодолел бегом. На площади под позорным столбом уже возвышался помост, а вокруг толпилось полно зевак. Завидев палача, толпа ожилилась и загудела, подгоняя его. Каспер поднялся к старосте и рванул яростно двери. У старосты от неожиданности задержался глаз.

— Какого черта!? — прогремел Каспер. — Какого черта, я вас спрашиваю, вы не дадите мне передохнуть? Я что — не человек? За свербело им, видите ли! Как будто нельзя казнить завтра!

— Э-э, вы того, не кипятитесь, а то ведь я тоже могу вскипеть, если что. Мы этого Чугая ловили уже раз пять, если не больше, и каждый раз он давал деру. Говорят, у него в ладони такое зелье зашито, которое открывает все замки. Сегодня утром мы поймали его у любовницы, и не хотим рисковать. Вы уж не сердчайте, мы вам сполна заплатим. То есть, вдвойне.

— Так хоть послали бы кого посметливее! А этот дурак на всю корчму — «па-ан малодо-обрый»! Чтоб ему черти приснились.

— Вот за это извините. Мы ему этого не поручали, чтоб вопил на всю корчму. Можете на нем согнать свою злость, если хотите, но вы должны и нас понять. Кто-кто, а мы общий язык всегда найдем. Как-никак, мы слуги закона, разве нет? И нет над нами судьи, кроме Бога.

— Черта, хотели вы сказать?

— Чтоб ему! Белый день, а вы нечистого вспоминаете. Перекреститесь и приступайте к работе.

— Что мне с ним сделать? — спросил, сдерживая ярость.

— Отрубить голову. Немедля. — Староста отпер сундук. — Пе-реодевайтесь.

- Не хочу. Пойду так.
- Что — и капюшон не наденете?
- Нет.
- Как это? Палач всегда должен быть в красном капюшоне, чтобы преступник его не сглазил. Таков порядок.
- От кого мне рожу прятать? Все меня и так как облупленного знают. А от сглаза у меня есть свои обереги. Возьму только кожаный фартук, чтобы кровью не забрызгаться.
- Гм, как желаете. Фартук ваш вычистили и спереди намазали воском, чтобы кровь меньше прилипала. Это пан Шольц посоветовал. Видел, говорит, в Богемии, — староста подал Касперу фартук и меч.

Палаческий Карающий Меч висел у Каспера дома на стене, но еще был Меч Возмездия, который имел церемониальные функции и хранился в помещении суда; его нес судья перед собой к месту казни, чтобы показать свою власть над жизнью и смертью преступника. Такие мечи были украшены поучительными сюжетами и глубоко-мысленными надписями. Палаческий меч, унаследованный от предыдущего палача, был украшен распятием и надписью:

«Обретя это, потеряешь прежде, чем найдешь.  
Купив это, ограблен будешь, прежде чем купишь.  
И умрешь, прежде чем состаришься».

В отдельных случаях для казни использовали и Меч Возмездия, когда это касалось крупных преступников, и это был именно такой случай. Каспер никогда раньше не держал этот меч в руках. Меч был длиной в локоть и тяжелее Карающего меча, на нем с одной стороны была изображена виселица с повешенным, а с другой — великомученица Святая Екатерина. Ниже вдоль лезвия шла надпись:

«Над грешником сей меч я поднимаю,  
И под ударом смертным обещаю:  
Хоть потеряешь жизнь ты от меча телесную,  
Получишь Царство ты взамен Небесное».

Каспер попробовал пальцем лезвие, оно было острое. В то же время заметил, что вес меча смещается в зависимости от того, куда его направить — вниз или вверх. Он удивленно посмотрел на старосту.

— А что — не видели еще такого? — засмеялся тот. — Там в мече имеется полость, заполненная до половины ртутью. При ударе ртуть с силой направляется к острию, а это, я вам скажу, значительно повышает мощностъ меча.

— Вон оно что. И сколько лет этому мечу?

— О-о, пожалуй, добрых двести. Точно не знаю, хотя при желании можно заглянуть в магистратские книги. Одно скажу с уверенностью — на нем еще нет ста казней, потому как использовали его не так часто. Так что, еще послужит.

Каспер знал, что после ста казней город торжественно закапывал меч в землю потому, что он выпил слишком много крови.

— Так что, могу я дать знак страже, чтобы выводила его? — спросил староста.

— Допрашивать не надо?

— Нет. Мы о нем знаем все, что нам нужно.

Больше всего не любил Каспер подвергать кого-то пыткам. Казнь длилась недолго, а пытки могли затянуться на целый день, а то и на несколько дней в зависимости от того, насколько выносливой и чувствительной была жертва к боли, которая должна была уничтожить сопротивление и попытки скрыть преступление, потому что вера в очистительную силу мучений, в их неоспоримую действительность не вызывала никакого сомнения. Если осужденный молчал, для этого могло быть только две причины: или пытки были слишком слабыми, или осужденный пользуется помощью сверхъестественных сил и, прибегнув к магии, мук не чувствует. Каспер был единственный, у кого были сомнения относительно пыток, потому как он ясно осознавал, что каждый, для кого боль становится невыносимой, предпочтет признаться в преступлении и ускорить свою смерть, чем пытаться вынести пытки. Тем более что конец был очевиден. Любое признание для осужденного было лучшим выходом, чем молчание, потому что тогда его ждало обвинение в колдовстве и смерть через сожжение. Итак, под пытками люди наговаривали на себя невесть что, хотя на суде от всего отрекались. Больше всего мороки было с разбойниками, которые часто готовили себя к пыткам еще на свободе, чтобы быть нечувствительными к боли.

Были, правда, случаи, когда жертва не выдерживала пыток и умирала, так и не признав своей вины. Это считалось значительным просчетом палача, он должен был быть бдительным и внимательно следить за состоянием пытаемого и отпаивать его вином, если тот утрачивал силы. Каспер еще от отца перенял этот очень удобный способ получения показаний, потому что подвыпившая жертва быстрее покорялась и начинала признаваться в том, в чем ее обвиняли. Правда, присяжным такая процедура не очень нравилась, и они давали разрешение поить вином только для подкрепления сил. Каспер на это не обращал внимания и для подкрепления сил имел красное вино, а отдельно держал наготове кувшин с белым вином, которым жертву подпаивал. Присяжные на расстоянии отличить вино от воды не могли, а то, что у пытаемого язык заплетался, было обычным явлением для каждого, кто терпел большие муки и искушал язык и губы.

Пытки не считались наказанием, наказание наступало только после них, следовательно, палач казнил подозреваемого в преступлении

прежде, чем судья признает, что он преступник. Каспер чувствовал себя кем-то очень значительным — от него зависело, кто предстанет перед судом и в каком качестве, но поскольку жертва могла быть невинной, палач должен был надевать перчатки, чтобы не прикасаться к ней голыми руками и тем самым не осквернить.

В Львове, как и в Сяноке, применяли два вида пыток — растягивание тела канатами и прижигание, каждый из них повторяли трижды, попеременно. Первое занимало слишком много времени, второе было более действенным, потому что прижигание железом или огнем не требовало какой-то особой подготовки.

Когда Каспер впервые должен был растянуть жертву, староста вынул толстую обтрепанную книгу и зачитал: «В одну стену высотой в полтора локтя от земли вбиваем крюк с кольцом, такой же крюк вбиваем в противоположную стену, только немного выше. Шнур, которым сзади на плечах спутаны руки пытаемого, протягиваем через кольцо повыше, а ноги прилаживаем к кольцу пониже на противоположной стене. Шнур смазывается жиром, чтобы легко можно было его дергать, потому как рывок за шнур вызывает вырывание плеч из суставов».

— Вот, видите? — ткнул староста пальцем в потолок. — Это вам не гоцки-клецки, а качественная работа.

Существовало три вида наказания: банниция, или изгнание из города, телесная кара и наказание смертью. Банницию считали особенно позорной и проводили ее по определенному ритуалу: сначала били в колокола, созывая горожан, потом объявляли на Рынке имя преступника и совершенные им преступления, и выводили его за стены города, дорогой бичуя. При этом банит, изгнанный, должен был держать в руках пук соломы, который после палач поджигал, производя предостережения перед возвращением обратно. Изгнание могло длиться определенное время, а могло распространяться на всю оставшуюся жизнь, и горе тому, кто вернулся бы в город — тогда уж его ждала смертная казнь. Изгнав банита за стены, ворота закрывали, и на этом экзекуция заканчивалась.

Из телесных наказаний популярными были порки розгами. Одна, самая постыдная, происходила на Рынке у прангера, а вторая, применяемая для лиц более знатных и для небольших преступников, — в погребках Ратуши. Воров на первый раз клеймили на лице, на второй — отрезали уши, на третий — выжигали каленым железом крест, но каждый раз также пороли от души. Если все это не помогало, то отрубали руки, а мошенникам, которые в игре в кости мухлевали, выкалывали глаза. В пору, когда Каспер стал палачом, телесные наказания пришли в упадок, потому что не имели какого-то особого значения, зато получили большое распространение пытки, как очень действенное средство следствия, после которых преступник все равно покидал застенки искалеченным.

Вешали за пределами города, потому что висельник должен был еще некоторое время оставаться на виселице, пока не останется от него один скелет. Виселичный верх, или Гора Казней вызвала постоянный интерес в среде волшебниц и знахарей, вера в особую силу растений, которые там изобиловали, была такая же прочная, как и веревка, на которой висел преступник. Но не только за растениями ходили туда тайком, а еще и для того, чтобы отрезать кусок тела повешенного, например, палец, из которого волшебницы варили «любчик» — приворотный настой и средство от импотенции, а то и целую руку, которой затем можно открыть любой замок, кусок одежды также имел свою ценность, его прикладывали к ране, как и веревку. Рука повешенного славилась невероятными лечебными свойствами, некоторые из врачей носили ее с собой — страшную, черную, иссохшую, но смазанную маслом, чтобы отбить запах. Поэтому в первые дни выставляли у виселицы стражу, но когда смрад становился невыносимым, труп оставался без присмотра. И то сказать — стража была не против и сама отрезать что-нибудь и перепродать.

Приговоренные к виселице отличались тем, что перед смертью прихорашивались — мужики брились, надевали чистое черное платье, девушки надевали белые камлотовые платья и, когда ехали на телеге, сыпали из корзины цветами, заливаясь смехом. Это уже стало странной традицией, и никто ее из будущих висельников не нарушал. Проститутки всегда радостно приветствовали мужчин, которых должны были казнить, встречая их у тюрьмы, и бросали им цветы, которые те прицепляли к своей одежде. При этом проститутки пели:

Бувай, мій соколе, мій грачку!  
Вже тя чекає женячка.  
Лиш не на пані-графині,  
Вженять на шибенці нині.  
Не підеш з нами до танцю,  
А йно зі шнурком, засранцю.  
Буде тя вітер гойдати,  
Буйне волосся кудлати.  
Буде тя ворон любити,  
Очі розплющені пити.  
Сови тобі заспівають,  
Лилики в дримби заграють.  
Відьми тебе приголублять,  
Пальці вкрадуть і затрублять<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Прощай, мой сокол, грач мой! Ждет тебя свадьба. Но не на пани-графине, женят тебя на виселице сегодня. Не пойдешь ты с нами танцевать, а пойдешь со шнурком, засранец. Будет тебя ветер качать, буйные волосы спутывать. Будет тебя ворон любить, глаза раскрытые пить. Совы тебе спокют, вопри на дрымбе сыграют. Ведьмы тебя приголубят, пальцы украдут и затрубят (укр.)

Но не только проститутки чествовали приговоренных — в зависимости от личных симпатий хозяин выносил кружку с вином и угощал обреченного на смерть, а тот, выпив махом, сразу обретал хорошее настроение. Когда воз прибывал к Горе Казней, на верху которой стояла виселица, преступника пересаживали на плоский воз без кузова. Кони вытаскивали его под виселицу, преступнику набрасывали веревку на шею, лошадей стегали, и висельник исполнял свой последний танец. А чтобы он долго не мучился, дорогая семья ловила его за ноги и тянула изо всех сил вниз. Потом уже каждый, у кого была какая болячка, спешил прикоснуться к мертвецу или к урине, которая вытекла из него.

Отец Амброзий, старый доминиканец, который смолоду собирал средства на выкуп рабов, а потом ездил по татарским и турецким землям и ни разу не возвращался один, для каждого вида казни составил отдельные молитвы, которые преступники должны были за ним повторять. Тот, кого должны были повесить, говорил: «Пусть эта виселица благодаря Тебе, Иисус, станет для меня лестницей в небо и калиткой в Царство Твое». Тот, кого должны были казнить мечом, говорил: «Иду я охотно, бросая голову мою под ноги святой справедливости Твоей», а осужденный на четвертование: «Мое грешное тело должно теперь согласно справедливому и благоприятным заключениям на четыре части быть разделено, и на четыре стороны света развешено, и на ужасное зрелище на кол насажено. А я буду со всех четырех сторон Святейшего Креста Иисуса Бога славить, с востока, запада, юга и севера. Аминь». Если казнь была через отсечение головы, но с предварительным калечением, то приговоренный повторял вслед за святым отцом: «Господь Христос, будь со мной в любое время мучений моих, и как Ты выдержал пробой Твоей святой правой ноги, помоги мне, чтобы я так же терпеливо выдержал пробой моей правой ноги, и как Ты выдержал пробой Твоей святой левой ноги, помоги мне, чтобы я так же терпеливо выдержал сокрушение моей левой ноги, как и ломание злой моей руки».

Каспер не мог надивиться терпению отца Амброзия, потому что не все преступники соглашались повторять эти слова и сыпали скорее проклятиями — тогда монах говорил эти слова вместо них. Говорил спокойно, но громко, и ничто не могло сбить его с толку.

На этот раз все было необычным. Раньше палач сам приходил к обреченному на казнь, стучался в его дверь, просил прощения, затем связывал руки и вел к помосту. Теперь разбойника, закованного в цепи по рукам и ногам, вело восемь цепаков<sup>1</sup>, позади шел отец

---

<sup>1</sup> Львовская городская стража или Цепаки — средневековые воины, вооруженные боевым цепом и охраняющие правопорядок во Львове.

Амброзий с молитвенником под мышкой. Чугаю было на вид лет сорок, он был крепким мужиком, цепаки доставали ему только до плеч. Он испуганно вертел головой по сторонам, колени у него подгибались, он падал, но цепаки быстренько его подхватывали и дальше чуть ли не волокли волоком. Уже на лестнице его приходилось подталкивать и поддерживать, потому что он все время поскользнулся и не попадал ногами на ступени. Страх в его глазах был звериный, изо рта текла слюна, а из глаз — слезы. Странно было видеть этого разбойника в таком состоянии, и каждый понимал, что убивать куда легче, чем самому идти под меч.

Наконец, когда он оказался на помосте и взглянул на палача, имевшего спокойное непроницаемое лицо, ноги у него снова подкосились. Палач стоял, оперев руки на рукоять меча, а красной рукавице палача искрилось кольцо с зеленым камнем. Судья развернул скрученную в трубку бумагу и прочитал приговор, а затем провозгласил:

— Напоминаю — никто под страхом наказания телесного и имущественного не должен чинить мастеру малодоброму никаких препятствий, и если случится так, что он промахнется, то никто не смеет поднимать на него руку. Да творится воля Божья.

За ним подал голос отец Амброзий:

— Сын мой, — обратился он к разбойнику, окончив короткую молитву, — причастие таинств святых и получи прощение за грехи свои... А теперь повторяй за мной...

Все это время Каспер не сводил глаз с Чугая, о котором до сих пор все слышали, как о незаурядном смельчаке, который мог отбиться от десятка воинов, но здесь, на помосте, он стоял совершенно беспомощный, пальцы у него дрожали, а на прокушенных устах алела кровь, из его растрепанных волос торчало сено, очевидно, то самое, на котором он предавался плотским утехам утром. Каспер вдруг почувствовал симпатию к приговоренному. Станным образом их объединяло теперь что-то общее — в один и тот же день они расстались с пьянящим запахом сена и еще более пьянящим запахом женщины.

Подмастерья силой заставили разбойника стать коленями на помост, голову его положили на пенек правой щекой, затылком к палачу. Однако разбойник повернул голову на другую сторону и вполглаза следил за палачом. Подмастерья отступили на несколько шагов. Палач поднял меч. Разбойник захлипал громко, закашлялся, даваясь слюной, и попытался встать, но меч рассек воздух и с силой опустился на шею. Каспер с непривычки чуть не выпустил меч из рук — так мощно рванула ртуть к острию. Голова отскочила, громко ударилась о доски и откатилась, подмастерье хотел ногой ее придержать, но поскользнулся и грохнулся, измазав в крови плечи, вто-

рой подмастерье был более ловким и подхватил голову за волосы и показал толпе, которая одобрительно загудела, глаза мертвой головы моргнули и закрылись, а губы отворились. Подмастерье, показав голову на все четыре стороны света, швырнул ее в корзину. На помосте между тем билось в судорогах обезглавленное тело, брызгая во все стороны кровью из разрубленной шеи, толпа даже должна была отступить немного назад, охая и вскрикивая, поскольку брызги летели перед самыми носами зевак. Когда же тело, наконец, замерло, тишина воцарилась такая, что слышно было, как кровь, стекая с помоста, капала в каменный желоб и тоненькой струйкой стекала, перемешиваясь с грязью и мусором. Тогда только люди начали расходиться, а их место заняли собаки, жадно лакая еще теплую кровь, скалили зубы и рычали.

### ***Раздел 9. Застенки*** ***Из записок Лукаша Гулевича***

«Март — апрель 1647 года.

Итак, я взял на себя обязанность судебного медика, и темные погреба застенков встретили меня холодом и влажностью, вызывая состояние угнетенности и сомнений относительно выбранной должности. Тюрем во Львове было семь, некоторые — со странным названием: «Верхняя», «Белая», «За Решеткой», «Веселая», «Гелязинка», «Аведичка» и «Доротка». Охраняли их довольно небрежно, так что бывали случаи, когда заключенные сбегали. Благородных преступников уполномочен был вылавливать бурграф, сидевший на Высоком Замке, также он охотился на разбойников, но только тогда, когда ему давали в распоряжение отряд драгун. Пойманного преступника он передавал войту, под чьим началом были двенадцать лавников. Часть из них составляла лавничий суд, который и определял наказание, но, когда речь шла о шляхтиче, то не так просто было его осудить. За порядком в городе и в предместьях следил ратушный гутман, или ночной бургомистр. Он должен был ловить преступников, охранять городские ворота и наблюдать за заключенными. Гутман руководил городской стражей, или же цепаками, потому что они имели цепи на вооружении. Кроме лавников городом правили двенадцать райцев, занимавшихся преимущественно политическими и административными вопросами. С райцами мне приходилось иметь дело редко, а вот с членами лавничего суда — постоянно, крупнейший авторитет среди них имели Томаш Зилькевич, еще совсем молодой, и Бартоломей Зиморович.

— Вы знаете, как пахнут стены тюрьмы? Это неповторимый запах, — бормотал старый ключник, показывая мне место моей работы. — Каждый, кто попадает сюда, впитывает его в себя, как



губка, и потом никогда не может с ним расстаться. А если стены тюрьмы из дерева, то дерево пропитывается этими запахами до глубины своего нутра. Пол в «Доротке» гниет от одного дыхания заключенных. Но вы, пан, не переживайте. Вам здесь не жить. Пришли и ушли. А я врос, как гриб в эту плесень и сырость. Ношу ее вот здесь, — он постучал себя в грудь, — и сколько бы не выдыхал ее на свежем воздухе, выдохнуть не могу. Разве что с последним вздохом избавлюсь от нее.

Первые пытки, за которыми я наблюдал, были над двумя молодими, которые занимались нежностями с дьяволом и пытались очаровать своего пана, у которого служили. После купели в реке и после того, как им в глотки влили по десять литров холодной воды через специальные воронки, обе признались во всем. Животы у них надулись, как у беременных, я настоял, чтобы их оставили отдохнуть на сене, потому что они уже теряли сознание. Они просили, чтобы им дали спокойно умереть, что они уже ничего нового не скажут, но судьи и войт считали иначе, для них картина была еще не совсем ясна — непонятно, кто кого подбил на контакт с дьяволом.

— Какая разница? — недоумевал я. — Ведь конец одинаковый — обеих сожгут.

— Э-э, нет, разница есть, — махал пальцем судья Зилькевич, — суд Божий! Там, — он ткнул пальцем в потолок, — должны знать, кто больший грешник.

— О, так вы еще больше богохульник, раз сомневаетесь в том, что ТАМ знают обо всем лучше, чем мы все вместе взятые, — подловил его я.

Судья блеснул гневом, но подкожный пронизывающий страх охватил и его, он замахал руками, словно отгонял комаров, и зататорил, брызгая слюной:

— Нет-нет-нет! Не надо меня подлавливать. Я не это имел в виду. Я имел в виду грядущие поколения. Они должны иметь полную картину преступления.

Обе женщины действительно путались и свидетельствовали друг на друга.

— Уже год, как меня София Будельска подговорила и научила колдовать, но я никому никакого вреда не причинила, — говорила Ганна Шимкова. — У меня был дьявол-шляхтич, имя ему Бартек, недавно меня бросил. А София колдовала на человеческое здоровье — ее и спрашивайте. Когда меня выдали за дьявола, я на Лысую Гору ездила голая в карете, у которой была лошадиная голова. Тогда дала мне Будельска для смазки голого тела мазь, которую я на печи прятала. А еще порошок дала и сказала, чтобы я его посыпала там, где пан ходит, и он будет ко мне добр. Дважды я бывала на Лысой Горе и там с дьяволом моим имела дело...

- Какое дело? — спросил судья.
- Супружеское.
- Каким образом это происходило?

— Дьявол приказал мне наклониться и упереться ладонями и ступнями в землю, ибо только так он мог взять меня. Его инструмент был холодный, как лед. Когда он проник в меня, то сразу изверг холодное вонючее семя. А затем велел мне общаться интимно со всеми мужчинами, которые там были. Он дал знак, и факелы потухли. Тогда уже все перемешались и менялись женщинами, и меня брал, кто хотел.

- И что ты при этом чувствовала?

— Ничего... абсолютно ничего... удовольствия не было. Сегодня черт от меня улетел. А чарам научила меня Будельска, когда мы панский сад пололи. Говорила, что мне будет хорошо и всегда будет мне счастье — только чтобы я ее слушалась. Потом уговорила меня, чтобы от Пана Бога и от Пресвятой Панны, и от всех Святых отречься. Говорила Будельска, что человек имеет двенадцать дьяволов в себе. Выдали меня замуж на Лысой Горе. Было там много колдуний, но узнать их было трудно, потому что они были в покрывалах или в черном наряде из китайки. Моего дьявола звали Бартек, а Софиинного — Франц. Бартек ходит в зеленом, а Франц — в синем. Когда я за своего дьявола вышла, он оставил отметину — царапнул мою левую руку.

Она вытянула руку и показала на внутренней стороне локтя красную царапину. Зато София Будельска на пытках показала:

— Мы с Ганной Шимковой ходили в лес по ягоды. Там дьявол нам явился, будто знакомый парень, и дал мне шапку ягод, а затем хлопнул меня по плечу и скрылся в кустах. Пришла потом Ганна ко мне и принесла мне котенка. Он был холодным и жался ко мне, а я его отталкивала. На второй день пришел этот котенок ко мне через окно, поцарапал мне колено — это был черт. И тогда у меня было с ним дело женское, а он оставил на мне отметину под грудью и на колене. Я с дьяволом общалась дважды, натура его холодная, а инструмент — как у скота. Дьявол мой покинул меня, когда меня купали в реке.

Я не выдержал спора с судьями и, делая вид, что меряю пульс молодежи, шепнул им:

— Если хотите, чтобы пытки прекратились, одна из вас должна признать, что это она искусила другую. Не имеет значения, кто это будет. Вы ведь и так хорошо знаете, что вас ждет. Иначе они не отстанут.

София посмотрела на меня усталыми глазами и прошептала:

— Хочу только одного — умереть... Думаете, если бы с вами делали то, что с нами, вы бы не признались, что летали на Лысую гору?

- Разве волшебниц нет?
- Есть. Но это не мы.
- Да ведь каждая волшебница так говорит.
- Пан наш был очень злой... — прошептала Ганна. — Только и всего, что мы хотели его задобрить... а дьявол... это все неправда... если бы мы его знали, он бы нам помог...

Я встал и сообщил суду, что волшебницы признаются, кто из них кого искусил. София приняла грех на себя, и их уже больше не пытали. Затем судья зачитал приговор:

«Суд войтовский Львовский, выслушав все стороны, все взвесив, и после присяги к чтению протоколов приступив, и срочно все добровольные признания рассмотрев, обвиняет Ганну Шимкову и Софию Будельску, которые, позабыв о каре Божьей и страхе Божьем, Христа Спасца нашего, и заповедь Его Святую «не имей чужих богов, кроме меня», соблазнившись ложью брэнного мира, дьяволом обещанного, отрекшись Бога всемогущего, Пресвятой Троицы и Пресвятой Панны, и всех Святых, вступив в брак с дьяволами, на Лысую гору летали и там же с ними брачно общались, волшебством занимались, и жизнь свою добровольно и намеренно губили, и до сих пор этих безбожных поступков не прекращали.

Чем Наисвятейшее и неограниченное Божье Величие оскорбляли и Святую Заповедь преступили, свои нечестивые и мерзостные преступления совершили, Божий и людской закон нарушили и наказание, в уголовных законах описанное, на себя призвали.

Поэтому суд сей войтовский Львовский, считая обвиняемых лиц, нанесших своими предрассудками дьявольскими большую обиду Божьему Величию, а также вред и ущерб человеческому здоровью, чтобы больше обиды Божьей и людям вреда не было, и от них таким поступком никто не научился, чтобы склонить всех, кто еще колеблется, к покаянию и чтобы поступали в согласии с Законом Божьим, согласно ординарному и Магдебургскому праву, которое преступников против Божьего Величия должно наказывать и огнем карать, приказывает: Ганну и Софию на огне сжечь на привычном месте казни».

Я подтвердил состояние здоровья обеих бедолаг и пошел домой, не дожидаясь экзекуции. А через две недели уже пытали сумасшедшую, которая рассказывала, как черт водил ее по аду. Она рассказывала об этом так красочно, что невольно казалось, будто она действительно все это видела. Она, очевидно, верила в это и заставила поверить и лавников, и суд. Пожалуй, только я считал ее сумасшедшей, а палач выполнял свою монотонную привычную для него работу без особого энтузиазма.

- Зелень расступилась и сомкнулась за моей спиной, — говорила она, прищурив глаза, — на поляне горел костер и жадно лизал

широкую закоптелую сковороду. Монахиня лениво тыкала палкой в то, что жарилось, и бормотала под нос молитву, которую я знала когда-то очень давно, но забыла, и теперь припомнила. Может, поэтому я прониклась теплом к этой монахине, как к кому-то, мне близкому... Я приблизилась и увидела на сковороде обнаженную девушку, которая извивалась и скворчала, раскидывая руки и ноги, а когда она переворачивалась на бок, видно было, как пузырилась ее спина, взявшись жареной корочкой... — сумасшедшая облизала сухие потрескавшиеся губы и всхлипнула. — Девушка стонала и выталкивала изо рта распухший язык. Грудь у нее была очень красивая, и еще не совсем припеклась. Как и бедра. Монахиня тыкала девушку палкой: «Жарься, жарься, чертова кукла!» — «Ей не хватает жиру», — сказала я. «Разве на ней мало жира?» — буркнула монахиня, но, оглядевшись, заметила у своих ног кота, схватила его и стала выкручивать над сковородой, как выстиранную рубашку. Кот орал безумным ором, с него тек желтый жир. Девушка с благодарностью посмотрела на меня. Когда жир равномерно растекся по сковороде, монахиня швырнула выкрученную тряпку-кота в траву. Несчастное создание попыталось перевернуться назад, но поняло, что это ему не по силам, и жалобно замыкало. Я двинулась дальше. «Подожди, — сказал выкрученный кот, — я пойду с тобой. Ведь тебе нужен проводник, не так ли?» И мы пошли дальше.

— А где черт? Где черт?! — закричал судья Зилькевич, утомленный этой историей.

— Он был около меня, — ответила женщина. — Выкрученный кот как раз и был чертом. И он вел меня дальше. Навстречу нам шло два десятка людей, нанизанных на длинное копьё. Они все время спотыкались, пытались шагать ровно, но выбоины и бугры им были препятствием...

— Разве вы не видите, что она ненормальная? — спросил я у Зилькевича. — Ее нельзя подвергать пыткам и наказывать.

— Но она уже призналась, что бывала на ведьминских шабашах. И черт вступал с ней в контакт.

— Если бы вас прижгли железом, вы бы признались, что вы этому черту — родной брат.

— Чур меня, — он перекрестился, — такое говорить. Но что с ней делать? — тут он обратился к остальным судьям.

Зиморовича в этот раз не было, и вся братия колебалась.

— А что скажет пан доктор? — спросил один из них.

— Скажу, что ее надо отпустить. У нее есть семья — пусть ей занимается.

— Семья? — засмеялся Зилькевич. — Да ведь семья как раз и донесла на нее. Видно, она их уже здорово достала своими путешествиями по пеклу. Они ее обратно не возьмут. Слушайте, — обра-

тился ко мне судья, — от нее никакой пользы. Вот будет слоняться и разносить бред. А у нас на нее собраны все доказательства. У нас есть свидетели, которые рассказывали, что из нее говорил сам дьявол дьявольским голосом. Понимаете? Не женским, а мужским. Она могла рычать, как собака, а могла мяукать, как кошка.

— Чтоб вы знали, — присоединился к моему просвещению епископ, — Господь, создав черта, наделил его даром совершенного знания трав, цветов, камней, деревьев и других природных вещей. Тем не менее, черт не способен создать ничего материального, ни вмешаться в небесный порядок, а отсюда — и месяц с неба он не может снять. Зато может перевоплощаться в кого только захочет. Берет черт тело из воздуха, из грубых земных испарений. Святого Антония Пустынника он устрашает то в образе страшных зверей, то в образе хищных птиц, святого Пахомия — в образе петуха, святого Ромуальда — в образе оленя, святого Иллариона — в образе лиса, святого Дунстана — в образе медведя, святую Маргариту — в образе дракона. А других он сводил в образе святых и ангелов. В Силезии был черт Рибенцаль...

— Рубецаль, — поправил я, — по-нашему Личирипа.

— Так вот, он в шутку явился одному стекольщику, который плелся на базар, в образе пенька у дороги. Не превращается он ни в голубя, ни в овечку, ибо все это — существа Христовы, чего я не очень понимаю, ведь черт и в образе самого Иисуса может появиться. Больше всего ему нравится образ кота или козла, который в совершенстве соответствует его мерзости и уродству. И вот вам: кот, который ведет ее по аду.

Как бы в подтверждение этих слов, женщина вдруг закатила глаза, раскрыла уста и зарычала грубым тяжким басом, а потом расхоталась и сказала:

— Я пришел господствовать! Я среди вас! Если вы сожжете ее на огне, я переселюсь в кого-нибудь из вас!

Присяжные ужаснулись и стали креститься, за ними судьи и епископ. Перекрестился и я, чтобы не выделяться, хотя мне показалось это довольно забавным. Между тем женщина бормотала уже что-то неразборчивое все тем же басом, выходящим как бы из ее живота, и рычала, брызгая пеной.

— Вот, видите! — сказал Зилькевич. — Черт часто не имеет губ или языка, так как, сформировав тело из воздуха и земных испарений, говорит артикулированным языком лишь мельком. Как правило, он прибегает к разговору, превратившись в животное, и вместо рычания, ржания или хрюканья звучит человеческая речь. Слышал я не раз, как этот зверь что-то лопочет с плохим произношением, будто как скворец или сорока, ворон или попугай, хотя и не понимает ничего. Именно так поступил этот соблазнитель с Евой, говоря с ней устами ужа.

— Жаль времени, — сказал епископ, — сумасшедший человек не способен владеть таким голосом. Завтра надо ее сжечь.

Я подумал, что смерть, возможно, для этой женщины будет наилучшим концом, но мне не удалось заменить сожжение какой-то другой казнью, поскольку присяжные и судьи руководствовались предписаниями закона, а там тех, в кого вселился дьявол, можно исключительно сжечь. Итак, завтра Львов получит свежее развлечение.

— Пан доктор, — догнал меня епископ, когда я выходил из застенков, — вот это возьмите и проштудируйте. — Он протянул мне книжечку в красном сафьяне. — Медицина медициной, университет университетом, а вы должны разбираться еще и в таких вещах, поскольку сталкиваться с ними будете отныне часто.

Книга называлась «О духах злых и нечестивых», написал ее Томаш из Равы Рутенец, а издана она была в Львове в 1563 году. Я поблагодарил епископа и обещал обязательно прочитать. Дома я действительно, ложась спать, развернул книгу, чтобы узнать «О том, какие черти бывают».

«Первый род демонов называется огненным, — было написано там. — Они летают высоко в воздухах и до Судного дня никогда не спустятся ниже. Они общаются с людьми на земле, вращаясь в подлунных краях. Вот и Аристотель утверждал, что в раскаленных печах часто видеть можно мелких живых существ, которые весь век пребывают в огне, потому как в огне они рождаются и в огне умирают.

Второй же род демонов называется воздушным. Некоторые из них, создав тело из загустелого воздуха, иногда видимы для людей. Часто, с позволения Божьего, они взлетают в воздух, пробуждают громы и грозы, и все вместе устремляются на уничтожение рода человеческого. Они наделены большой гордостью и завистью, творят разные возмущения. Их волшебницы подбивают к злым действиям. Характер имеют жестокий и грубый, и только и думают, какую бы пакость выкинуть, какое бы зло учинить. Благодаря дружбе с этими демонами волшебницы получают большую силу для своих чар.

Очевидно, ни одна часть мира не лишена присутствия демонов. Вот почему и демоны Платона, которые мечутся в воздухе в виде яркого снега, видимы для желающих рассказать о них, если те в течение какого-то времени будут непрерывно неотрывным взглядом глядеть в небо на сверкающее солнце.

Третий род демонов называем «земным». Из этих демонов одни бытуют в лесах, рощах, устраивая ловушки охотникам. Другие живут в полях, и ночью заставляют плутать путешественников.

Этот род демонов хорошо знаком колдуньям. Они обещают сумасшедшим женщинам, когда те вызовут их заклинанием в зеркале, бокале или кристалле, ответить на все вопросы.

Четвертый род демонов — водяные, исполненные злобы, тревоги, беспокойства и коварства. Они возбуждают бури на морях и погружают в водяную бездну корабли. Эти демоны обретают видимое тело, обычно женское. У нас они называются русалками и нявками, и часто их можно увидеть на берегах рек и озер, как расчесывают они свои волосы.

Пятый же род называется «подземным». Эти демоны живут в пещерах и ущельях, темных пещерах и обрывах. И вот они суть самые злые. Стремясь к гибели рода человеческого, они устреиваются в земле трещины, выпускают огнедышащие ветры и расшатывают фундаменты зданий. Иногда по ночам они водят в полях странные и невиданные хороводы, а потом на рассвете в спешке исчезают. Эти демоны также стерегут сокровища, которые спрятала в землю человеческая жадность, но получить их невозможно, потому что черти пристально их охраняют, а иногда переносят с места на место.

Шестой род демонов называется «светобоязный», потому как они страшно боятся света и ненавидят его, и днем не способны никоим образом тело сотворить, а делают это только ночью. Они нападают на случайных одиноких прохожих и затягивают в дебри. Но с ведьмами они не выдаются, и заклинаниями их никакими вызвать нельзя, потому что избегают они света и голосов человеческих».

На этих словах я заснул, и снилась мне несчастная женщина, обреченная на сожжение, для которой я ничего не мог сделать. И единственное, что сделаю — не пойду на ее казнь.

— Вы не идете? — не могла на следующий день надивоваться Гальшка. — Но это ж так интересно!

— Что интересно? Как тело человеческое пылает и вонь разливается?

— Нет, как дьявол мучается и испытывает еще одно поражение.

— А знаешь, что сказал дьявол ее устами? Он сказал, что если мы ее убьем, то он переселится в кого-то из нас. Подумай, стоит ли тебе туда идти.

— О, Господи! — Гальшка перекрестилась. — Он действительно такое сказал?

— В присутствии лавников, судей и епископа.

— Но почему это должна быть я? Там будет столько народу! Хорошо, что вы мне это сказали. Я положу в рот просвиру и буду рот держать на замке.

---

С этими словами она убралась, торопясь занять удобное место для наблюдения. Я же решил прогуляться за пределами города. Стражи у Галицких ворот проводили меня удивленными взглядами, потому что я был единственный, кто покидал город в то время, как изо всех ворот валил в город простой люд на забываемое зрелище».

*Перевод с укр. Елена Концевич*



# Лана ПЕРЛУАЙНЕН

/ Львов /



\* \* \*

На земле спасенья не бывает.  
На земле печально и нелепо.  
Ангелы сформировали стаи.  
Стаи возвращаются на небо.

На земле господствует усталость.  
Спросит мальчик:  
— Дедушка, а кто там?  
Дед посмотрит:  
— Ангелы летают  
высоко — на ясную погоду.

\* \* \*

Комары с криками банззай шли на таран.  
Телевизор, помехами искривляя рот,  
вещал то геенну, то ураган,  
то коммунистический переворот.

А вселенная тихо мерцала звездами,  
стояла в сторонке и пахла сном,  
земля выращивала продовольствие  
и сорняки — под самым окном.

А во сне надрывно топилась печка,  
и дождик старательно моросил,  
и ты между строк выходил на крылечко,  
небрежно надвинув соломенный нимб.

\* \* \*

Пахнет миром и ладаном.  
Мысли мои тихи.  
Хочешь — зайди с парадного  
в будущие стихи.

Разгоняюсь и падаю  
сквозь пустые века...  
Господи... всё угадано —  
даже тень у виска!

## КОГДА

1

Когда маленький Космос  
ставили в угол  
на колени,  
он ковырялся в носу  
и думал обиженно:  
«Вот вырасту —  
и не найдётся такого угла».

И вырос.  
И не нашлось.

2

Когда мир  
склоняется над твоей колыбелью,  
он пахнет молоком  
и называется мамой,  
потом он растёт  
вместе с тобой,  
вместе с тобой  
распадается на осколки  
названий и запахов,  
чтобы в конце концов  
склониться  
над твоим гробом  
Отцом.

3

Когда смотришь  
из следствия на причину,

ветер времени  
дует тебе в лицо.  
Надо согнуться,  
чтобы сохранить равновесие:  
против сильного ветра  
ходят только так.

\* \* \*

...а всё потому, что на дне философий  
забрёжил магический свет,  
что гущей кофейной рисую твой профиль  
в дыму сигарет,

что там, далеко, среди книг и привычек,  
гостей и прошедшего дня, —  
очаровательный, меланхоличный, —  
я знаю, ты любишь меня.

\* \* \*

... и — как всегда, без посвящений,  
чтобы не знал, о чём грущу, —  
ночным локатором видений  
который сон тебя ищу.

Не нахожу — и слава Богу.  
На дне бунтующих морей  
твердеет память понемногу.  
Ты в ней — как муха в янтаре.

\* \* \*

Ледяной пароходик зимы отчалил.  
Помахал дымком, просигналил дважды.  
Ты сегодня в белом, моя печаль, и  
так идет тебе этот цвет бумажный.

Пьёшь остывший кофе одна на свете,  
опустивши в чашку кружочек солнца,  
заплетаешь в косы холодный ветер,  
принимаешь вечерний нонсенс.

Ты сидишь на террасе, моя печаль, и  
согреваешь плечи чужим пейзажем,  
только взгляд прозрачный рисует чаек,  
в пустоте, про которую ты не скажешь.

\* \* \*

Солнце восходит зимним черновиком.  
Этот июнь фатальнее, чем бывало.  
Слышишь? — стихи спускаются с чердаков,  
слышишь? — и выбираютя из подвалов.

Доброго дня им и дружественных стихий,  
мощного старта и неутомимых крыльев.  
По небу к солнцу идут и идут стихи,  
как эскадрилья.

А на земле, в допотопном платке зари,  
в единоборстве циклонно-антициклонном,  
на перепутье эпоха стоит — смотри! —  
и провожает их взглядом из-под ладони.

\* \* \*

*отцу*

А на северном склоне лета  
небо вышито лентой узкою.  
Жили там мои баба с дедом  
и не знали, что — русские.

Мир был тихим, родным, ижорским,  
весь в чернике, грибах, малине.  
Там неспешно плели историю  
со сказаньями и былинами.

От ижорцев остался прочерк,  
а история разорвалась.  
Синей искрой ли вспыхнут очи,  
топором ли, кинжалом? —

те, наследственные, отцовы,  
когда глянут на них в упор  
и внезапно остановят  
имена последних озёр.

*Авторский перевод с украинского*

# Игорь ПАВЛЮК

/ Киев /



## МАССОВКА

### Повесть

1

— Началось! — сказала доярка Зоська конюху Венику, когда плутоватый ветер-черт поднял двух ее куриц над трубой школьной котельной вместе с капитальными черными дверями, подержал в дыму — и отпустил. Двери брякнулись на землю, будто небо со снегом.

Веник перекрестился.

Из котельной выскочил завхоз Кнырик:

— Ого.

— Угу, — ответил Степан Лось, которого в селе называли Веником, потому что он как из армии пришел еще в молодости, то по-русски, значит, на «винык» говорил «веник». С тех пор так и пошло.

— Началось... — уже сама для себя подытожила Зоська, которую ни с того ни с сего полюбили называть «пани Зося».

А в действительности «началось» в Гамалиевке с того, что к дому, который был возле леса, приехал странный Человек. «Что же ты така худа — только зубы й борода», — сказал он как-то при встрече Зоське, и та по-женски обиделась. Другой бы остерегался, так как известно было, что Зоська «что-то знает», но поселенец только улыбался: «Ты что тут, не имеешь чувства юмора, без иронии живешь?» — будто говорил его взгляд, и два перекрестных шрама на щеке его разговаривали друг с другом.

— Варвара, Варвара Костева повесилась! — бормотала себе под нос Попкова Стефка, всегда обмотанная теплыми платками в «талии», потому что «слабая».

— То недаром так крутило сегодня утром — аж лед над озером летал, — крестила себя и мир Лидия Ромашкевич, которую за сильную набожность люди называли Богородицей. Духовным наставником ее был двоюродный брат Маклуха Маклай.

Она сушила на весеннем солнышке подушки, через каждые полчаса закрываясь для молитвы. У нее была аллергия на перья.

Зимние дни, которые еще вчера были похожи друг на друга, как сахар на соль, становились болеечистительными, мотыльковыми.

Слеза — седая капля мужской крови — потекла от Костевого сердца вверх — вопреки всем законам физики — к единственному глазу (правый забрала афганская война), и там стала вселенной, ро-синкой.

Варвара болела. Ее психическое расстройство было признано тихим, наследственным: в пятидесятипятiletнем (климактерическом) возрасте вскочила в колодец и ее бабка. Об этом в еврейско-польско-украинской семье старались не вспоминать, но законы природы, отшлифованные миллионами лет, обмануть, кажется, невозможно.

Висела в белых чулках над овцами в хлеву — ошибка в щедрой игре бытия.

По случаю такого факта на многих столах в селе появились запотевшие бутылки самогона, которые были чем-то большим, чем казались, — спасали мужские души от самих себя, от богов, которые кипели в каждом, и мерзли зимой, и пот лили на жатвах. Поистине: береги себя — и ты сбережешь бога.

Полный Месяц тянул на себя седое одеяло озера с тоненькой прошвой льда на ней. Тянул и Варварину кровь, которая текла из носа, хоть тело покойницы, снятое с собачьей цепи мужчинами и омытое женщинами, лежало на прадедовской «софке», как прошлогодний лист Дерева познания добра и зла.

Куда пойдет ее уставшая от самой себя душа, наверно не знал никто.

Понятно, что душа эта хотела воли... А христианский рай — это также же неволя: в ад на экскурсию не отпускают.

На похоронах Костевой Варвары гамалиевцам хотелось спрятаться от времени, хотя кое-кто был слишком глуп, чтобы бояться его.

Местный иеромонах Нифонт отказался хоронить Варвару на кладбище. Он громко грохнул дверями своего шестисотого Мерседеса и сказал как отрезал: «Ищите себе священника другой концессии. Я самоубийцу погребать на кладбище не собираюсь». И поехал.

— Ничего-ничего, — грустно сказала солдатская вдова — баба Журиха, — я знаю батюшку, я договорюсь с ним. Поговорю с сиделкой — она повлияет на отца Нифонта. Все будет по-божески и по-человечески.

— Как же тяжело пройти между Богом и людьми, не оскорбив ни одной из сторон, — почти прошептал кто-то из одетых в темное людей, которые пришли на похороны женщины, уже лежавшей в черном, пропахшем лаком гробу.

Завешенные полотенцами зеркала и картины, рисованные усопшей, контрастировали с весной за рамками окон: вода не успевала

побелеть от снега, а снег потемнеть от воды. Спешили биологические часы. За фасадом весенней силы накапливался социальный страх неизвестности.

Когда отец Нифонт все-таки пришел в сопровождении бабы Журихи (Жур — фамилия ее мужа) и произнес речь о покойнице — все плакали. Не плакали только дети.

— Я на вас, отче, не держу зла, — сказал Кость.

— Держите на меня хотя бы что-то, — по-философски улыбнулся иеромонах. — Похвала от людей лишает нас похвалы от Господа. — И пошел — высокий, черный, бородатый, приговаривая: — Ежели допустим, даже...

Пьяная и заплаканная Зоська пришла на похороны просто с поля, которое она пахала у дремучего «москаля» — своего душевного друга. У него часто и на ночь оставалась. Дети ее плакали. Муж терпел. Говорят, мужчин шлифует терпение, а женщин — постижение. Зоська любила мужскую работу, запоем читала книжки о любви.

Местная «мафия» — Шило, Кнырик и Выварка — стояли вместе, немножко в стороне, старательно крестились. Лишь когда Попкова Стефка подошла к Шилу спросить, как там с обещанными два года назад деньгами за молоко, которое собирал его наймит, троица сделала еще боголепнее лица, а Кнырик сказал: «Видите, что в мире делается...».

Стефка умолкла, как свеча. Шило всегда казался ей добрым, но нервным. Прощала ему свою боль, хотя однажды предложила Шилу подтереться гривной, которую он ей протянул после дежурных упреков: «Куда подевал человеческое коровье молоко?». Выходило так, что нет в мире однозначно правильного выхода — есть лишь лучший.

И все-таки Варвара — православный мертвец, — не сговариваясь, согласились все односельчане Варвары: слова на похоронах становятся пластмассовыми. Разговаривать с эхом смешно, интересно.

— Слава Украине! — с почти неуловимой иронией поздоровался с тетей Стефкой племянник, зная ее патриотические «залеты», от которых больше всего страдал ее муж — испитой пасечник Юзик, который, «набравшись», бил куртку зятя, пускал счеты по полу и кричал им: «Иди сюда, зар-раза, сказал!». В ответ на что Стефка жалостливо стонала: «Ой, где же они пойдут?! Где же они пойдут?..» Юзик Попко тогда полз к дубовым счетам, бил их и, упав в конце концов на них мордой, спал.

Выварка рассказывал Кнырику анекдот о самом дорогом в мире (потому что неиспользуемом) украинском мозге, об абортированности семимесячной украинской демократии и тому подобное.

Об усопшей не говорили плохого не по морально-психологическим, а по причинам инстинктивно-социальным: была потребность выговорится ни о чем.

Выразительную мимику Луны начал размывать грязный песок вечернего времени. Гроб с Варварой понесли на кладбище мимо «регулировщика» (памятник Ленину, который рукой показывал, куда идти, чтоб было тепло и сыто).

Обильно разливалась повсюду невидимая весенняя вода, и сопливые свечи плакали в нее воском. Завуч школы философствовал с украинской «язычницей» (филологиней) о фатальной украинскости рая: кому же там быть, как не нам, страдникам-постникам? Она же рассказывала ему сон, «после которого вечной становится жизнь». Сошлись они на диалектическом единстве противоположностей слов-понятий: зámки и замкí, Рёмбо и Рембó, Фрáнко и Франкó, ненза и нинзя, безгрóшность (в смысле безденежья) и безгрешность (яко безгреховность)...

— Ох-ох-ох! Я так хочу, чтоб что-то случилось такое! — обняла филолог мнимый яйцевидный глобус. — А то...

— Только Чернобыль взорвался, а дух... До колен. Как и юбки... Ха-хм, — согласился завуч.

«Язычница» поправила воротничок на его слегка полинялой рубашке.

Варвара лежала похожая на белую прелую морковку.

— Но паниковать не стоит, не стоит: хуже всего либо еще впереди, либо уже позади, — звонко прошептал кто-то перед самим входом на кладбище, новизна которого ассоциировалась со стариной еще не упавшей звезды.

— О, я хорошо вас понимаю, — еще кто-то.

— Не нужно так хорошо меня понимать, — закончил первый.

Ранний вечер совсем юной весны стонал, как высоковольтный провод, он заземлял Месяц и Солнце, которые одинаково красиво всходили и заходили.

На кладбище мертвые лежали замертво. Монахиня-дева (посланица ближайшего монастыря) уже ожидала усопшую Варвару возле глиняной ямы. Должна была быть посредником процесса примирения тех и этих миров. Ее длинная черная воронья тога сливалась с голыми, словно железными, деревьями, на которых мокли покинутые осеню гнезда, напоминавшие ловушки для ангелов, которые спускаются на землю, и чертиков, которые тянутся к высокому. Прошло. Годовалый золотой дождь едва-едва грустно улыбался из-под уже желтеющего снега.

Деревья еще сбросят весеннюю вечернюю инейность, а вот монашка уже нет... Как не сбросят свою черноту вороны, которые, каркая, казалось, смеялись над святыми вещами, любили летать над крематорием, когда из трубы шел действительно человеческий дым.

...Но Варвару не сожгли.



Славянское христианство, возможно, в большей степени повлияло на судьбу тел мертвых, нежели живых: сжигание давно было немодным, потому что малая «глина становиться глиной», как прошлогодняя трава, что белела не от снега, а от времени.

Крестный путь Варвары заканчивался.

Веник поставил на землю, оперши на дерево, крест, который нес, и мужики взялись вздымать гроб с телом из машины, чтоб уже на руках донести усопшую до места вечного сна, которое определилось в пространстве — как в стороне от других — само собой: кладбище новое, так вот каждое свежее захоронение — в стороне.

— Холодно, — с нажимом сказал Шило.

— В гробу когда-нибудь нагреешься, — ответил ему Выварка. — Что-то ты стал нервно-паралитическим в последнее время.

— Смерти боится, — докинул Кнырик.

Возле кладбища загудела черная машина отца Нифонта.

## 2

Странный Человек, который поселился в запущенном крайнем доме Гамалиевки, как раз записывал на диктофон лай своей собаки, когда услышал похоронные звоны церкви. Он быстро побрился, одел темный блестящий костюм за «сто тысяч долларов» — и пешком направился настигать похоронную процессию.

На войне метафор, которая шумела в нем вот уже тридцать лет, наступило тревожное перемирие. Он слишком много думал душой, поэтому думание головой было отдыхом для него. Вечные образы — Фауста, Каина, Змея, Дон Жуана, Дон Кихота, Гамлета... электрическими тенями топтались по змееподобным извилинам мозга и просили воплощения. А когда еще через полгода появилось два распятия — Христос и Спартак — он решил оставить самую могучую державу мира, в которую эмигрировал двадцатипятилетним, и вернуться на землю своих предков, чтоб очиститься, освободиться от тех образов, воплотив их. Сумеет ли он — режиссер Голливуда, миллионер, псевдоним которого (Калинюк) стал синонимом блеска, эффективности, блестящего результата? Особенно после его фильма «Соломоновы острова», которого, к сожалению, не смотрели в Гамалиевке, потому что здесь уже год не было электричества.

Поэтому никто и не догадался, что странный Человек, который купил старый дом лесничего, — бывший парень-сирота, отца которого забрала последняя война, а его самого — судьба. Сначала кто-то будто говорил, что Виктор выехал, что он теперь богат, но это уже воспринималось, как легенды и мифы древней памяти рода.

Теперь Чухрай приехал к себе, выдумав для односельчан историю своего происхождения — говаривал: долгое время жил за Ура-

лом, потом в Крыму... что-то такое. Говорил, что любит свободу, поэтому не до семьи было, хотя в действительности за океаном остались две дочки и уже один внук. Святая ложь, грешная правда...

Виктору хотелось помочь прежним своим односельчанам, некоторых он еще помнил. Но они его нет — после пластической операции, которой он вынужден был подвергнуться, потому что автомобильная авария сделала его похожим на птицу. Теперь он имел много денег и те проклятые вечные обрЗА-обрАЗы-Образы, что мучили его денно и нощно. «Продам Образы за свои же деньги, — решил Калинин. — За большие деньги сниму фильм «Евангелие от народа» в своем поселке. Действующими лицами будут мои односельчане, часть из которых — мои родственники, родная кровь. Массовке буду платить большие деньги. Я очищу совесть и карманы, а они... тоже смогут творить, лететь, подняться. Я покажу их миру, а мир — им. Посредством больших экранов. Я открою каждому счет, ведь фильм должен стать знаменитым. А затем... потом... массовой станет вся моя страна... Земной шар... Вот», — смешно улыбнулся Виктор Чухрай, не оглянувшись, когда подошел к кладбищу, где творить параллельный гармоничный (потому что, словно одолженный сон, просто совершенство — одностороннее) мир было значительно легче: он сам ожидал своего владельца — Режиссера. Бери — и воплощай, даже через боль — зло, ведь боль очищает.

Под западным солнцем талая вода казалась седым огнем, а свечные огоньки — красными капельками, нежными-нежными, до щекотки.

Удивил памятник известному поэту, который тоже родился в этих краях и стал знаменитым, чисто, по-настоящему знаменитым. Крылатый парень из белого мрамора не манил, а просто тянул за собой: будь Человеком перед Богом и немножечко Богом между людьми. Хрустально-солнечная беззащитность его очищала. Так молчит самое славное и самое работающее творение — Солнце. Еще — звезды... ветер, вода любят стихийно напоминать о славности деяний своих. Похоронили Поэта, как он и просил когда-то где-то, между прочим, дома — возле дедов-прадедов, мамы...

Чухрай попробовал памятник на ощупь. Показалось, что то ли обжег, то ли порезал палец. «Я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе», — вспомнилось есенинское.

Юное деревце махало старым упрямым листком — и, казалось, подлетало своим длинным сердцем. Молодое кладбище — как выставка распятий. Звонили колокола. Хотелось пожалеть их, но обнимать было нельзя — даже по-святому...

Вечером тень от Солнца и тень от Луны спорили — кто из них длиннее. Самый длинным был крест. Вечерняя вселенная крутилась, как гончарный круг, словно зеницы слепого.

Мозолил крест, распятый на груди Чухрая.

Под невидимую музыку в небе танцевала первая вечерняя заря-планета — Марс. Возле нее появилась еще одна, еще... огонь горел в огне — и было хорошо. Затонувшим стеклом было небо в лужах. Капли из ледяных сосул писали на них имя нового, еще не известного никому, бога.

Люди деревенели, поэтому появление среди них странного Человека осталось почти незамеченным. Лишь Зоська сказала Венику: «О! Пришел тот...», и поп Нифонт неуловимо подозрительно посмотрел на него.

Калинюку же сделалось стыдно за свою холеность среди этих беззубых крестьян, которые жили медленно и неправильно. Врожденное чувство вины свербело под ребрами. Захотелось вложить гнездо с сидящей кукушкой в левую руку поэта-памятника.

Когда Чухрай подошел к месту захоронения, люди уже бросали комья в яму. Он также взял горсть земли, чтобы бросить ее в землю. Люди зашептались.

— А гляди, гля... как вырядился, — кехекнул Шило Выварке.

— Имеет за что... — с затаенной завистью генетического кулака сказал себе под нос Выварка.

— А откуда же он такой шикарный взялся? — спросила у Веника Зоська.

— То нужно у головы сельсовета спросить, или у головы колхоза... Да и поп знает, наверно, — ответил Степан Лось.

Председатель сельсовета — Филипп Филиппович — и начальник колхоза — Даниил Данилович — стояли себе рядом с лесником — старшим сыном Выварки — и «обсуждали» план построения новой «Лесной корчмы» для районного, да и высшего, начальства, потому что старая «компартийка» сгорела в последней оргии, которую затеял молодой завхоз мелового комбината, что был на краю Гамалиевки, и из-за которого ее крайние дома были белыми, как мертвецы. Теперь комбинат стоял пустотой, потому что власть не позволила французам открыть на его базе совместное предприятие — «Пудровую фирму», оставшись голодной собакой на прошлогоднем сене.

Виктор Чухрай знал это все. Знал больше того, ведь мог смотреть на родину предков своих со стороны, свято оберегая от земляков свою биографию, нить которой туго переплелась еще с такими же, образцовая косу — судьбу народную, всепланетную, общегалактическую...

Профессиональное внимание вылавливало среди людей типы, кристаллизовало мелкие детали, которые в искусстве творения Мира иллюзий — боги. Поздно поседевшие волосы Калинюка смело преломляли лучи месяца, его желто-седое сено колыхало тихих звездочек-детей.

Он искал среди односельчан актеров для своей будущей большой Мистерии, или мистерии Больших, в которой Спартак не должен был

бы быть побежден, Христос — распят, Прометей — прикован, Сизиф — дурноробом, а Икар — дурнолетом. Народ, выходцем из которого он был, — вечным рабом, который так быстро устаёт от свободы! Ему хотелось услышать диалог Спартака с Христом — когда они еще не висели на кресте... На том же. Существует же легенда, что крест, на котором со своими рабынями висел, словно летел, тот, кто хотел за год поменять местами то, что природа делала миллионы лет — сортировала семенно-генетический материал, создавала то, что называем Породой.

Христос силой духу сделал то, что Спартак не смог мечом.

Казалось, что народу Калинюка тоже был нужен мессия, ведь все материально-государственнические потуги опять, как и десятки исторических раз, заканчивались никак. Правда, сначала должен был бы быть Спартак. Он должен снять нового украинского Спартака, который бы передал крест Христу, Перуну... Это уже другой разговор.

А пока еще причудливо и липко танцевали взгляды его таких разных и таких бедовых, даже самых богатых, земляков-землян, что вспоминался хрестоматийный Тарас Григорьевич.

\* \* \*

...Горела в хлебе восковая свеча. Огонь боялся ее, потому что видел в ней свою конечность. Венки пахли лаком. Хотелось выпить от горла. Дорогой, что известна лишь птицам, плыли невидимые ночью тучи, а может, и Варварина бестолковая душа.

— Не люблю надрыва, — сказал Валерий Дух, — и вышел из Костевого дома, когда бабы взвыли за упокой — нездешне, как сирены.

Дух только что пришел из тюрьмы, где ежемесячно теперь были амнистии, потому что нечем было кормить зеков, и был тонко страдающим.

«Варвара. Визаут проблем!» — записал в свой блокнотик Чухрай. И эта его неосторожность, конечно же, не осталась незамеченной. Сомнения не было: раз записывает — значит кегебист. А поскольку кегебизм, абевегедизм, авангардизм... приобрели теперь мистически-иронический оттенок восприятия, то от нового поселенца неискушенных гамалиевцам запахло нечистым. Кто-то видел его копыта, кто-то хвост, кто-то — что он черным козлом притворялся, а то и ветром. Дошло до того, что и Варвара из-за него повесилась!

А Калинюк между тем действительно ходил вечерами по следам своего детства, ища себя, хотел найти самые выразительные образы, средства, чтоб, как линза, сжать этот мир реалий до мира иллюзий — и привести его к реалиям новым: более здоровым, более счастливым, более богатым. Снимал же когда-то Довженко гениальное кино об этих краях. Миру показывал. И понимал их мир. «Очень жаль, что моя отчизна — не отчизна моих детей», — опять подумалось сердцем.

Особенно боялась нового поселенца Попкова Стефка, которая и распужала по Гамалиевке слухи о его копытах, рогах и хвосте. На что баба Журиха лишь улыбалась, как рыба.

— И у него же крестик на шее, — говорил Кость. — Сам видел, когда он в нашем озере купался.

— Крестик... Такие Христа и на собственной шее распнут, — добавлял Шило.

— Креста без петли на шею тоже не повесишь, — ни с того ни с сего — Веник, который, может, менее всего боялся человека, поселившегося возле леса. Его так и называли гамалиевцы — Человек.

Веника недавно попросили быть дьяком-сторожем церкви, так он и согласился: в колхозе все равно работы не было, да и не платили. Поля лежали не засеянные, не оплодотворенные. А рядом с попом, который имел красивую машину, дом и модернизированные взгляды на «грех», хотелось жить. Длинный, медвежий, прокуренный Степан Лось медленно-медленно становился каким-то благочестивым, более светлым, невзрачно, невызывающе верующим. Сестра, с которой он жил, даже перестала его пилить — как из-за тихого испуга.

«Ты уже поднадоел Богу своими молитвами», — по-доброму смеялась она. Невзирая на свою веру, лечился Веник водкой с перцем. «Илья Пророк», — записал себе Чухрай, пронаблюдав за Степаном Лосем... И здесь же: «Не все от нервов, но вера у Бога точно от них».

Очень скоро к Человеку, побеждая себя в себе, потянулись самые бедные с Гамалиевки. Говорил же кто-то: Христос действовал через попрошайку, потому что их легче было подкупить... дав на сосуд вина. Зашептали, что у Человека есть деньжата, хотя жил он не богаче средних гамалиевцев: покупал у них картофель, капусту, любил есть сало с калиной. Платил на базаре хорошо, не торгуясь. Где брал деньги — не знал никто.

Говорят, даже рэкет к нему приезжал, так такой перепуганный убегал, что теперь мысль о наезде на Человека не хотела материализоваться у ни одной из мафий: ни Шило-Выварка-Кнырик, ни Лесник-Филипп Филиппович-Даниило Даниилович.

Поп Нифонт метался между этими двумя властными кланами Гамалиевки, будто крестился обеими руками.

Самая многочисленная «мафия» поселка — плебс — тоже делилась на сторонников Выварки и Филиппа Филипповича. Независимыми, казалось, были только «конченные алкоголики», пани Зося, баба Журиха и Лидия Ромашкевич — Богородица.

Поселковые профессиональные слетники во главе с Попковой Стефкой аж захлебывались от нашествия работы: то, мол, видели презервативы возле Нифонтового дома, а Витька Гуляйполе сушит презервативы и еще раз использует, мафия Филиппа Филипповича уже имеет счет в швейцарском банке, потому что продала японцам лес, а французам бычков... Что возводят они в лесу большой Публичный Дом на месте прежней начальственной «Лесной корчмы». А ма-

фия Выварки (отставного майора) связалась с одним нардепом, и они продают оружие и наркотики чеченцам.

Человек, который жил возле леса, не засчитывался к мафиям. Он был над... Он не от мира этого... И пока еще никто из сильных мира в Гамалиевке не осмелился предложить ему сотрудничество, так как существование определила судьба со случаем.

А когда Кнырик осмелился таки «по пьяни» заехать к Человеку, чтоб деликатно посвятить его в «тонкие дела» с «пользой взаимной», то уже Чухрая дома не застал.

### 3

Чухрай сидел уже дома у Президента и пил чай из трав, потому что ни кофе, ни спиртного с тех пор, как приехал на родину, не употреблял: акклиматизировался, срастался с землей, причащался, очищался.

— Вы, простите, насовсем к нам... к себе, то есть? — спросила дочка Президента.

— Навечно, — многозначительно улыбнулся тот, а про себя подумал: «Зря я нарушил кровью предков скрепленный договор с собой: не иметь никаких отношений с политической властью».

Это было другое: и Президент, и доярка Зоська, и Выварка были уже актерами его задуманного вечного Праздника, его Революции. Он изучал их, ему не нужно было от них ни денег, ни почести, ни славы. Он имел это все, но не от них. Они ему не помогали ничем, хотя молодой, наивный, он обращался не раз к мэрам и президентам, просил спонсировать его первые представления, фильмы. Он помнил их обещания, их улыбки. Презирал их. Это прошло быстро. Потом была пустота. Теперь — они его куклы, он экспериментирует, он извиняет им человеческие слабости. Он — Виктор Чухрай — опередил сам себя. И только его сердце знает, чего это ему стоило...

Храм должен стоять и в начале дороги. Чтоб увидеть абсолютное, нужно чтоб оно само на тебя обратило внимание, а чтоб большое — ты должен опробовать дух свой им. Сначала для парня без родителей из глухого лесного селения большой мир иллюзий и реалий казался правдивым абсурдом. Но без определенной частицы абсурда, возможно, не возникла бы сама жизнь. И если бы не он (такой глобальный) — оно бы еще долго оставалось в привычных нам формах-берегах.

Дочка Президента — подозрительно красивая женщина — очень заинтересовалась Режиссером. Ее большие грешные глаза... В них тихо опадали розы и дурели от собственных песен соловьи. Она поняла его глубоко, как он свое искусство, в котором жил, как хотел, потому что любил это дело, как и любовь, со своими представлениями о честности и порядочности. Дочка Президента писала Режиссеру письма. Так в конце XX века уже не эпистолярил никто. Называла его гением,

писала, что фильмы его — молитвы для нее. Режиссер задумчиво улыбался, представляя пергаментно-случайное лицо Президента, которого явно нервировала истовая тяга дочки к художнику. Но в праздничной святости своего увлечения она сама уже была властной художницей. Она хитро искала встречи с Чухраем, потому что ей уже мало было лишь чистых, как детская молитва, плодов его души...

Режиссеру же лень было, нет, не лень... просто, как и искусству, женщинам нужно отдаваться полностью. А он уже был занят, чувствовал, что не так много полноценного времени осталось для постановки того, без чего Большая Пустота заберет его суть после физической смерти. Миссию имеют не только же мессии. Учился радоваться приятным пустякам, а горевать от неприятного Большого: потопов, ураганов, войн. И то воспринимать их — как во сне, как на финише, от которого не стоит ожидать иллюзий, хотя сам Финиш — почти всегда иллюзия.

Художник всегда искушает мир/акулу собственной кровью, чтоб отдать ему/ей мясо выдуманных миров, критерием качества которых является способность к репродуктивности, стихийности.

Чухрай не отвечал на письма дочки Президента. Писал сценарий Дня Столицы, который сам и должен через месяц воплотить. Актеры сами приходили к Мастеру в гостиничный номер, пообщаться, в тайной надежде на роль, потому что желание — это просьба к интуиции. А он по вечерам ходил на представления столичных театров, присматривался к ним, выбирал. Актер — древняя профессия, как и проститутка, как и режиссура...

Город не боялся всемирно известного режиссера, наоборот — знал кто есть кто. Так называемая богема старалась сделать из него кумира. Он с отвращением смотрел на свой бронзовый бюст, но это было тоже своеобразное поклонение. Иногда ему казалось, что он подавал указательный палец тому, кто уже последний раз поднялся со дна, чтоб увидеть солнце и набрать воздуха.

Беззвездными, как свод гроба, ночами прислушивался к скрипу земной оси и размышлял над судьбой народа, через который варяги ходили в греки, монголы — к Папе, российский царь прорубался в Европу, еврейский красный коммунизм — к мировому господству. Почему другие народы рано или поздно заявляли о себе, а он когда же? Такой хороший шанс теперь. Либо через «глаз за глаз», либо через «подставление другой щеки», то есть: либо садизм, либо мазохизм. Садомазохизм — неконкретная сила создания государства, самоидентификации.

Когда на Днепр шел дождь (словно росли седые волосы), растительное самоощущение не побросало Калинюка. Он тогда заходил в гости к художнику Оперного театра, и они вместе молчали, ели брынзу, привезенную художником от родителей — из горного села. Иногда впускали к себе балерину-поэтессу, и та читала свои совсем неплохие стихотворения. Вчера, правда, полоснула себя ножиком по

запястью, предложив Режиссеру сделать индейское кровосмешение. Побледневший Режиссер прислонил свою темно-красную руку к руке балерины. Художник потерял сознание. Чухрай и балерина отдернули руки, которые уже срослись, — ринулись отливать сладкой водой хозяина мастерской, который потом сознался Режиссеру, что еще такой любви не видел.

«Глупое то все...» — махнул рукой Чухрай. Он сам не на шутку испугался брать на себя ответственность в этой правдивой игре природы. Благо, что через несколько дней балерина поехала жить в Югославию и с тех пор он ее не видел. Еще раз предавал данное себе слово не иметь дела с женщинами, но достаточно искорки, чтобы вспыхнула, как солома, целая планета, не то что копна дядькиного сена. В жизни от жизни не убережешься, как и от смерти. Лесбиянки — правда и ложь — праздновали свадьбу своих детей — художественных шедевров, созданных людьми для людей.

За старым (XVIII век) окном гостиницы «Адам» ходили с растянутой во времени и пространстве амплитудой туда-сюда демонстрации-манифестации шахтеров, коммунистов, националистов, скрытых фашистов... голубых, желтых и желто-голубых, голосами человеческих предков кричали описанные поэтами, а поэты вечно улетающие, журавли. Режиссер не читал газет, но ходил по церквям и на театральные представления, где со знанием дела, то есть тела и души, подбирал себе актеров для будущего фильма о Христе и Спартаке, о людях, к которым он вернулся, о себе.

Массовка у него будет своя — поселковая, сельская, а вот кто сыграет Христа, Пилата, маму Христа? А еще же есть Мария Магдалина, Клавдия Прокула — соблазнительница. Он не брал с собой «своих» звезд из-за океана, потому что хотел пережить зарождение христианства здесь, у себя, увидеть, насколько естественно, насколько лицемерно оно здесь. Оно, меч князя Владимира, мутная река Почайна. Именно здесь Христос распял Перуна, и Симаргла, и Мокошу, и Мария Магдалина Ладу не полюбила. Здесь, в провинции. Хотя нет провинциальной культуры. Культура либо есть, либо ее нет совсем. Провинциальной может быть лишь политическая власть. Снимать фильм в этих средневековых в двадцатом веке краях — это как играть на скрипке, едучи на диком коне. К сожалению, теперь село Калинюковых предков не давало культуры для города, оно наивно вбирало в себя роковой крик из бетона и стекла далеких, неукраинских, даже не славянских мегаполисов. И танцевало под музыку эту, даже платило за нее последним — яйцами курочки рябы, яблоками прадедовской груши, привитой «ученым» потомком.

Сердце вздрагивало, словно деревянный звон язычества. Между кесарем и гербом не слышать, не видеть было бога.

Зерно должно было умереть, чтобы дать новый урожай... где-то там — в осени христианства.



За окном гостиницы шли толпы детей — новоиспеченные пионеры-националисты. Ярко-адидасовский, тоже новоиспеченный, владелец кафе на первом этаже застеклял окно в нем — окно в Европу... Рекламный ролик какой-то певицы Мурлычко был явно талантливее, чем песня, которую навязчиво рекомендовал. Гармонию утренних звезд и ветра нарушали только люди.

Умирание весеннего снега давало много жижи, но часто жижей только и можно вымыть-вытереть руки или замазать печь (это к теме шлифования алмазных душ между низкими людьми): мудрому потолка достаточно, глупому неба мало.

В этом возрасте и состоянии Режиссера не нервировали уже относительные успехи других художников, заигрывать с политической властью он также бросил еще в молодом возрасте. И теперь у него хватало смелости быть веселым, невзирая на затяжные депрессии, — когда мир иллюзий дрался на смерть с миром реалий. Черная игла печали очищала от капельных симптомов звездной болезни. В такие дни он искал красивое, а не полезное, часто красивым была женщина: «одной рукой ты гладил мои волосы, другой топил на море корабли». Когда-то он с ними спал. После первого акта тайна из женщины исчезала. Тело каменело, как гнездо пингвина, а сердце искало распятия, мир казался скользким, как глаз, происходило раздвоение, заложенное в каждом человеке еще от роду: на родину мамы и родину отца...

Философски мудрым и психологически глупым казался себе.

К одиночеству уже привык, потому что каждый Художник одинок — от роду, не любит «гурьбы и телекамер». Но именно перед теле- или фотокамерой позируя, хорошо думать. Еще лучше — позирование перед наведенным на тебя ружьем. Художник — мазохист, политик — садист... Может, и поэтому Виктора Чухрая забрало кино... И не ясно было: он в кино, оно ли в нем. Христос несет крест, держит ли крест Христа.

От журналистов отмахивался молчанием, только раз на вопрос «почему он приехал снимать здесь, а не в Америке?» сказал, как себе: «Так мне подсказывает ангел-хранитель — единственный, кому я не плачу за комфорт тела...».

Со временем гостиничный номер начал казаться Режиссеру уютным склепиком. И он перебрался в «комнату для гостей» Оперного театра, шутил: «Чем дальше в лес, тем толще партизаны».

«Человеческая комедия» города разворачивалась перед ним во всей большой своей пустоте, пышности, истинности, динозавровости, бедности, претенциозности, подлинности.

Подводные реки интриг и интрижек городской знати выбивались из-под асфальта в самых неожиданных местах и пахли дустом.

Так кипела Азиопа.

Когда засуха — то работай-не работай на своей ниве, а толку будет мало, а то и никакого.

План Столицы и список его почтенных гостей, включая президентов больших государств, лежали перед Режиссером. Он, забавляясь, как шахматист, взялся расставлять их по местам, наделяя их своими словами и движениями.

1 апреля должен был состояться День Столицы.

Сегодня 20 марта.

Список актеров — участников Дня Столицы — тоже уже составлен им. Он знал даже их биографии с грешно-пикантными подробностями на крутых поворотах судьбы. С любознательностью профессионального сплетника наивысшей марки он изучал связи между представителями творчески-властной элиты города, где актер, что играл Христа на сцене Главного театра государства, сделал ребенка известной поэтессе, потом стал любовником претенциозно-пустой жены еврея-профессора. Редактор известного журнала спал с чистой, нежной, как прикосновение собственной слезы, юной балериной. Мэр с другом-генералом, начальником таможни, — перекачивали валюту в немецкие банки: а что же — экс-премьеру можно десятки миллионов долларов в Швейцарии держать, председателям колхозов «Мерседесы» и трехэтажные особняки покупать... когда студенты и пенсионеры несколько лет денег от так называемого государства вообще не видят.

Кино не снималось... актеры жадно желали ролей. Они еще не умели продавать, предлагать себя, но желание жить, выжить, «жизненный поток» толкал их — профессиональных лицедеев — на унижение, на поступок — как бабочки на огонь свечи или звезды...

В театральном институте профессора Шмульнсон, Шапсенсон и Боднарченко принимали экзамен, и по просьбе Чухрая тоже отбирали молоденьких актеров для массовой и не только. Шмульнсон «специализировался» на красивых девчонках, Шапсенсон — на мальчиках, а Боднарченко на бутылках, за которые ставил тройки даже «конченным шлангам».

Когда как-то на вокзале к Режиссеру подошел несчастный, словно душевный зек, солдатик и попросил «копейку на хлеб», у Чухрая «непрофессионально» сжалось сердце. Он дал солдату-ребенку гривну и подумал, что для воинов — охраны Пилата — ему нужны солдаты: он должен посетить воинскую часть. Это легче всего.

Нужно жить, как собака, чтобы творить, как Бог. Чувствовать железо так же, как дерево, которое качают ветрыта и старая ветриха. Когда — хочешь-не-хочешь, а имеешь вкус. Пасешь на воде лунные тени летучих мышей и бродячих мордастых котов, познаешь зло, бываешь злом — чтобы потом уметь со злом бороться, стремясь в гении, которые являются, говорят, ошибками природы, посредством которых природа, к сожалению, к счастью ли, полагает правило. Появляются монахи-спортсмены и полководцы-лирики, осмотнительный даже в раскаянии апостол Петр, который стал избранным, как и другие апостолы, как-то случайно, без особенных заслуг. А затем — приходит

счастливая смерть и целует тебя, покусывая, — как баба (агрессор доброты) папироску. И соединяются наивность и глубокомыслие. И археологи знания помогают мертвым вставать из своих могил. И, в конечном итоге, личность становится либо больше своей судьбы, либо меньше своей человечности. И души пророков — могилы опавших звезд. Подземные реки становятся небесными дорогами, над которыми деревья стряхивают листья, как старенькие маски шута, который убегает, убегает от безгрешных... Жизнь задувала дух народа, как кот задувает свечу.

## 4

В поселке постепенно все приближалось к своему началу: отключение света и природного газа втягивало его жителей в натурально-феодальный туман бытия. На больших, свежесложенных печах грелись коты и мыши. Как большая радость, пекся хлеб.

Редко какой автобус доедет до середины Гамалиевки.

Местные «апостолы» долавливали последних рыбин в озере, что разделяло Гамалиевку на большую и малую.

У главной самогонщицы — Попковой Стефки — неплохо шел мелкий бизнес: кто не имел денег, закладывал последние портки. За это Стефку называли «новой украинкой», и она горько улыбалась. Ее племянник возил водку продавать в столицу. На это и жили.

Последними событиями для поселка был приезд внучки Лидии Ромашкевич — негритянки Люси, которую снарядила к бабушке ее дочка Жанна с ее мужем пуэрториканцем Панчо, и демонстрация фильма «Иисус, сын Бога живого» с киножурналом «Есть ли жизнь на Земле?».

Фильм привез из столицы странный для гамалийчан Человек. Правда, наверно, они этого не знали — только догадывались, ведь никакого кино в их полуразвалившемся мышиноном клубе уже лет десять не было, как кстати, и самоубийц.

— Так ты пойдешь в это кино? Или? — спросил Даниил Данилович Филиппа Филипповича.

— Должен. Кино мериканское. Отказать нельзя, а то еще бомбить начнут... — ответил председатель сельсовета.

— А кто же его ставит?

— А хрен его знает, — привезли со столицы два мента и кинемеханик, на кегебиста похожий.

— А где наш новый поселенец?.. Говорил племянник Попковой Стефки, что якобы видел его в столице...

— Так вот, он, по-видимому, и наслал...

— Поживем — увидим. Пережили партию, переживем и Бога...

— Божье это, или какое-то другое, то еще неясно, — сказал Филипп Филиппович и занюхал стакан самогона головой друга. — Вон,

пани Зося уже жалуется, что усопшая Варвара к ней приходила вместе с тем Калинуком, что поселился возле леса и в столицу ездит. Повидимому, богатый до черта... Или от черта...

Наконец Даниил Данилович демонстративно съел стакан, и они пошли в клуб, который в этот вечер объединил друзей-врагов разных политических партий и религиозных концессий. Вышитая рубашка демократа-учителя Горуна попугайно выглядывала из-под тулупа, будто желала власти. Пацаны неумело дергали бройлерных девушек. Независимый, словно Украина, мельник Фортуна пришел с биноклем, который ему вместе с разборной мельницей подарил дед из Англии.

Лидия Ромашкевич долго сомневалась: идти или нет, но когда машина самого Нифонта подкатила к клубу, быстро оделась и побежала в клуб — как в церковь, что сделана со слезы.

«Уважаемые гамалийчане, сейчас вы увидите кино об Иисусе Христе, который... не слушался маму, а был верный своей идее и воскрес... ну вы сами знаете», — начал похожий на кегебиста кинемеханик, и кино началось.

— А я думал, что у него красивые волосы, — слышалось в темном зале, — а он рыжий...

— Потому что он жид. Ашкенази, — голос учительницы младших классов Рифмы Калениковны.

— А он хоть бабу знал? — говорил демократ Горун мельнику Фортуне.

— Ну, женатый не был. Точно. А так... Бог ему судья.

Бабы, тети, старые деды быстро-быстро крестились, а Попкова Стефка хотела даже поцеловать ногу Христа, но кадры менялись так быстро, что успевала чмокнуть лишь влажно грязное, задранное крысами полотно экрана.

Режиссер подошел к клубу тихо, незаметно. Следил за просмотром кино из будки кинемеханика. *«Здесь только время свое еще делает дело. У моих песен замерзли полюса. Малый Иисус. И еще малый Варрава. И крест — серебристая ветвь от росы. Портреты снов развешены без гвоздей. Танцует дождь со свечой в руке... А сфинксенята ежатся со страха, потому что видят фатум у мамы на лице. ...Это клуб сельский. Это фильм идет о казни. Дед крест кладет с окном себе на грудь. И капает слеза из рук Пилата. К тем, что в сотый раз Бога распнут»,* — вспомнились слова друга-поэта.

«Эти люди — как дети: жестокие, наивные, самонеорганизованные, — подумал Режиссер. — Как раз такие были в Палестине под Римом. Лучшей массовой не придумаешь».

Где-то кукарекал петух. Автономный дизель давал ток. Вот уже женщины волосами обмывают ноги Христа, а он: «Если кто придет ко мне и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и детей своих, тот не может быть моим учеником». Или — «Нищих (плохой перевод) всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете».

Но, в конце концов, в морали, как и в искусстве, слова ничего не значат, дело — все. Поэтому принципиально не пошел в кино об Иисусе лишь Маклуха Маклай, убедительно, традиционно считая его богохульным. Маклуха был прозрачный от молитвы и поста, фактически нервный, словно гола идея, которая пережила все стадии своего развития: возрождение, барокко, классицизм, романтизм, реализм, натурализм, символизм...

Отец Нифонт продумывал свою проповедь, которую ему однозначно придется провозглашать пастве после фильма. Во-первых, он скажет, что церковь когда-то, в пятнадцатом веке, восстала против книгопечатания, изобретенного Киолем, потом — против электричества, против трактора, теперь — против кодировки, Интернета, кино... Но рано или поздно была напечатана «Библия» без исбеэну, в храмах засветились электрические свечи, попы начали ездить за рулем наилучших машин.

Иисуса Христа распинают перед народами снова и снова: экраны, как и плащаницы, выдержат все — рыжее, черное, даже негритянское его подобие, даже христианские образы Будды, или Перуна, распятого на березовом кресте. Во-вторых, его тревожит тот странный человек, что купил дом на краю села. Он должен при всем народе объявить его злым, но он должен точно знать — кто этот богатый чужак с лицом ребенка и телом жреца. Это же и кино о Христе однозначно привезено сюда из его легкой руки. Кто стоит за ним? Нужно обязательно выйти на епископа... Смесь из пустоты и меланхолии обвила естество иеромонаха.

\* \* \*

Когда Христос уже висел на кресте, говоря «Или, или, лама савахвани!», в клубе пропал свет. Не успели люди опомниться, когда из усилителей, как штукатурка, упал на всех грубо кованый голос Выварки: «Мужики и бабы! Прошу оплатить аренду клуба, потому что он уже приватизирован!».

После паузы в полной темноте клуб загудел, как рой. Кто-то зажег свечу. Валера Дух прорезал напряженную темень болезненно желтым лучом фонаря.

У выхода стояла вся поселковая наркомаково-таможенная мафия: Кнырик, Шило и Выварка.

— Все ясно? — спросил Кнырик, щелкнув не то курком ружья, не то кованым каблуком...

Кинемеханик достал откуда-то «калашник» и вопросительно посмотрел на Режиссера, который стоял возле него, невидимый для народа.

Режиссер молчал.

Кинемеханик вынул из своего кармана гранату и тоже положил возле кинопроектора.

— Ребята, спо-о-кой-но! — послышался козлиный окрик Филиппа Филипповича, и неизвестно было, кому он был адресован.

Решение нужно было принимать сразу: кто-то из зала обязательно сейчас опомнится — и может начаться...

«Тяжело в деревне без нагана», — сжато выдал на-гора Валерий Дух и вынул из-под тулупа обрез.

— Скажи, что «киношники» заплатят за аренду клуба, — шепнул Режиссер киномеханику-охраннику.

— Ясно, — ответил тот и высунулся в окно, откуда должен был быть луч, который нес Христа, креста, первых христиан... — Мы платим за все.

— Кто это мы? — старушечьим голосом задрезжал Шило.

— Киномеханики...

— Спускайся, — махнул рукой Выварка, не ожидая такого поворота, и спонтанно выдумывая сумму.

— Соглашайся на все, — сказал киномеханику Режиссер, профессионально улыгнувшись.

Подобный на телохранилителя киномеханик стоял среди спичечно-свечных огоньков, как грозовое небо среди какого-то нечетко очерченного созвездия.

— Сто тысяч!.. — крикнул Кнырик, утешившись, что не назвал, каких денег...

— Подождите пять минут, — сказал киномеханик и пошел в будку к Режиссеру, который сразу же выдал ему двадцать тысяч долларов.

Действительно, через пять минут киномеханик вышел в зал:

— Вот вам двадцать тысяч зеленых, капуста... Кому?

Шило толкнул между ребра Выварку: мол, иди, бери. Выварка с плохо скрытой нервозностью взял деньги, подошел к своей компании.

— Мужики, чем-то недобрый здесь веет... — сказал Кнырик. — Зажигай лампу! — Махнул рукой кому-то при входе.

Свет появился.

Охранник пустил копьём кровь из-под ребра Иисуса Христа, убедившись, что он уже отдал душу Отцу своему.

И здесь сорвалась пани Зося:

— Ни фиги себе! Шило, а ну давай деньги за молоко! — с наивной жестокостью в голосе заявила она.

— Ага-га-га! — разгульно загудело в клубе. — За молоко! Три года уже! Кулачье!

На белой простыни-экране надвое разорвалась, разверзлась штора. Киношные небеса сделались лиловыми.

— Бей их! — неуверенно крикнул мельник Фортуна, тонкими устами лова красные следы своих слов во вспотевшем, прокуренно-самогонном воздухе старого, как церковь, клуба.

Поднялся старший сын лесника — Николай Боян, за ним — широкоплечим, высоким — Филипп Филиппович и Даниил Данилович: одна банда (Шило, Выварка, Кнырик) стояла напротив другой, психоло-

гическим центром которой был сын лесника, философским — Филипп Филиппович, экономическим — начальник колхоза Даниил Данилович. Между этими мафиями родилась дуга — народ, который, как известно, «когда сытый, то спит, как скотина». Но он был голоден, холоден, а поэтому...

\* \* \*

«Ему кости ломать не будут!». Потом Иосиф с Архиматеи, ученик Иисуса, но скрытый, — потому что боялся иудеев, — стал просить Пилата, чтобы тело Иисуса взять. И позволил Пилат. Поэтому пришел он, и взял тело Иисуса. Прибыл также и Никодим, — что раньше приходил ночью к Иисусу, — и смирну принес, с елеем смешанную, литров сто. Так вот, взяли они тело Иисуса, да и обернули его плащаницей с ароматами, какой есть обычай хоронить у иудеев. На том месте, где Он был распят, находился сад, а в саду новый гроб, в котором никто никогда не лежал...».

И смотрели все кино. И в неуютно облезлом помещении елеяно запахло смирной и ладаном. Казалось, что большой гипнотизер — большой социальный психолог — усмирил людей, между которыми вот-вот должна была вспыхнуть искра звериного неповиновения самим себе, природе.

Дала знать генетическая богобоязненность самых стихийных жителей Гамалиевки, глухая усталость бедно-серых, измученных, коренных, словно калган, людей, которые в экзистенциальные моменты становились ветряно-безвольными, звездно-тихими, безгрешно-безгрешными.

Христианский натурализм их телесных душ и душевных тел, законченно, оформлено искал резервы для революции, — и не находил: третий парламент не справлялся с самим собой, не то что — с народом. Больше выбирать, казалось, не было из кого. Не хватало национального семенного материала. Нужен был стресс для нации и отдельной единицы, группы единиц, как генератор, тот, кто бы первый бросил камень.

В клубе наступило виноватое молчание.

— Слушай, — шепнул Веник Костю Гавуре. — Твоя Варвара вчера мне снилась, пришла ко мне.

— То любовь...

— Э, — махнул рукой Степан Лось.

Кнырик вспомнил о том странном человеке, с которым давно хотел познакомиться.

Решил пойти к нему опять с Шилом и Вываркой. Притягивает его этот человек. «А это вот рабское быдло пусть живет: так как известно, что никто так не издевается над дураком, как он сам над собой. Пусть борются со своими тенями...».

На экране воскресал Иисус Христос: «А дня первого в воскресенье рано утром, когда еще темно было, пришла Мария Магдалина к гробу, да и видит, что камень от гроба отвален...».

— Деньги за молоко! — неожиданно воскликнула опьяневшая пани Зося.

— Приходите завтра в контору! — крикнул из будки киномеханик, потому что Режиссер уже шел к своему дому с твердым желанием ехать завтра в Столицу — ставить праздник. Но что делать здесь? Здесь и там должно было что-то выйти на более глубокий, чем обычно, партийный, привычный уровень. Должен был сработать инстинкт (то есть звериное), или религиозное, ритуальное...

Режиссер не ставил перед собой политических целей. Перед ним вырисовывался теперь другой сценарий фильма: распятый Спартак, маленький Христос... матери, и жены и детей, и братьев, и сестер, и при том всей жизни своей, тот не может быть моим учеником... Путь к апофеозу лежит через эшафот. «Нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете».

В доме Калинюка пахло сосной. Звучала японская народная музыка.

## 5

Столица ожидала своего Дня.

Возле храмов уже стояли военные полевые кухни, в которых должна была вариться каша для бедных, актеры готовились смешить себя и людей — в ярких костюмах на сером фоне. Высокие и маленькие чиновники перечитывали свои (не ими написанные) речи. Главный пивоваренный завод страны заготовил несколько бочек пива «для народа, на гуляния», — бесплатно. Даже прошло- и позапрошлогодние «миски» мылись и подкрашивались, чтобы быть, так сказать, самими собой, или не самими собой.

Дружинники расстреливали в городе блудных собак, не завязывая им глаза черными повязками. Голубей и так в последнее время почему-то было очень мало.

По телевизору выступал Президент и рассмешил умников фразой: «Если все будет хорошо, то в 2005 году мы выйдем на уровень девяносто первого».

Подземные реки под Столицей, казалось, затопили подземные дороги — всякая адская нечисть повылезала на асфальт и травы, рождая вокруг пепел и кровь. И чтоб их, как и муху на себе, прибить, нужно было ударить и себя, выйдя из каких-то, не известных до сих пор, источников, ведь секс и церковь сильно приелись уже в конце двадцатого века.

Клетчато-пустой идолизм эстрадных звезд, которые пели ни о чем, не обещал никакого полета ни для душ, ни для тел тех, что слушали, видели, нюхали.



Нужно было какое-то Духовное Дерево, которое переделывает общественный углекислый газ на животворный кислород. Дерево Знания на эту роль не тянуло теперь... Дерево Веры? Силы? Нежности? Любви? На какой почве прорастут плоды его? Предпраздничные дни были урожайными для мусорщика Леона Гайдеровского. Биологический будильник поднимал его в шесть утра. Леон брал свой зеленый («очень ценный, потому что похож на военный») рюкзак и шел по центральным мусорникам города, в которых было все необходимое для существования тела и необычной радости души грибника, охотника, рыболова: объедки, окурки, опивки, очитки книг и газет...

«Бери от жизни все, но не забывай, где взял», — афористически подавал свою житейскую философию Леон, надевая заячью маску на лицо, спортивный костюм — и творчески зарывался в старые (импрессионистические, романтические) и новые (кап- и соцреалистические) мусорники, пугая ворон, мордастых котят, породистых дворняг и собак задрипанных испанских пород. Некоторые огрызались.

Набрав полный рюкзак, Гайдеровский шел в маленькую, оставленную ему столетней тетей комнатку-конурку, из которой лишь под вечер выходил в действительно шикарном смокинге и шел мимо тех же мусорников тщеславно, красиво, художественно к Оперному театру, где слушал «Цыганского барона», «Лебединое озеро». На все его пускали бесплатно, потому что вел Леон себя очень учтиво, правильно, внимательно. Его можно было объявлять почетным посетителем.

Калинюк заметил его, когда тот поднял окуроч папиросы, случайно подоженный Режиссером (вообще он не курил) и брошенный мимо урны, потому что был сильный ветер. А затем это же бледное, чувствительное лицо — в ложе Оперного. Поражала двуликость...

Представлял его в роли Пилата. Подошел познакомиться. Гайдеровский плакал. Виногато вытер большую, как церковь, слезу: «Простите, это у меня бывает. Не от жалости — от высокого», — говорил.

— Ничего, плачут, как правило, сильные. Говорят, если ты не умеешь плакать, то никогда не будешь счастливым, не будешь знать — что оно такое — счастье.

— Говорят, за счастье свое, своего рода-племени, землян... и бороться нужно... Не знаю...

— По-вашему, важнее свою душу сберечь...

— Да, именно так — а не навязывать кому-то свое виденье стиля, вида, нормы.

— Но тогда...

— Что?.. Мудрости, ребячества недостает нам всем, кажется... наивности зверей...

— Жестокой наивности, — сказал режиссер и набрал в легкие воздуха, чтоб спросить о мусорниках, зная уже, что Пилата из Леона Гайдеровского не выйдет, но тот сам опередил его:

— Вы думаете, мне просто было первый раз залезть в мусорник? Падать не менее тяжело, чем взлетать...

— Да, но лучше лететь кораблем, чем плыть самолетом — подумал я, когда перелетал Атлантический океан из Нового Йорка...

— В сорок пять каждый должен уже играть самого себя, — добил свою слезу порезанным бутылкой пальцем Леон.

— А вы хотели бы сниматься в кино? — неожиданно для самого себя спросил Гайдеровский.

— Нет...

— А за деньги?

— Какие деньги? Сумма, то есть...

— Ну, сто тысяч, например... долларов.

— Смог бы, и за миллион, но я плохой актер, то есть я не-актер.

— Вам нужно будет лишь умыть свои руки перед человеческой толпой.

— Ха-ха, — в себя улыбнулся оперный мусорщик, вырезав ямку на своем подбородке, поскольку рот его по типичной привычке редкозубых людей почти не принимал участия в выражении эмоций.

— Это все равно выйдет смешно, пародийно, а Христос, как и все фанаты, одержимые, не смеялся... Говорил. Но не смеялся. Это будет пародия. Пародия на Библию.

Последнее слово Леон однозначно вымолвил с большой буквы.

— Ну хорошо, но хоть в параде в честь Дня Столицы ты примешь участие?

— Надеюсь — не в военном?

— Нет.

— А что — буду кричать «Слава Украине» навстречу воинам УПА или цеху пивоваров?

Режиссер, как снайпер, выбирал цель из тысяч возможных вероятностей — и не мог найти место Леону Гайдеровскому на «своем» празднике. Президенту, мэру, генералам и красавицам мог, а ему...

— Я буду сам собой, — пожалел его мусорщик. — Мусорщиком, который имеет вместо того места, где у других религия, — поэзию, театр. А то, что я конкурирую с бездомными собаками, которые так и не стали волками и хитрыми воронами, — ничего это, так сказать, не символизирует. Мне далеко до них в естественности, а значит, — в божественности.

— А вы максималист! У вас высокие регистры, — с видом опытного ученика ответил Чухрай и протянул собеседнику свою визитку.

Гайдеровский взял, написал на ней свой адрес и отдал Калинюку: «Найдешь меня, если буду нужен... Ну, я пошел...». И в самом деле, пошел — как дерево, производящее кислород из углекислого газа, благородный, а значит — мудрый. Пьяный — как святой.

Режиссер не возвращал его, хотя еще вчера он, наверно, что-то придумывал бы, а сегодня ему назначила встречу одна из пустых и модельно красивых авантюристок города Лилиана Пантюк, молодой и талантливый муж которой — профессор Глусь поехал на симпозиум в Грецию по проблемам античной литературы, а она завела роман с

шармовым, как птичье молоко, артистом драматического театра, который в самом деле играл роль Христа, а вне сцены сделал ребенка местной поэтессе. Там этот ребенок безотцовщиной и растет...

Лилиана любила блотный блеск дешевого успеха. И только нехватка естественного глубинного ума мешала ей быть чем-то более настоящим и сочным, чем она была. Хотя — женщина, как и поэзия, «должна быть глуповатой». «Ну, то есть, это не каждый поймет», — говорил ее законный муж.

Сладкая стержовность ее натуры выходила из берегов и желала силы, власти, информации, денег, зависти... Наклеывался типаж Клавдии Прокулы — жены Пилата. Да и не возбуждался так Виктор Чухрай, честно говоря, уже давно. Белое, но сыто загоревшее, твердое тело этой юной женщины, с ветром, казалось, точеными ногами и неосмотрительно ироническими устами тянуло к себе, в себя, за собой, как невидимая сила тянет в заокеанские края журавлей. Так интересует, возможно, записка в бутылке, что похожа на качающееся тело увлажненной самки, жизненное credo которой: «Честь хранят, а славу добывают». Как все «выскочки», она была сексуальна.

Режиссеру нужна была Артистка, которая бы искушала Христа. И он, казалось, ее нашел. Не баба, как та же пани Зося, а дама, в контексте которой сбывается количественно-качественная художественная сюжетная формула: «Один мужчина — лирика, двое мужчин — баллада, мужчина плюс одна женщина — новелла, две женщины и один мужчина — роман, двое мужчин и одна женщина — драма, два мужчины плюс две женщины — комедия».

Хошь-не-хошь, так или иначе — а выходила комедия.

Какое-то неожиданное, не известное давно беспокойство нашло на Режиссера: что-то нужно было изменить. И он сделал это.

Долго перед этим ходил между могилами древних, как звезды, предков. Чувствовал, что сам должен быть похоронен не где-то там — за океаном, в океане, а именно здесь — возле родных, где и родился когда-то.

Жизнь на генетической родине безбожно мучила, расшатывала его, казалось, естественный, как стакан синего самогона, словно квадратные глаза небоскрегов, сценарий, она засасывала его. Она была сильнее, более стеклянной, чем искусство. И Режиссер испугался, а затем нечаянно обрадовался своему страху, что он опять соединится со своими односельчанами, которые немного боялись его: начнет меньше бесплодно думать над мироустройством, немного реже бриться, раньше вставать, коптить на яблоневого смерти колбасу, сексуально доить хитроватую корову, есть пироги с маком и туповато петь о прошлом, все чаще притупляя ясное сердце самокрутками и самогонярой, а не книжками, кинолентами...

Взялся еще раз перечитывать историю развития, расцвета и падения Римской Империи. Нервничал. Не спал. Режиссированный им

День Города то опять напоминал ему карнавалы в Рио-де-Жанейро — с грубастиком Мамбу, то нацистско-сталинские парады с провинциальным налетом фантазии. Но — нет провинциальной культуры, хотя есть провинциальная власть...

За океан теперь совсем не хотелось, а жена с детьми «ни за какие деньги» не хотела ехать сюда.

Познай себя — и очень скучно станет...

Город казался маленьким и пустым. Нужно было ту пустоту заполнять — словно пить молоко святой в городе Архангельске. В селе тоже было пусто. В далекой богатой пока еще стране, где он достиг славы и денег, — еще пустынее. Там не было Бога...

Мускулистые, накачанные христы висели на золотых цепях часто-часто: черные, белые, желтые, но не было чего-то. А еще — кукольный, искусственный, нарочитый смех, хоры монахов. Густая печаль. Хочешь погасить свечу — сначала поклонись ей. Но свечи же химические — парафиновые. Все здесь химическое.

На берегу реки — мальчик. С компьютером. Вычислил, сколько он сегодня поймает золотых рыбин.

Показать бы этот распад Большой Империи не через человеческую душу, а глазами какого-то kota Малира...

Чем дальше жил Режиссер, тем больше хотелось ему не искусства для искусства, за которое он стал очень знаменитым там, — а изменить искусством жизнь этих людей, своих земляков, заставить их думать, бороться — даже против него — Режиссера.

Мэры, президенты уже ходят по его сценарию по грешной земле — пусть один день, пусть понимая, что искусство более вечно, но... это не радует Режиссера. Он перерос давно с возрастом эти смешные претензии.

Тяжелее было заронить искру, обжигающую каплю стихийно-упрямой слезы в тех, кого римляне называли племсом.

И пусть с каждой победой линия горизонта опять отдаляется от него, пусть направления поиска счастья меняются: то оно, кажется, в прошлом ребенка, то в стекловатном будущем. Пусть.

Борьба с жизнью напоминала Режиссеру борьбу нервного человека с мухой. Сколько раз переступал он уже через свое не могу — а что вышло из этого? Он познал ритуал творения иллюзии, будто со стороны видел беспобедную борьбу инстинкта с истиной, а теперь уже, когда недостатки стареющего тела компенсировались биологическими мозговыми реакциями опыта, начал понимать, что ничего не понимает, что любит страх, что перешел уже границу страха, что знает интуитивно, априори — как изменить мир, приблизив его к цветам, запахам, звукам своих иллюзий, но не знает, стоит ли. Но не нашел молодого ученика, который бы имел энергию воплотить это. А он, Режиссер, сегодня плюнет на все: на этот древний украинский город, на несчастную Америку, которая не имела детства... Он сегодня поедет в

дремуче родное село, в землю которого когда-то ляжет (потому что если уже ложиться в землю, то хотя бы в родную), а как лететь — то уже в общий космос.

Сколько ни задумывался над особенностями общественного устройства (не говоря уже о миро-), не находил более мудрого ключа, чем в той притче об аде и рае, больших ложках и людях, которые не могли те ложки донести до ртов в раю, а в раю — додумались кормить друг друга теми же ложками... Вот и вся разница. Вот и весь секрет общественного счастья — от рай-онного до рай-ского масштаба.

Объединяет людей искусство, церковь, вино, общий враг. Они же и разъединяют. Человек (ребенок?) счастлив до тех пор, пока не увидел, почувствовал более счастливого (более богатого, более красивого, более здорового), а дальше — чтоб жить, нужно перейти границу страха. И пофиг все. И милая суета. Для цыгана и еврея, чукчи и француза...

Вспоминал, что проще всего, светлее всего: полынный ветерок, уста сельской девушки-пастушки, конь, который шептал человеческим голосом траве, свадебный танец аистов с орлами, евангелие от Вия.

Чтобы написать, создать что-то стоящее, нужна была тюрьма. Так крещеный жид Мигель де Сервантес Сааведра написал своего бессмертно чувствительного рыцаря — рыцаря печального образа — после того, как его не впустили в Америку, а запихнули в тюрьму: огромное пространство перспективной жизненной реальности сфокусировалось во внутренне зарешеченную песню печали тюремного сердца. И все. И вышел духовный подвиг, откровение.

Жизнь со вкусом вряд ли приведет к такому. Чтобы лететь — нужно распыться: как журавель в небе.

## 6

— Все! Еду в Грецию, в Чехию, в Польшу — хрен знает куда. Я в жопе имела эту... страну, это государство... и эту себя! — кричала, согретая утром кружкой бражки, пани Зося. — Читала вчера вечером «Тихий Дон» Шолохова, так это же тихий ужас! Как о нас написано!

— Да-да, — пока кровь не прольется, то не будет толку, — кивает за своим столом председатель сельсовета Филипп Филиппович. — Смотри — в Прибалтике немножко постреляли — и дела пошли. Только мы не властные над собой.

— Гнием! — сказал старший сын Выварки Николай Боюн — лесник, который давно рассорился с отцом и больше пропадал в компании Филиппа Филипповича и Даниила Даниловича, чем Шила, Книрика и Выварки.

У него, еще совсем молодого, тридцатилетнего, женившегося в двадцать восемь на пятнадцатилетней Клаве Опейде, болело сердце. Он пил втемную, пропивая лес и свое тело. Пил все: самогон

из калины, самогон из сосны, самогон из дождя, ветра, земли, тертых звезд. Его старший брат — Петр — был директором школы, из той породы интеллигентов, которые едят вилкой и ножом не только на людях, но и в одиночестве.

Гуляющий отставной майор Выварка — отец братьев — больше времени пропадал у своей «бабы», которая жила, как и Режиссер, на краю села, и немного пах нафталином дом ее, но сердце пенилось древесной кровью инстинкта. Это был последний уют под нитью горизонта для уставшего от жизни Выварки. Граница отдалялась и отдалялась — чем ближе он подходил к ней.

Но, опять же, чтобы лететь, нужно было распятыся, только не слишком высоко поднимать руки, потому что даже распятый Христос выглядел бы — будто он сдался...

Выварка переступил через себя — так выгонял из жил страх, что накопился на протяжении тысячелетий. Он смешивал масло с водой: кровавый бунт и бледную, почти циничную деловитость отца семьи и леса. Масло с водой хоть и стояли отдельно, но их объединяла одна чаша — его душевная плоть, которая совершенную печаль убивала деньгами, дорогой, грехом, словом, из которого, как из пластилина, можно было лепить солнечных зайчиков, а можно... ничего не лепить. От военного в прежнем майоре остался разве что тяга к самоотуплению, что, как известно, тяжелее, интереснее, чем самоусовершенствование, а еще — боязнь радости, то есть вышколенное, почти ритуальное ее сдерживание, когда она подкатывает к горлу. Хотелось хлеба, а не закусок — то есть поэзии жизни, а не жизни поэзии. Свечи таких душ задувает не ветер, они сами себя своим же воском заливают.

Выварка после освобождения со службы в Афгане был управляющим хозяйством тайного домика для отдыха партийного начальства разных уровней «Лесной кабак», лесничества его младшего сына. Теперь «Кабак» ожидал своего Вия, потому что мертвоспящая ведьма в паутиных пространствах этого времени уже вздрагивала.

Кот Малир, который привык видеть и слышать здесь матерых начальников, и сам чувствовал себя хозяином, спокойным, почти нахальным — как те кастрированные заграничные. Хотя Малир был при своих интересах...

Его поили березовым молоком, кормили шашлыками и плавлеными, как белое тело, сырами. Он знал свои права и обязанности. Зимой стерег мышей «Лесного кабака» и жаб ближайших околиц. Казалось, его уважали белки и горлицы. Иногда дразнили его сельские пастушки, дети начальников, которым очень хотелось ловить рыбу в пруду, специально загаченном рыбой до отрыжки, с расчетом компьютера... А пруд этот стерег какой-то Симань, которому начальство подарило даже авто за верную службу, а пустили слух, что он в лотерею тот «Москвич» выиграл. Малир не любил Симаня, но теперь это уже не суть важно, потому что все изменилось: не едут сюда красные на-

чальники, опустел кабак. Становилось менее человечно, зато более естественно. И Малир — лесной советский котяр — предки которого одомашнены были еще в Египте, где и забальзамированы... ангорские, персидские, сибирские, сямские, бесхвостые, становился сам собой.

Ему еще снились глуповатые, слабые котяры, которыми всегда казались люди. Люди-коты, несчастные, глухие, слепые, ночью вонючие и толстые, они теперь все реже посещали лесной кабак, совсем забыли о нем, Малире, и занимались чем-то своим, анархически-диффузионным.

Малир дичал, возвращался к свободе-природе — от людей, от зависимости. У него не было больше бараньих шашлыков, гущенного, как воск, молока, уверенности в завтрашнем дне, но к нему теперь очень близко были ветер и звезды, трава, крик улетающих, прилетающих и нерожденных птиц, голод его и любовь. Он гулял сам по себе и не хотел вспоминать своего опущения перед котами-выродками — людьми. Он даже покинул «Лесной кабак» и жил в благоухающем дупле старой ели. В кабаке лишь охотился на мышей. На сон молился своему богу, крестчатым деревьям и недавно заметил, как некоторые его соседи-звери начали желать ему доброй охоты. Он тоже пожелал белке, барсуку... даже лягушке из пруда, где вчера поймал рыбу.

Выварка так же. Но не молился. Не хотел тревожить Творца. Надеялся на себя, одинокий, словно бабочка во Вселенной, где лягушья икра звезд ожидает своего оплодотворения или самооплодотворения. Он, казалось, не видел мира — как воды, лишь слышал шум ее/его.

Все чаще переступал через не-могу, и это было интересно и смешно: «ха-ха-хо»! И путем — дао — цинично представлялся пище-вод: не больше и не меньше.

Звонил прежнему секретарю по рай-кому (кому?) Кнырику и голове сельпо — Шилу. Они считали себя будущим этого времени-пространства, а Филиппа Филипповича и Даниила Данииловича — вчерашним, и, создав свою мафию, старались утвердиться в этой стихии, в этом вихре событий, который нес все и вся неведомо куда, с корнями, цветом, зеленым плодом...

Так в Гамалиевке, словно две капли росы в позднем октябре, оформились две банды, которые пока еще сами не знали, чего им нужно, но выразительно нуждались друг в друге, как когда-то Америка в Советском Союзе — для удержания себя в форме, для равновесия полета.

Все другие — пани Зося, Веник, Лидия Ромашкевич, Коля Ткач, Попкова Стефка, Валерий Дух, даже иеромонах Нифонт — были одинокими в своей борьбе за существование.

Пани Зося собиралась «на заработки за границу», Лидия Ромашкевич постилась, молилась, воспитывала внуков, сажала огород, Попкова Стефка сплетничала и вечно лечилась. Юзик косил траву... Коля

Ткач сделался классным таксистом и ездил, ездил — словно убегал от самого себя. А иеромонах Нифонт подрабатывал на проживание торговлей иконами, считая, что две ошибки сделала Украина в первые годы независимости своей: внешнеполитическую — отказалась от ядерного оружия, внутреннюю — оставила коммунистов при власти.

Две банды боролись за будущую власть, за души, которые были вне их...

7

И тут пришел Режиссер.

Он хотел увидеть и показать другим единство ниточки свечи и пестика лилии, мышц Христа и души Спартака, динозаврового крика и плача самого современного Компьютера, пластмассовых джунглей Нью-Йорка, виденных через линзу слезы, джунглей травяных — на могилах его пращуров, прапращуров пращуров его.

После постановки Дня Города сценарий его фильма, автором которого он сам и был, трансформировался, стал сюрреалистическим. Чухрай задумал поставить фильм-встречу двух огней, двух восставших — Спартака и Христа, при том, будто одним из разбойников, предназначенных для распятия-полета вместе с Христом и был Спартак, и будто перед распятием, ночью, между ними был разговор, диалог, который будто приснился Чухраю еще там, в Америке, когда мука его становилась нестерпимой, словно в месте слияния мира Маркеса и Маркса. Останавливалось (хотя в этот момент быстрее всего шло) время, в объятиях которого каменеют даже деревья.

Вот он, мнимый диалог Спартака и Христа:

СПАРТАК. А знаешь, я по возрасту гожусь тебе в деда. Слушай, а может, я и являюсь дедом твоим, я, рожденный за 72 года до появления в мире тебя?

ХРИСТОС. Вы из Фракии, я из Палестины... Хорошо. Я вас буду называть дедом. Знаю, что во время войны римлян с фракийцами вы попали в плен к римлянам и были проданы в рабство. Потом — школа гладиаторов...

СПАРТАК. Да. У меня было совершенное тело... Это было в Катуйи. Нас кормили хлебом для зрелищ. Нам давали даже женщин. Но мы каждый день, мгновение были готовы не быть.

ХРИСТОС. Так вы созрели до свободы. За вами пошли еще семьдесят гладиаторов. Все вы убежали на Везувий, где уже выросли до десяти тысяч...

СПАРТАК. Да. К нам, как к куску глины, присоединялись такие же беглецы, рабыни и свободные арендаторы. Мы сделали армию по римскому образцу...

ХРИСТОС. Факты, факты... Это уже история. А вот...

СПАРТАК. Тебя интересует внутреннее? Оно — в тебе. Ты же — мое продолжение... Хотя ты не хотел...



(Здесь Режиссер подумал о духовном восстании Шевченко и его деда-гайдамака. Напрашивались мистические параллели.)

Поэтому ты не хотел возвращаться ко мне, а лишь продолжать: когда тебя брали, «тогда Симон Петр, меч имея, выхватил его и рубанул первосвященника, — и отсек правое ухо ему! А раба имя было Малх». И ты сказал Петру: «Вложи меч в ножны! Не должен ли я пить ту чашу, что Отец дал мне?»

ХРИСТОС. Так писали...

СПАРТАК. Писали о тебе. А ты — ничего. Временами даже бродили сплетни о твоей неграмотности. Где твои автографы?

ХРИСТОС. Ты ведь тоже писал кровью...

СПАРТАК. Я жил, а ты...

ХРИСТОС. Красиво умирал, чтобы потом воскреснуть. Потому что лишь тот может воскреснуть к вечной жизни, кто умер.

СПАРТАК. Я также умер...

(Режиссер учуял запах воска. И вообще, если сравнивать язычество с христианством — то это как — Солнце и свеча. Река человеческой истории немного постарела, меньше стало буйства, полноводья. Вода устала. Первый раз. Потому что еще течь и течь. Рабовладельцу играть роль раба, поэтам — молиться крестчатым деревьям, служанкам двадцатого века поливать искусственные цветы своих хозяек, сельским мальчикам облизываться, подсматривая стыдливо секс быка с коровой, скрещиваться калине с пальмой, еврею с цыганом, запаху табака с запахом молока, в самоубийстве птички видеть присутствие Бога, а в очертаниях американских кладбищ ретро — или перспективу восточноевропейских городов, в слезе — росу и наоборот...)

ХРИСТОС. Но ты не верил в воскресенье...

СПАРТАК. Моя смертность, как и смертность каждого, не исключает существования, а то и бессмертности более Высокого, Сущего.

Христос улыбнулся. Он вообще в последнее время больше молчал...

Режиссер же смотрел фильмы своих коллег о Марии-Девелесбиянке, об ангеле-охраннике, о неслышно-невидимом ходе времени, о бытии по основному принципу сущего: родился сам — помоги другому.

Спартак ярился. Его мысли и слова относительно Христа становились жесткими, даже жестокими...

СПАРТАК. Ну хорошо, тебя также распяли — значит было за что, наверно. Почувствовал ли ты хоть сам жизнь? Мужик ли ты? Мальчик? Голубой? От родственников отказался, от родины также, не говоря уже о твоих детях, которых ты, может, и не мог иметь. Вместо всего этого что? Иллюзия счастья? Обман. Даже если правда, то, например, не для меня, потому что я хочу вечного покоя, а не вечного кайфа. Я достаточно пожил, сочно, а ты?

(Христос молчал).

Ты, кто ратовал за непротивление злу насилеием, из тебя делают мученика, а зарабатывал ли ты в поте лица хлеб свой? Не распял ли ты естественных, языческих богов молодых и старых народов?..

ХРИСТОС. Луна бывает такой большой, как Солнце, но Солнце — никогда таким, как Луна...

СПАРТАК. Ты опять говоришь притчами... Ты же не умеешь хорошо смеяться? Ты убегаешь от реальности. Ты не любишь природы, лишь человека-раба.

ХРИСТОС. Вы во всем правы... Но, к сожалению, я — ваше продолжение. И не вина моя в этом и не заслуга.

Режиссер знал и антилегенды о Христе. Якобы он был сыном Марии и римского солдата Пантеры и за чародейство был забит камнями. Чувствовал, как по-разному относились к его образу большие мыслители всех времен и народов: Лев Толстой видел в нем моральный идеал, Эрнест Ренан — героя-страдника, многие — революционер-бунтаря, церковь — святого, вариант легенды о Будде, мифология — подобие культуре Осириса...

Действительно, и конец Спартака на границе Апулии и Лукании, когда он пробовал переправить свою армию в Сицилию и был разбит армией Красса, и конец Христа — однозначно похожи.

Как и восстание Спартака, так и восстания Христа парадоксальным образом ускоряли укрепление в Риме имперской формы власти, чтобы сберечь, продержат еще немного рабовладельческий строй.

Так было тогда, так было в московско-советской империи, так происходит сейчас в американской. Все империи держатся на рабах. Римская... московская — на Гулагах, немецкая — на концентрационных лагерях, американская — на нелегалах из всех стран. Нелегалы полностью бесправны, а значит — рабы. Беда империи московской, что в ней часто рабами становились аристократы: писатели, философы... Американская такой «роскоши» себе не позволяет.

Со Спартаком и Христом, как ни крути, а выходило об отношениях материального и духовного, о волках с детскими глазами, о патологиях, которыми питается литература (равновесие — сфера математики).

Сильным во времена отчаяния нужны слабые, слабым — сильные.

Восковая река текла, словно духовное семя, словно убитая деньгами печаль. Ее было не видно — как воды.

Для реализации своего замысла — постановки фильма — режиссеру нужны были качества Христа и Спартака. В себе. В людях. Деревьях, птицах, травах.

Скучными казались императоры, проконсулы, которыми манипулировал, как хотел, ставя День Города. Они даже говорили не своими словами, а заготовками, написанными на белых листках их же «раба-

ми». Последнее желание было: поиграться с пространством и временем, перенеся события в Палестину двухтысячелетней давности на современную почву своего поселка. Оживить легенду, став легендой.

Он опять перебрался в свою дремучую хату, чтобы переливать из полного в полное.

## 8

Пани Зося таки поперлась на заработки «по заграницам».

Веник смеялся: «Как поехала в Сибирь, вагонетки перла. Если б не моя лала — с голода б умерла».

Люди становились грубее — покрывались скорлупой, словно яйца, — таковой делалась жизнь. Не спасали ни церковь, ни кабак, которые всегда были в украинских поселениях рядом. И там, и там собирали деньги, и там, и там кадили ладан, искали иллюзий, самообмана. Грешные в церкви все упоминали Бога, в кабаке — черта. Все.

Страдали не оттого, что не имели еды, а оттого, что не имели запасов: как белки, как барсуки... как кот Малир — не уверенный в завтрашнем дне. А с другой стороны, и уверенный, потому что мог надеяться лишь на себя.

По ветреным пшеничным полям бегали цыганки, а зараженные сифилисом колхозные свиначки молились на иконостасы своих душ, искали там причины своей избранности.

Лягушачьей икрой стояли звезды.

Когда до Гамалиевки дошел слух об убийстве в столице лидера демократических сил, она еще больше замерла, а затем зашипела, запенилась. Иеромонах Нифонт, Валерий Дух, Шило и Кнырик даже поехали в столицу на похороны. Давала о себе знать патологическая естественная тяга человека к похоронам.

Думали, что будет революция, но еще больше начали пить.

До выборов было еще далеко.

Половина земли стояла голой, дикой.

В соседних государствах Большой Империи было так же...

В мутной воде первобытной свободы хорошо чувствовали себя авантюристы.

Была жизнь.

И было хорошо.

— Вот ты, сосед, зря нервничаешь, — пришел к бывшему зеку Валерию Духу соломенный вдовец — муж Зоськи, москаль Игнат. — Кому меньше дано, с того меньше спросится. О.

— А кому больше дано?

Игнат подошел к Валерию ближе, деликатно взял его за тонкие запястья и заглянул в глаза.

— Ты что? — искривился Дух.

Игнат отпустил его, пожал плечами — и его монументальная фигура развеялась, словно туман.

Бывший зек — Валерий Дух — сплюнул и задумался: в зоне он знал поцелуи мужиков, но в селе...

Удивляла скульптурность тишины.

На сельском мусорнике собака ел мертвую собаку. Мухи улетали от трупа и занимались любовью в полете.

«Лучше пусть та собака искренне показывает зубы, чем неискренно виляет хвостом», — подумал Веник, который собрался уже было идти за ружьем, потому что не «мог на это все смотреть», потому что был уже «такой, как надо».

А в целом — то событий не было.

Только банда Шило-Выварка-Кнырик готовилась взять власть в Гамалиевке в свои руки, потому что «дальше так жить было неинтересно». Филипп Филиппович и Данила Даниилович — как вчерашнее — должны минут. А поскольку верхи уже не хотели жить по-старому, а низы не умели по-новому, то нужно было им помочь.

Назревала революционная ситуация.

Как поцелуй, Гамалиевке нужно было искусственное дыхание.

— А мы молчим, как голодные задницы! — кричал на собраниях банды в «Лесном кабаке» Кнырик. — Мы должны с оружием в руках взять поселковый совет, шоб потом...

— ...Запустить в работу меловой комбинат, — продолжал Шило... а землю — затопить, рыбу запустить.

— Комбинат... на комбинат претендуют французы, — спокойно заметил Выварка. — Но я принципиально против совместного предприятия... «На обокраденной земле врага не будет, супостата» — так, кажется.

— Но нельзя быть счастливым в изолированном мире, — свел на философию Кнырик, сам же себе возражая: — Да, но ребенок счастлив до тех пор, пока не увидел у другого больше, лучше, чем у него, игрушек...

— Но мы должны делать по-своему. У нас же до сих пор лопухами подтираются, и никто не доказал, что это хуже, чем химией всякой, — тянул свою линию Выварка.

Шило держал нейтралитет.

— Ты бы из всего мира вареник слепил, — улыбнулся Кнырик.

— А что же... И набил его черт знает чем. Вот это было бы глупое счастье.

— *Natura parendo vincitur* — природу побеждают, покоряясь ей, — начитано выволок из глубин наибольшей загадки той же природы — человеческого мозга — Кнырик. — Но мы имеем конкретный план. Мы берем власть в свои руки. За нами пойдут другие. Либо социализм, либо капитализм, середины здесь нет.

— Но у нас может выйти анархия, махновщина... — задумался Шило.

— У нас выйдет, что должно выйти — не больше и не меньше. Главное — первыми бросить камень в гнилой отстойник духа и плоти, — сказал Кнырик, и все почувствовали пятым позвонком, что лидером их восстания крови должен быть он.

— Дата восстания? — конкретно спросил Выварка.

— Давай подумаем, — открыл стильный серебряный портсигар Кнырик.

— Может, по традиции крови... ну, например, Ивана Купала праздник, — неожиданно засиял от самого себя Выварка.

— А что же, в этом что-то есть... Однозначно, — сломал карандаш в руках теперь уже атаман Кнырик.

Его нервность передалась Шилу, но не Выварке, который был спокоен, потому что чувствовал, что есть что-то важнее в жизни, чем революции, войны, любовь, слава, нашествия, почести, деньги. И это что-то — именно Жизнь в комплексе, единстве, парадоксальной гармонии.

В дверь постучали.

— Кто? — спросил Шило.

— Свои, — отозвалось за дверью голосом Веника.

Тройка переглянулась.

Кнырик кивнул головой

Веник отворил двери: — А, то ты, Симань... заходи, заходи.

Симанями называли в Гамалиевке любого, если тот, кто называл, считал того, кого называл, в чем-то уязвимее, или, скажем, хуже себя — естественно (физиологически), социально, экономически...

— Вы здесь изолировались от народа, а кроме того вот, смотрите, — и он протянул Шилу, Кнырику и Выварке чудом некрикливую, но со вкусом сделанную афишу. — Вот только что по всей Гамалиевке кто-то порасклеивал: на столбах, деревьях, даже на церкви. — И он прочитал: «Дорогие гамалиевцы, приглашаем вас принять участие в съемках фильма «Спартак и Христос». Место съемок — Гамалиевка. Время — от 1 июля 1999 года. Оплата — 100 у.е. за день. Сбор 30 июня возле сельсовета на 9.00. Режиссер фильма».

— А кто режиссер?! — даже закричал Кнырик.

Наступила мифическая тишина.

## 9

Чухрай сидел в хате на краю села и рассматривал составленный им же, разделенный на две части список главных героев.

Слева — профессионалы, далее — жители Гамалиевки. Он долго мучался между главными выборами: кто должен играть Христа, профессионалы или жители его Гамалиевки, судьбы которых этот мир неумолимо, неуловимо стилизовал под ново-, а может, и ветхозаветные.

Калинюк не хотел, чтоб им созданный Мир был похож... нет, чтоб что-то повторял, ведь праздник распятия Христа хорошо имитируют и

в Оберамергау в Баварии... в Альпах происходит «пасьянс шпиле» — дежурное распятие Христа под открытым небом. Там сделано все профессионально. Но как корявые деревья выигрывают вечность у тесных столбов, так гамалиевский Иуда должен быть правдивее голливудского. Только бы он захотел играть. Он, Режиссер, хорошо заплатит своим землякам, так, как бы платил и профи... Набранный им же на компьютере в старой хате список лежал на его колене. По бумаге, будто читая, лазила пчела:

Главные роли:

*Лидия Ромашкевич — Богородица*

*Валерий Дух — Варрава*

*Госпожа Зося — Мария Магдалина*

*Маклуха Маклай — Иосиф Каиафа (первосвященник)*

*Иеромонах Нифонт — первосвященник Анна*

*Кость Гавура — апостол Петр*

*Лилиана Пантюк — жена Понтия Пилата*

*Леон Гайдеровский — Пилат*

*Все другие, включая Попкову Стефку и красавиц гамалиевских, — массовка.*

*Виктор Чухрай*

В правой колонке не хватало существенного. Режиссер мог легко заполнить эту чашу за счет левой, но колебался: в Гамалиевке, как и в Иерусалиме когда-то, должны быть все свои... Он сам будет играть Иуду, того Иуду, который жадно собирал деньги, чтоб отдать их бедным, на что неудовлетворенный Иисус, который любил почести, сказал, «что попрошаек всегда имеете с собой, меня не всегда имеете». Да, сам режиссер будет играть скупого Иуду, который собирал деньги для бедных, а не для купли почестей Христу...

Несправедливо это, если воспринимать жизнь как воплощение Высшей справедливости, но все доброе, если воспринимать ее, жизнь, — как игру, парадокс. Тогда и Христос — игрок. Кого же он повесит на Крест? Кто будет Пилатом? Нужно еще одиннадцать апостолов, Спартак...

Режиссер смотрел на сморщенную воду реки, которая, казалось, текла быстрее, чем история, на ромашки с лицами зеков, ему представлялись кресты на могилах динозавров, трагические клоуны... Ему хотелось ребенком сделать целый мир, лишить его напряженности, заменить ее мощной нежностью, в которой счастливые, по-видимому, те, что делались с оргазмом, а родились в кольчугах.

Он, который в детстве нянчил аистят, теперь смотрел на бегущий по кругу мир через линзу слезы, поэтому мир этот казался или боль-

ше, или меньше, но уже неидентичным. Чухрай старел. Капля точит камень падением своим, а не полетом. Королевская самоуверенность духа выглядела важнее суетной славы. А новомодный патриотизм пахнул агрессией.

Готовый уже, казалось бы, сценарий, размывался, развеивался — и Режиссер опять не знал, что он хочет сказать, доказать хотя бы самому себе...

Вспоминал капитальные капиталистические заграницы. Сколько не посыпай улицы Чикаго солью, они Млечным Путем не станут. Западные кладбища почему-то напоминали ему восточные города.

Ничего в действительности не менялось. Ничто не удивляло. С неба никто не возвращался. По-видимому, там было неплохо.

В Гамалиевке около 50 000 жителей. Толпы достаточно. Он всем хорошо заплатит — по сто зеленых на день... Все будто хорошо. Он запросто может пригласить на главные роли украинских артистов с мировыми именами: Байронюка, Бальзаченко, Гетого, Дуфуренко, Саганенко, Камюка, даже Сафонову... Нужно. Истина — это линия, которая делит его список на две половины... Интересно, согласятся ли на участие в съемках фильма местные мафиози — Шило, Кнырик, Выварка, Николай Боюн, председатель сельсовета и начальник колхоза? Он не будет приглашать их, разве что — сами придут: соловьям не нужен доклад о песенной культуре, а хищным птицам — о крови. Ха-ха...

Крутилась в голове легенда о Прометее — том античном черте, что, как и Христос, как и Спартак, был революционером-оппозиционером, чья оппозиция так и не стала позицией, как это произошло с Христом...

ПРОМЕТЕЙ (Христу). Я сын титана Япета, ты — Давида. Я помог Зевсу добыть власть над миром, победив вместе с ним титанов. Стал на сторону людей, как и ты... Похитил для них огонь с Олимпа, как и ты... и принес его людям в тростинке, как ты в слове... Так человеческий род спасся от голода и холода телесного, а ты душой занимался...

ХРИСТОС. Тебя распяли боги (Зевс и Гефест), а меня люди... Хотя копьем проткнули грудь и тебе, и мне... твою печенку клевал орел, долго, тягуче. Я же «испустил дух» быстро, потому что я был богоугоден, а ты что-то среднее между Спартаком и мной... Ты мне нравишься. Ты сильнее и благороднее.

ПРОМЕТЕЙ. Геракл убил орла и освободил меня...

ХРИСТОС. Пора и мне дать свободу от золотых цепей — церковей и орлиных языков иерархов...

ПРОМЕТЕЙ. Обо мне много легенд наптели: якобы я из глины, смешанной со слезами, людей слепил и жизнь в них вдохнул, дал им лекарства и нашел травы, которые утоляют боль...

ХРИСТОС. Ты был нечесаный и чистый... вещей и добрый... а я...

ПРОМЕТЕЙ. Сказка и песня — разные вещи...

После таких диалогов Режиссеру казалось, что массовка в его фильме вообще лишняя, что можно сделать фильм наподобие «Трех мушкетеров», где главными будут Спартак, Христом, Прометей...

И еще ему снился Перун, которого мучил Зевс. Греческие античные боги казались ему сильнее украинских — и он не знал, что делать, не понимал, почему Владимир вместо Христа не взял греческий пантеон, прости Господи... Потому что греки уже смеялись над своими богами, не верили им? Но рано или поздно идеализация Христа тоже исчерпается до края и станет идолизацией. Как патриотизм становится партиотизмом. Рано или поздно. И, подтершись лопухом, сельская баба пойдет играть современницу Христа, а сельский конюх — того апостола.

Времяпространство смеется.

10

Летнее Солнце жгло-жгло лес — и не сожгло. Вышла Луна — лес почернел.

— Так что будем делать? — прокричал Даниил Данилович Филиппу Филипповичу.

— И оно как-то так, не ссорится семья между собой, а могилы предков вместе убирает, о, вот так и нам так нужно...

— Да я не о выварках...

— А! Это ты о кино! Ясно... Но читал, читал я те объявления.

— И что же?

— И что же делать? Увидим, как народ к этому всему пойдет. Ведь жатва.

— Так платят же...

— Да это же вопрос внутренний. Кто же из истинно верующих будет Христа за деньги распинать. Иуда разве что...

— За большие деньги. То вам не тридцать сребреников...

— Нет, то какая-то иудея, — сказал Филипп Филиппович. Я не знаю.

И тут в окно сельсовета забарабанило.

— Кто? — спросил ее хозяин.

— Зоська! — послышалось за стеклом.

— О, но ты ж на заработках! — удивился Даниил Данилович.

— Мне сказали, здесь кино будет, за деньги, вашу... рать, во — объявление, — и Зоська потрясла красно-зеленым листком чухраевого объявления: — Платят хорошо. Где я еще столько заработаю?

— Бога побойся... — неожиданно для самого себя сказал председатель колхоза.

— Боюсь... Не тот смелый, кто не боится, а тот, кто побеждает страх. Послезавтра сбор.

— Думаешь, кто-то придет? — спросил Филипп Филиппович, наконец отворив двери перед Зоськой.



— Может, разве что Ромашкевичиха поленится, потому что она, твою мать, без «Господи помилуй» и срать не сядет. Так здесь одно из двух — либо она первая припрется, либо... последняя. Потому что хитрая. О, — сказала, как думала, та.

— А ты хоть знаешь, кто режиссер этот? — еще хитрил Даниил Даниилович.

— Ха-ха-ха! А кто же его не знает?! Делают вид разве что, дурачками притворяются. Тыфу на... Боятся. Говорят, черт... А я уже спала с ним. Мужик как мужик... Внутренняя сила слышится. И говорит, как будто и нашими словами, а не по-нашему как-то.

— Ну, так-то оно так. Гандон, прошу прощения, не зашивает, — просуммировал Филипп Филиппович, и уже по-деловому: — Так что, ведем народ на съемки или на жатву?

— Народ нас имеет в... ну ты знаешь даже в какой, — улыбнулся начальник колхоза. — А ты чего пришла, Зося, ха-ха, что-то на тебя не похоже в последнее время...

— А хочу дом свой продать, по плану... — отсекала она.

Деды переглянулись: а ну-ка, ну...

И тут — выстрел.

Отворенные ногой Шила двери сельсовета вскрикнули, как новенькая баба.

— Спокойно, селяне, земля будет наша, — сказал Кнырик, от которого скорее ожидали крика, чем еще несколько выстрелов.

Зоська попробовала выскользнуть.

Выварка заступил ей дорогу.

— Вы хоть знаете, чего хотите? — попробовал улыбнуться Филипп Филиппович.

— Подпиши на вот этом листочке, — протянул сине-белый листик Кнырик...

— Да... «Договор об аренде земли французской фирмой... хрен знает что... пятьдесят гектаров...» — читал через плечо Даниила Данииловича Филипп Филиппович.

— Так-так, читайте вдвоем. Вам вместе подписывать... — становился серьезнее Кнырик.

Между тем, к нему подошел Выварка:

— То таки совместное предприятие...

— Молчи, — сказал Кнырик. — Нам нужен, вернее, нужны их подписи. Нам нужна земля, как капитал, пока есть закон, потом разберемся...

— Так что, на троих? — крикнул Шило. — То пиши «на каждого», по пятьдесят. О.

— Ага, допишите эту фразу своей рукой, пожалуйста, — согласился атаман.

Филипп Филиппович и Даниил Даниилович переглянулись.

За окном слышалась пьяная песня Николая Баюна. У узников за-теплелась надежда, что он завернет к сельсовету, как часто это делал, и, может, что-то изменится сейчас на этой немой сцене...

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, — продолжал Кнырик. — Я знаю, что вы сейчас будете ссылаться на людей, народ, что сами не можете. А я знаю — что можете! Ваших подписей, если что — достаточно. Такой закон создания совместных предприятий. Подпись председателя колхоза и сельсовета — бантик. Так что — тихо-мирно, шухи-мухи.

Пьяная песня «Ой ты же долэ, долэ, что ж ты наробыла?» отдавалась, как водным путем, как по молоку. Надежда пленных на какое-то случайное спасение уснула. Кричать никто не осмеливался, потому что интуитивно чувствовал, что от Кнырика, Шила и Выварки всего ожидать можно.

— Вы, обычно, хотите что-то за это иметь? Логически, — нарушил молчание Выварка. — Давайте по-человечески обсудим и этот вопрос.

Кнырик и Шило подозрительно посмотрели на него.

— Так шо? Подытожим? — спросил последней.

— А сраку вам! — отколола Зоська и средневеково засмеялась.

Опять издали послышалась песня.

— Нет времени здесь с ними панькаться! — сказал Кнырик. — Поехали. — И скрутил руки Зоське. Шило и Выварка взяли за плечи Филиппа Филипповича и Даниила Даниловича и затолкали в авто — вернее, в кныриковский зеленый «бус», ожидавший за сельсоветом, за кучей угля, — подальше от людских глаз. Зоська попробовала рыпнуться, но Кнырик достал откуда-то пистолет:

— С-сука! Убью.

Это подействовало и на поселковое начальство. Все послушно зашли в «бус».

Выварка сел за руль.

— Давай, — не скрывая нервозности, крикнул Кнырик — и они поехали. — К себе.

— Понял, — подморгнул Выварка.

— А я ж даже дом не закрыл! — по-детски сорвался Филипп Филиппович.

Никто ничего на это не сказал.

11

Режиссер искал Христа.

Сценарий, план, которые казались ему прозрачными, как свячая вода, там, в далекой Америке, теперь взбаламутились, кучей творческих сомнений навалились на душу и мозг, как штукатурка. Сама фигура Христа, почти лобковая там, теперь была соткана из

противоречий... Теперь он сомневался в целесообразности самой постановки, съемки. Но очень хотелось помочь этим людям, своим землякам, родственникам — от Адама и Евы.

Внешняя, американская, вера в Творца — это совсем другое, чем внутренняя — здесь. Ее нельзя поставить, снять, потому что нарисовать петуха — это одно, а черта или бога — другое. Если бы сейчас была зима — он превратил бы все в вертеп, сделал бы роскошный вертеп, этот симбиоз христианства и язычества, а так здесь... Он сам будет играть Иуду, а кто — Христа?.. Римскими воинами он сделает солдат из военной ракетной части, что за Гамалиевкой... Богородица, Пилат, Мария из Магдалы... апостолы...

Он всем хорошо заплатит. Даст людям рыбу, а не сети...

Депрессия углублялась.

Вчера приехал актер из Национального театра. Сам просится на роль Спасителя. Чухрай пригласил его в поля, в рожь, где ветры и маки с криками чибисов.

Выпили «калгановки».

Молчали.

— Если б я был бизнесменом — открыл бы какую-то фабрику, была бы людям работа. Это была бы моя помощь. А так? Ломать себя, чтобы помочь им, также сломав и их? Абсурд, — говорил актеру режиссер, и, увидев его разочарованные глаза, добавил: для вашего театра я могу как спонсор быть... конкретно для вас... тоже.

— Да ну, что вы?.. Я вижу, у вас депрессия. Я приглашаю вас к нам, на Полесье...

— А как же объявление?

— А, скажете, что съемки переносятся на... неопределенное время, или что... морды не подходят...

Режиссер опять ушел в себя. Вдруг он набросился с объятиями на актера, и, словно ребенок, запрыгал по широкому, как море, полю:

— Ура! Эврика! Одичать! Грызть березы! — радость его, как запененная волна, входила в берега: — Я сниму для всего мира нашу природу. Я сделаю его настоящим, нашим, здоровым... мы разожжем высокий небесный огонь, мы будем пускать венки на воду! А объявление... Пусть приходят. Скажу, что изменили название фильма...

Актер смотрел на Режиссера и радовался, что он так близко видит большого человека, тяжелого и ребяческого, своего и нездешнего.

Возвращались с поля они очень поздно. Под звездами.

Сильно назююкались.

— Идем к председателю сельсовета, согласую сейчас же с ним право на землю... на съемки моего фильма, естественного, как природа... Я всем, всем заплачу! — банально потряс пачкой денег Чухрай.

— Идем, — согласился актер. — А я кто буду?

— Идол Перуна... Ха-ха-ха! — рассмеялся Режиссер и сам поспешил попросить прощения у гостя: может, Купалой. Потом, потом...

Поселковый совет они застали отворенным, с выбитым оконным стеклом.

— Кх-кх! — многозначительно просуммировал актер.

— По-видимому, будет бой, — иронически улыбнулся Режиссер.

12

Между тем, в «Лесном кабаке» сидели замкнутые Филипп Филиппович, Даниил Данилович и пани Зося.

Кот Малир ходил кругами вокруг этой прежней своей сытой клетки — свободной и беззащитной. Он платил за свободу дикостью.

А здесь вдруг опять кого-то привезли.

В нем опять появилось искушение вернуться к старой жизни. Отбрасывал ее, хотя, наверно, седьмым инстинктом сущего чувствовал, что сытая золотая клетка хороша в старости и в детстве, а воля — в молодости. Хотя лучше не доживать до такой старости...

Как не дожил революционер духа — один из мощнейших язычников за период писаной истории человечества — Иисус Христос, ведь преимушество в сфере духа называется не властью, а свободой. И никогда-никогда люди уже не будут верить политическим властям так, как верили до их Гефсиманской ошибки... Чувствительная и холодная, как снежинка, духовная свобода, работа практически безошибочная, ведь Христос оставлял язычникам место в своем Царстве, ведь и сам добровольно жил среди них... Он взял много здорового от язычества, создавая свою религию сердца, но не любил природы длинного сердца дерева или большого, стихийного — зверя, легкого — птицы. А в конечном итоге — кто знает душу того, кого распинали все?.. Может, то же дерево, может, кот Малир, сыновья и дочки которого от дикой кошки были уже совсем свободными и не знали капканистых прелестей «Лесного кабака», к которому тянуло иногда котяру, как тянет к прошлому, к юности, к греху, к сладкой бездне зоопарка, где кость, которую грызешь, плохенькая, но есть на каждый день. На свободе же и свежей крови попить можно, если рискнешь, но иногда придется голодным быть, кровь ежевики пить. Да и решетка неплохо от мира защищает. Эх, за все платить нужно! И каждому — свое. И есть стоит лишь осенние плоды, которые, как и зерно, готовые умереть, а значит — дать новый урожай, быстро покончив с собой, для чего, как говорят мудрые, и дан человеку ум — даже Сократу, даже античному Сатане — Прометею, даже простодушному позитивисту, который в детстве нянчил аистят, или матери, которая смотрит на своего больного ребенка, как на целый мир, сквозь слегка выщербленную линзу глубокой слезы, от чего он кажется ей больше, чем есть в действительности, или же меньше, то есть уже художественным, потому что нереальным.

Малир, как сторож райского сада, должен был быть очень деликатным, ведь с цветами и мечами обращаются именно так, с дикой де-

ликтатностью, о которой генетически забыл толстый и пушистый, как оренбургская олуча, «жирный кот» какого-то заместителя министра, или заместителя какого-то министра...

Зоська наставительно молчала.

Даниил Данилович кипятил в себе свою революцию, чтобы обмыть ею труп своей свободы, деревянные крылья которой изнутри доила-доедала так называемая «демократическая тля», как любил «выражаться» его прежний партийный товарищ.

— Неужели отсюда нельзя вылезти? — пулевой молнией стал в трупно-сладком горле тишины Филипп Филиппович.

Зоська без слов покарбалась по березовой лестнице к небу.

— Осторожней будь... — положил руки на четвертую ступень этой лестницы Даниил Данилович.

— Была бы осторожной, не стала бы матерью, — Зоська. — Я давно знала, что ваш патриотизм, как и каждый, попахивает агрессией.

Золотозубая Зоська выбралась уже на запаутиненный, как бабье лето, чердак.

Даниил Данилович успел увидеть ее фиолетово-вылинялые «труселя» и поймать на себе понимающую улыбку собрата. Зоська подошла к обработанному вечными мухами окошку и посмотрела на Малира. Когда-то он бы мякнул ей, теперь лишь едва-едва расширил зеленые, как у лягушки, глаза.

Горячее пиво лета ударило Зоське в нервную голову, и ее соломенный позвоночник условно настроился на дикость свободы, в которой каждый сам за себя, решает, зачем жить и стоит ли красиво уйти.

«Хороший день, чтобы умереть», — подумал бы, а может, и сказал на месте Зоськи какой-нибудь глупый интеллигент (не интеллигент — они моральны и мудры), а она, баба, руки которой привыкли к самой тяжелой мужской работе, сразу врубалась, что выставив мушиное оконное стекло, через это окно можно убежать, почти полететь над всеми этими бездомными росами, стремительными водами, бездумными слезами.

Плотными, словно гвозди, пальцами, Зоська отогнула гвозди, которые держали стекло, аккуратно, как замерзшую водку, положила на какие-то ящики из пенопласта, впихнула половину себя в дырку — и зависла, как мокрые штаны на проводе.

— Ну что там? — крикнул сверху Даниил Данилович.

— Что-что! Ничего. Не вылезем. Я-то еще куда ни шло, а вы так затычками сделаетесь...

Тревога соединила, смешала души представителей сельской элиты, взболтала, как глиняные вареники в маковой макитре, пока один не выплеснулся.

Филипп Филиппович занервничал.

Время умирало, как зерно, чтобы дать плод — пространство.

— Зося, слезайте, — неожиданно для самого себя сказал начальник колхоза. — Не тратьте, кума, силы, спускайтесь на дно..

Малир человечьим чутьем угадал в глазах пани Зоськи «нежирность», и пошел себе, еще раз осознав, что возвращения назад не будет, да и не хочет он: пусть будет домашняя воля, а не дикая одомашненность. Хотя приближалась старость.

— Нет другого способа покорить обстоятельства, чем поддаться им, — вздохнул старый председатель сельсовета и предложил Данилу Данииловичу и Зоське, которая уже слезла с белой лестницы, рассказывать бывальщины, небылицы и анекдоты.

— Вы себе рассказывайте, а я пойду выход искать, — не успокаивалась Зоська и затарахтела чем-то в лабиринтах полутемного «Лесного кабака».

— Знаете, в своем молодом прошлом, — начал начальник колхоза, — я имел очень много проблем с женщинами, пока не понял, что за «любовь» нужно платить, потому что, как говорят французы, любовь вообще придумали славяне, чтобы денег не платить. А так — заплатишь — и чистый покой.

— Да-да, бабы временами попадаютя совсем глуповатые, еб\*нутые, я бы сказал... не отцепишься, как примажутся, — нервно подержал другой «мужик».

— Или еще послушайте, — продолжал Даниил Даниилович. — Вот приходят ко мне доярки недавно и говорят: «Мы вас как председателя информируем и предупреждаем: нада шото делать, потому что не е бани... а работаем с утра — и почти до утра...». Зову завфермой, а он мне: не е бака... «Неебака, неебака», — еще раз налег на слово начальник колхоза, сильно помяв «адамово яблоко» на своем горле, аж в сердце проснулся червь.

— Да! Жили мы с тобой, Данила, на полный шаг! А теперь вот — пришла эта шантрапа — и шо? Шо?!

— Дали им волю, так они еще и: землю давай. Суки! Не! На... что-то делать.

— По крайней мере — вылезти отсюда, — Филипп Филиппович мгновенно похитрел, его утиные глаза оперились и выкатили из себя по перышкам то ли завтрашнюю слезу, то ли вчерашнюю, позавчерашнюю водку.

— Будем считать, что сидим, — неожиданно заговорила сверху голосом евнуха пани Зося. — Добрые люди за Сталина отсидели, а мы теперь.

Пришел вечер. «Лесной кабак» стал сказочным. Крякнули входные двери — и на ее пороге появилась корзина. Пока Филипп Филиппович вышел посмотреть, что там такое, никого уже не было. Даже Малир почему-то решил не подходить к корзине, хоть хорошо чуял пыльным, как сиська, носом, что в ней — мясо.

— Вы смотрите, может, там бомба, — сказала паня Зося мужикам.

Но скоро все убедились, что это еда, а поскольку отравлять узников не было логического резона, а голод, как один из двигателей жизни, брал за кости, то они, впопыхах разожгли камин, дрова для которого лежали рядом, тихо слились с царством теней и полутеней, что-то ворча и жалуясь.

Млечным Путем на Дагестан шли российские танки. Крест-накрест к нему — бомбили Югославию самолеты НАТО.

13

Режиссер, так и не добившись толку от пьяного участкового лейтенанта, позвонил по мобильному телефону в милицию области, чтоб ехали искать власть, но теперь милиция не приехала.

Так прошло два дня.

В поселковом клубе опять собрались люди — актеры будущего фильма, который должен был бороться с более сильной, чем он, жизнью.

Чухрай никак не мог собрать себя воедино, сфокусировать в одну жгучую точку: то ли мало было Солнца, то ли была линза недостаточно выпуклой.

Шикарные машины заградили почти всю улицу, по которой шли гамалиевские коровы, ломая отображение своих рогов и копыт в блестящих черных кожах мерседесов, опелей, волг и желтого секондхендовского велосипеда Леона Гайдеровского.

Приехала Лилиана Пантюк, художник — друг Виктора, дочка Президента с его доверенным лицом, которое предлагало всем — везде и всегда — петь песню «Ой, чей то конь стоит», чтобы показать патриотичность своего патрона, юная балерина...

Из местных первыми пришли Попкова Стефка, Коля Ткач, лесник Николай Боюн, Кость Гавура.

Лидия Ромашкевич, Маклуха Маклай, иеромонах Нифонт, конечно, не пришли. Они собрались в церкви.

Валерий Дух запил.

Еще одной группы «сознательных гамалийчан» — Шила, Кнырика, Выварки — не было.

Блуждал по Гамалиевке взбудораженный Веник.

Все знали о пропаже «начальства» и пани Зоси, но, казалось, в придурманенном состоянии анархии люди даже откровенно радовались беде не только своего ближнего, но и собственной... «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю».

\* \* \*

Режиссер понял, что в сценарий его христианского фильма вмешалась славянская жизнь — и чтоб победить ее — как природу — стоило ей поддаться? Не было Марии из Магдалы, в «оппозиции» Бого-

родица, Иосиф Каиафа и первосвященник Анна. Из собравшихся — жена Понтия Пилата, Пилат, Иуда, которого будет играть сам Чухрай.

В поселок входили танки. Это приехали солдаты из соседней военной части на роль римских легионеров. Гамалиевка наполнилась пылью и матерными словами.

При всем этом какая-то орлиная несуетность обвивала душевный ствол режиссера, внутри которого должно было быть длинное и нежное сердце. Цель размывалась, а сила еще оставалась. И это состояние, возможно, было самым угодным природе, если бы не беспрепятственная пульсация мысли, которая отвлекала от растительности, от деревянности, а врожденная художественность природы даже искренность делала образной, свободную душу наполняла тревогой, которую можно было убить лишь любовью, как и любовь... Потому что, действительно, ненавистью убьешь лишь муху.

К клубу пробовали пробиться какие-то ребята, девушки с фигурами бутылок. Но тесные из силикатного кирпича охранники, купленные Режиссером, заслоняли им своими телами вход, говоря: «Не пора».

— Я верующий! Я хочу видеть режиссера фильма! — мягким, но нахальным голосом орал один бородач.

Чухрай как раз выглянул из дверей: что делается на улице! Пересек его взглядами с Человеком.

— О! О! Господин! Я вот тут думаю, ехать ли мне в Бразилию... Как вы скажете? И вообще. Я верующий. Что делать вообще?

— Если вы действительно верующий — читайте десять заповедей, — улыбнулся Чухрай. — Там все написано. — Я своим внукам не могу объяснить — зачем жить, а вы с такими вопросами. Я ничего не знаю...

Чухрай вынудил себя закрыть двери перед этим миром, чтобы быстрее начать делать свой, к которому шел давно, как по струне, успокаиваясь лишь под взглядами животных и стоичностью деревьев, которые были стройными и высокими в конкуренции с другими деревьями, и широкими — в одиночестве. Так и творцы своих миров, как тот гуцул, что просил: «мир, изменись, иначе ты оставлю!», но не как особо ученые, делающие мир разочарованным и неживым, не как претенденты на посредников между Богом и людьми, которые, если бы действительно любили Творца, обращались бы к нему без посредников.

Христа должен был играть профессионал. Об этом шла речь. Хотя еще такая выразительная в Нью-Йорке будущая Чухраева картина теперь совсем размывалась, он чувствовал себя охотником за привидениями и не знал, с чего начать разговор с людьми, из которых он планировал сделать актеров.

«Так быстро время идет, — сказал было он, выйдя на ветхую сцену. — А может, еще не время, потому что время так быстро не ходит...»



Дочка Президента хихикнула. Два ее телохранителя оглянулись на зал, третья часть которого была полной.

Он еще что-то говорил, но шум за окнами этого дома с колоннами в стиле советского барокко уже вырос настолько, что нужно было отворить окна, чтобы впустить его полностью, или загерметизировать их наглухо.

— Панэ Викторе! Панэ Викторе! Они приглашают нас...

— Благодарю, — не дослушав «сторожа этого райского сада», — сказал Чухрай. — Но есть что-то выше искусства. Это сама жизнь. Так вот, предлагаю всеми нашими силами-силенными народа (Чухрай уже говорил без акцента, присущего давним эмигрантам) идти искать наших односельчан — Филиппа Филипповича, Даниила Данииловича и всеми уважаемую пани Зосю!

— Мы на праздник Купала приглашаем вас, — прорвался сквозь полупритворенные двери дверно-скрипучий женский голос.

Режиссер встрепенулся:

— Вот и будем искать их, как цвет папоротника, — неожиданно для самого себя прорек он и почувствовал, как опять впадает в огненное молчание.

— А давай сначала праздник сделаем. Может, они сами притянутся сюда! — воскликнул кто-то.

\* \* \*

Через несколько минут две волны людей соединились. Даже дочка Президента, афоризм которой «а я и не хочу, чтобы меня любили, а хочу, чтобы понимали» завис между ее ловкими грудями, пошла со всеми на берег лесной реки своими ногами.

14

Давний языческий праздник молодости и очищения начался. Хлопцы разводили огонь, а девушки одевали живую ветвь — Марену. На небе одновременно светили Луна и Солнце. Когда последнее спряталось, начали прыгать через огонь. Юные девушки топили в реке Стыр Марену как русалку и пускали до Припяти, Днепра, Черного моря веночки, ворожили на свою будущую супружескую жизнь. Огнем для деток была крапива, через которую прыгала она. Среди людей пошел шепот, что на Празднике обязательно должна быть ведьма, для распознавания которой обязательно нужно иметь пепел с Купальского огня, обернутый в тряпку. Ведьма подойдет и скажет: «Отдай мне то, что у тебя есть»... Тогда уже топить нужно настоящую ведьму...

Люди с тревожным любопытством посматривали на дочь президента. Присутствовал на празднике Василий Скуративский — известный исследователь народной обрядности, за чьей книжкой люди вспоминали себя.

Утонула Маренонька, утонула,  
Наверх косонька зирнула.

С Мареной купаться не годилось — потому что она бурю накличет. Женщины делали веночки и несли на могилы своих детей. Коро-вы гамалийчан остались в хлевах, чтобы ведьма не подоила в поле. Дети собирали подорожник...

Почти не разговаривали. Слушали огонь, воду, ветер, землю. Звезды — тоже огонь. Дыхание — также ветер. Слезы — также вода, люди — также земля.

Даже Грыць Фортуна этой ночью был со всеми. «Да, я очень воспитан — и не скрываю этого», — говорил он Степану Лосю, когда тот то ли с презрением, то ли с интересом измерял его взглядом. И эта тонкая игра сложностей была понятна лишь им.

Веселый с грустными глазами актер — претендент на Христа — уволок в звонкое поле какую-то девушку.

Горела сморщенная река.

Пахло белком и крапивой.

Не было посредников.

На деревьях сидели старые ангелы.

Ожидали октября.

Где-то рядом любились кони.

Немного дальше гремела война.

Свой невроз пустота заговаривала, чем могла.

Филипп Филиппович, Даниил Данилович и пани Зося не являлись. Не видел никто и банды Выварки.

Черная нежность опаутинила всех.

Виктор Чухрай снимал на самую лучшую пленку праздник Ивана Купала на своей генетической родине, чувствуя, что ничего более сильного он не придумает, что жизнь сильнее искусства сейчас, как правда и ложь.

В безалкогольном, естественном первобытном опьянении все за-были о войне в соседних странах, о войне всего со всем!

И вдруг где-то совсем недалеко взорвалась вселенная. Возможно, даже не одна.

Черный дым выпестовал ночь и змеино пополз по ржавым рельсам Млечного Пути, окаймленного тоталитарным асфальтом.

— Началось! — грустно сказал Режиссер, не выключая камеру.

Где-то там, над местом большого взрыва, рассветно вспыхнул огонь. Горел лес. Неделю.

Уже отбыли Петра и Павла. Уже по радио передали, что взрыв на околицах Гамалиевки — ошибка НАТОвского летчика, который должен был обезвредить какую-то стратегически важную цель в Белграде, а обезвредил «Лесной кабак».

Режиссер с «Христом», который жил теперь у него, стояли над большой, как Михайловский собор в Киеве, ямой и молчали.

Никто не знал, что именно здесь витает дух пани Зоси, Даниила Даниловича, Филиппа Филипповича и Выварки, Шила и Кнырика, пришедшими за клиентами, которые уже должны были созреть, но неожиданное прямое попадание ракеты в «Лесной кабак» объединило их в полете и вознесло над этим миром. Вместе с интересным и свободным котом Малиром — к своему, кошачьему, а может, и общему, Творцу.

Когда возвращались — на кресте-фигуре, что при входе в Гамалиевку, висел Леон Гайдеровский. Левая рука была прибита гвоздем, правая — привязанная цепью. Он еще дышал.

Чухрай с актером снимали его. На вопрос, кто прибил, не отвечал, хотя пьяным не был.

Пока снимали, на пеньке стояла камера, поставленная на «автомат».

— Это моя параллельная реальность, — уловил взгляд актера Чухрай.

— Понимаю...

На следующий день в Гамалиевку вступили войска. Было объявлено о воссоздании государства Киевская Русь с соответствующей столицей.

Реками плыли веночки и кресты с профилями то ли мечей, то ли языческих идолов.

Режиссер поехал с новым фильмом на фестиваль.

К власти в Гамалиевке пришло новое поколение, которое уже насытилось «пепси».

Анархия входила в берега.

Костева Варвара больше на приходила.



## Василь КУЗАН

/ Трускавец /

### ЭТОТ ПОЕЗД

этот поезд переехал мое сердце

он просто выехал из ночи  
как из вокзала  
прошел сквозь грудь  
как сквозь тоннель  
и унесся в небо  
на крыльях моего желания

в четвертом купе  
одного из вагонов  
в запотевшее окно  
смотрела  
ты

ты  
ела молочную «Милку»  
с лесными орехами  
запивая «Живчиком»  
с яблочным соком  
и говорила по телефону  
со своим  
мужем

я был в твоей жизни  
единственную ночь  
но этот поезд  
переехал мое сердце  
и оставил в моей груди

месиво  
которое никогда не станет сердцем  
потому что ты никогда  
не станешь моей

только мечтой

Апрельская ночь

Сочная карпатская ночь  
С полной пазухой звёзд  
Приникла к твоему лицу.

А горячий апрель ревнует –  
И в траву под ногами  
Иней сыпет.

## **НИК**

когда мне трудно  
когда уже предельно нестерпимо  
и боль пронзает всё моё существо  
а остатки оптимизма  
щепками плывут по воде  
когда вытекает отчаяние  
из переполненной чаши терпения  
и сворачивается  
усохшая душа  
неверие берет за горло  
и черное разочарование  
растет из черепной коробки  
как трава сквозь асфальт  
когда все тропы и дороги  
кто-то завязал в узел  
и некого винить  
и некого прижать  
и врагами кажутся люди  
и смысла нет жить  
и никаких сил уже нет,

я вспоминаю Ника Вуйчича!

страстно в жизнь влюбленный,  
он любит всех и каждого,

---

в дом приносит уверенность  
и делится с нами радостью,  
и с улыбкой учит верить  
в удачу и не останавливать движения  
на пути к счастью райскому,  
возвращает надежды потерянные,  
любовь к сердцам протягивает,  
не имея ни рук  
ни ног...

*Перевела с укр. Анна Дудка*

## Вагиф СУЛТАНЛЫ

/ Баку /



### ТОСКА

В темноте комнаты слышалось лишь жужжание мух. Она окончательно проснулась. Ей, тем не менее, казалось, что она не слышит ничего, что вокруг непрерывная тишина, потому как темнота предполагает, что приоткрылась дверь, кто-то вошел в комнату, и она увидела хлынувший в темноту холодный поток света. По земляному полу заходил мокрый веник. Комнату подмели, мусор высыпали в печь, и тень, как появилась, так и пропала.

Ее никак не отпускал позавчерашний сон. Снилось ей, что муж, совершенно голый, лежит в мягком, как вата, снегу и зовет ее к себе:

— Ты тоже снимай одежду, — говорит он, — и ложись, здесь прохладно, а от тамошней духоты дыхание перехватывает.

Стуча зубами от холода, она переминается с ноги на ногу.

— Раздевайся же, — настаивает он, — ложись рядом, в прохладе, ведь солнце изжарило тебя вконец.

Пальцами-гвоздями муж хватает ее за запястья, и что она ни делает, как ни силится, не может вырваться из его рук.

— Пусти, — просила она, — ну, отпусти мои руки, я пойду принесу тебе теплую одежду, холодно ведь...

— Ты не придешь, — говорил он, — знаю я, если уйдешь, не вернешься, я хорошо тебя знаю.

Молила, просила, вырывалась, но избавиться от пальцев-гвоздей никак не могла. Она тянула руки, а пальцы впивались все глубже, доходя до костей. И вдруг... левая рука ее оторвалась от самого плеча и осталась в пальцах мужа, сама же она упала и покапала по белому снегу. Потеряла сознание, потом с трудом пришла в себя и, опираясь на правую руку, кое-как поднялась на ноги.

Вдруг снег, окутавший, казалось, весь мир, с мощным звуком начал таять, течь, унося в своем мощном потоке ее мужа. Этот грохочущий снежный сель мчался прочь, а за ним открывался зеленый мир.

Задыхаясь от крика, она бежит за снежной лавиной.

— Верни мою руку, — кричит она. — Что я буду делать без нее?..

Открыв глаза, озирается она по сторонам, хочет подобрать сползшее одеяло, укрыться, но не может. Правой рукой проверяет, ощупывает левую, бревном лежащую вдоль тела.

«Паралич?!»

На мгновение глаза застилает тьма.

Наверху она спать не могла и, когда, заболев, слегла, переселилась с постелью вместе в нижнюю комнату. Здесь не было слышно ни шума детей, ни расспросов гостей. И еще сюда ей хотелось потому, что пол тут был земляной. Большая часть ее жизни прошла в доме, похожем на этот, никак не могла она привыкнуть к дому сына с деревянными полами.

Она не знала, какое сейчас время суток. Если б можно было встать, открыть дверь и выглянуть наружу... Но тут вспомнилось ей, как давеча отворялась дверь, и в комнату ворвался холодный поток света. Значит, день на дворе, светло, спать она не должна, иначе, что станет делать ночью, до самого утра. В темной комнате, конечно, что день, что ночь, не различить, и все же днем она кое-как перемогалась, но провести без сна ночь было пыткой, мучением, поэтому она, как могла, берегла свой сон для ночи.

Мухи по-прежнему летали, утомительно жужжа. Ей казалось, что лежит она не на пружинной кровати в темной комнате, а стоит на самом краю земли, лицом к лицу с безбрежной пустотой, и стоит ей слегка шевельнуться в постели, как рухнет она в бездонную пропасть. Пустота эта словно граница мира, жизни, ее конец, куда человек обязательно должен прийти к концу своего существования и оказаться лицом к лицу с этой пустотой.

Болезнь сжигает нутро, но она не обращает на это внимания, зная, что боли и беды в этом возрасте приходят и уходят легко. Когда боли стихают, ее клонит ко сну, потом — пробуждение и снова — сон: сны и думы мешаются, переплетаются между собой, и она их уже не различает. Ей кажется, что все было вчера, позавчера, до самого последнего времени была она ребенком, была молодой, любила и была любима. Пршедших лет она не видит, не чувствует, не осознает быстротечности жизни.

У подножия садового склона тихо, бесшумно течет равнинная река. Днем она не слышит из-за шума во дворе, а по ночам отчетливо различает таинственные, переливчатые звуки воды. И тогда ей хочется подняться с постели, спуститься по садовому склону вниз, к реке. Но она так слаба, что не может сдвинуться с места, и беззвучно продолжает литься таинственная песнь реки, унося с собою прочь память ночи и темноты.

У нее пропал аппетит, а ведь человек в таком состоянии, даже если не хочет, должен есть, чтобы жить. Только ей не хочется есть, совсем не хочется. Уже и лекарства давно кончились. Но сыну об этом она не говорит. Знает, что у него дела. Он должен все бросить,



чтобы съездить в город за лекарствами. Тяжело обходиться без лекарств, она ждет, что он сам спросит о них, поинтересуется, но он молчит.

Дверь приоткрывается, она между сном и явью. Но даже с закрытыми глазами она знает, что это сын: он всегда приходит в это время. Придет, сядет рядом, возьмет в ладони ее руки-колодки и что-то тихо говорит, о чем-то спрашивает, она что-то отвечает. Она знает, что сын недоволен тем, что она лежит здесь, в нижней комнате. Помнит, как однажды ее, тяжелобольную, вместе с кроватью он перетаскивал вверх. Сына она понимала, понимала, что где-то он прав, но ничего с собой поделать не могла.

Сын с невесткой то и дело пререкаются, ей внизу все слышно. Известно ей и о холодке между ними. Все знала, но виду не подавала, потому что в судьбу семьи никто со стороны не должен вмешиваться, она это знала по собственному опыту.

Она не замечает, как уходит сын, потому как засыпает.

Едва прикрыв глаза, она тотчас ощущает дыхание Азраила в темноте, он сидит в углу, поджав ноги, на сыром земляном полу и смотрит на нее сквозь длинные ресницы, ждет удобного момента, чтобы уворовать ее дух. Стоит открыть глаза, Азраил исчезает. Так и воюет она с ним всю долгую ночь, до самого утра. А минуты, секунды тянутся медленно, как тяжело навьюченный караван. О приходе утра она узнает по звукам живости во дворе, кур, цыплят, коров. Узнает и успокаивается: тело, уставшее всю ночь бороться с Азраилом, засыпает. Так и спит в темной комнате до полудня, то и дело вздрагивая и просыпаясь.

На прошлой неделе внучка-малютка, лунный осколочек, проплавав, прокричав два дня, приказала долго жить, сглазили, наверное. «Кто может спать, тот не умрет», — говорят. После смерти ребенка, кроме сына, здоровьем ее никто не интересуется. А она почти и не замечает, когда приходит он, когда уходит.

Во дворе ветер завывал, что было сил. Она слышала мольбы и стенания голых ветвей, гнущихся под порывами ветра. Не помнит она, когда растопили печь, но ей холодно, кости ломит так, что она готова ползком добраться до печи и залезть в ее пылающее нутро. Завывающий снаружи ветер будто здесь, в темной комнате, пробирает ее насквозь. Ей казалось, что ничем уже не вытравить этот холод изнутри, так глубоко он забрался.

Ближе к вечеру ей стало легче, она приподнялась и села в постели. Но отголоски сна не оставляли ее. Какой-то звук, точно колдовство, звал ее к свету. Эхом отзываясь в ней, он удалялся, и сердце ее рвалось следом, чтобы слиться и уйти вместе с ним. Звук уходил, отдалялся, потом возвращался снова, увлекая ее за собой. Как она ни старалась, никак не могла освободиться от колдовства этого завораживающего голоса... И вдруг она почувствовала такое

облегчение, будто заново родилась. Взявшись за металлические решетки кровати, она встала, впервые в этом году поднялась на ноги.

Открыв дверь, вышла во двор. Холодные лучи меркнувшего на закате солнца слепили глаза. Во дворе никого не было. Только из верхней комнаты доносились голоса сына и невестки, они о чем-то спорили.

Ей хотелось все стоять и стоять во дворе, обозревая и ощущая широту и необъятность мира, но ноги вели ее под вяз напротив двора. Она присела на каменную плиту под деревом, прислонилась спиной к корявому стволу. Звук, поднявший ее с постели, позвавший ее к свету, шел из дерева, из самой сердцевины его. Она посмотрела на зеленые ветви, покрывшиеся листьями среди зимы. Впервые она видела, чтобы вяз зазеленел в эту пору. Звук из дерева, как сон, полнил душу, всем существом своим ощущала она, как звук этот с болью исторгается сердцевиной, корой дерева и проникает в нее.

Запрокинув голову, еще раз взглянула она на ветви. Глазам не поверила: зеленая листва вяза со стоном осыпалась на промерзшую землю.

*Перевод Надира Агасиева*

## ПЕСНЯ ОБЛЕТЕВШИХ ЛИСТЬЕВ

Зурна звучала по всей по округе, зазывая на свадебное веселье. Люди торопливо собирались на звуки этой мелодии.

Бабушка Сона, скрестив руки на груди, стояла в углу палатки, где шло веселье. Звуки зурны проникали в ее душу, будоражили что-то давно отжившее и забытое. Эти звуки заставили ее, больную, подняться с постели и придти сюда. Но сейчас звуки зурны пробуждали в ней новую, до сих пор не слышимую ею мелодию. В душе начинал звучать далекий голос, новый и непонятный.

Обычно никто не замечал ее на таких торжествах; она приходила, тихонько стояла в углу палатки, стараясь быть незамеченной, и также незаметно уходила.

Но сейчас, поддавшись волшебству мелодии, бабушка Сона все позабыла и ничего, кроме звуков зурны не слышала... Откуда шли эти звуки? Мысли ее унеслись в далекое детство и высветили самые затененные уголки памяти.

...В один из солнечных весенних дней, когда деревья начинали расцветать бело-фиолетовыми цветами, Сона вместе с другими детьми играла в прятки. Она спряталась на ветке туютника, широкие листья которой надежно укрывали ее.

Дети никак не могли ее найти. И когда они уже собрались идти домой, Сона с радостным криком прыгнула вниз, но, зацепившись платьем за сухую ветку, не удержала равновесия и полетела на землю вниз головой.

И это она хорошо запомнила.

Потом она выздоровела, и опять играла с детьми в прятки. Но что-то пошло не так после того падения, шли годы, ее сверстники подрастали, а Сона оставалась такой же маленькой. И по мере того, как росли ее сверстники, на ее спине рос горб, обезображивая ее тело.

Теперь, наблюдая за весельем в палатке, она вспоминала те былые дни. Невеста, покрытая фатой, сидела во главе стола со своими подружками. Среди родных, близких, знакомых людей Сона вдруг почувствовала себя глубоко одинокой. Ей хотелось сбежать отсюда, вернуться домой, в теплую постель, но это продолжалось только какое-то мгновение, потом она опять подпала под влияние этой чарующей музыки.

Как долго она не слышала ее. По мере того как эта музыка заполняла ее душу, печаль в ее глазах рассеивалась, как густой туман от солнечных лучей. От этого бабушка Сона молодела и на глазах превращалась в молодую женщину. Как будто это была не свадьба сына Черного Шамида и дочери пастуха Лятифа Гульсюм, а Сироты Исми и ее.

Под тутовым деревом, откуда она когда-то в детстве упала, Сирота Исми сделал ей предложение. Уходя на фронт, Сирота Исми просил ее, чтобы она дождалась его, говорил, что он обязательно вернется, заработает деньги, построит дом и сыграет хорошую свадьбу. Сейчас Сона забыла о том, что Исми так и не вернулся с фронта, что за годы ожидания своего жениха ее и без того скрюченное горбом тело скрючилось еще больше.

Все сверстники Соны давно уже умерли; только ее упрямое ожидание Сироты Исми непонятным образом поддерживало в ней жизнь. Но прошло шесть месяцев с того дня, как она перестала ждать его и, простившись с миром, слегла в постель, ожидая смерти.

Черная зурна все пела и пела. Гости, взявшись за руки, плясали яялу. Но Сона никого не видела, и никто не видел старую Сону. Но музыка, вливавшаяся широким потоком в ее душу, преображала ее, заставляя плясать ее тело.

Танцующие, не выдерживая ритм черной зурны, падали уставшие на сиденья.

Танцевальная площадка полностью очистилась. Зурначи заиграл печальную мелодию, заиграл так, что люди забыли о том, что они хотели танцевать, и притихли.

Наконец, и музыкант устал и замолк.

Одна бабушка Сона взволнованно стояла на своем месте; музыка, звучащая в ее душе, тянула ее плясать, руки-ноги просились в пляс, сердце заходило в пляс. Как ни старалась бабушка Сона устоять на месте, ничего у нее вышло, она и не помнила, как оказалась в центре палатки. Она танцевала в тишине в такт мелодии, раздававшейся в ее душе. Зурначи удивленно смотрел на нее и не знал, смеяться ему, плакать, или играть.

Но он быстро опомнился и стал подыгрывать ей на зурне, но никак не мог попасть в ритм танца бабушки Соны. Ни один инструмент не смог бы сыграть эту мелодию, по той простой причине, что ее никто и не слышал.

Бабушка Сона танцевала перед невестой, как будто хотела вывести ее из свадебной палатки, но не выводила; как будто ей хотелось самой сесть на ее место, но она не садилась.

Дочь пастуха глядела на нее, и из глаз ее текли слезы, но слезы эти не были видны под фатой. Никто не старался посадить старушку на место или вывести ее из палатки, все с удивлением глядели на нее и ждали, чем окончится этот необычный танец.

Бабушка Сона продолжала танцевать, и вдруг она начала смеяться. Потихоньку люди стали присоединяться к ней. В палатке стало шумно. Сона заливисто смеялась и продолжала танцевать, казалось, ее больше ничто на свете не тревожит. Зурначи так и не смог попасть в такт ее танца и играл какую-то странную, непонятную мелодию. Бабушка Сона, танцуя, вышла из палатки и направилась к воротам. Танцуя, она вышла на улицу Аг йол, пересекающую всю деревню.

Гости, приглашенные на свадьбу, последовали за ней. Потеряв во время танца свои старые рваные галоши и черный платок, она, танцуя, босая, с всклокоченными волосами, вела за собой толпу, сама не зная куда.

Зурначи Гара все еще старался попасть в ритм танцующей Соны. Но его попытки так и остались безуспешными. Люди хотели остановить Сону, но почему-то не останавливали, и Сона, танцуя, продолжала свой путь.

Вдруг она выпрямилась, горб исчез. Сгорбленная старуха вдруг превратилась в стройную статную женщину.

Увидев преобразование Соны, зурначи Гара замер, и странная мелодия, которую он наигрывал, замерла на кончиках его пальцев. Теперь музыка, раздававшаяся в ее душе, стала слышна отчетливее. Она танцевала так, как будто хотела раствориться в этой музыке, превратиться в дух и растаять в воздухе.

\* \* \*

Завтра наступит утро самой удивительной ночи; начавшийся с вечера осенний дождь будет идти, не переставая, всю неделю и зальет дома, деревья, размочит все дороги.

Бабушка Сона этого не знала.

Завтра Сирота Исми позовет ее под тутовое дерево, обнимет ее под проливным дождем и будет всю ночь утешать ее.

Бабушка Сона этого не знала.

Завтра ночью под холодным осенним дождем опадут листья с тутового дерева, и больше оно никогда не зазеленеет.

Но тетушка Сона об этом не узнает.

# Игорь ПАВЛЮК

/ Киев /



## САМОПАРОДИЯ

Осень такая, словно  
Рукописи горят.  
Жизни собачьей ровно  
Лет уже пять подряд.

Вот и звезда, обрушена,  
Вновь прилетела, зла.  
И облетела груша,  
Что в первый раз цвела.

Бомж божества светлее,  
Всё при себе свое.  
Летом и день длиннее,  
Идея — к черту ее.

К черту любовь и голод,  
Свечку возьму я в долг.  
Вчера неказистый Воланд  
Смешно забежал в наш морг.

Нынче стреляли в волка —  
Космосом его шерсть.  
Мир — такая тусовка,  
Где заправляет Смерть.

Птицы мои да цветочки,  
Вечного детства даль,  
У вас не понял ни строчки,  
Но всё равно вас жаль.

Встретимся за пределом  
(За фиолетом — дым),  
Пашне за переделом  
Или грехом святым.

Тяжко стареет вишня  
В черном огне эпох.  
Дубы многолетние вышли,  
Срезанные в сугроб.

Инопланетный лучик,  
Сбитый стеклом озер.  
Все мы знакомы, лучше  
Будет смешной повтор.

Мы живем — не иначе  
Колхозный цепной отряд.

Мастер пишет и плачет:  
Рукописи горят...

## ВЕСЕННЕЕ

Тесно.  
Черная, как мрамор, ночь.  
Не тесно только в полете.  
Стонут женщины и кричат петухи.  
Кот, как белая глина на клети.

Весна, как восстание, пришла сюда.  
Заплескали крылья ангелов пьяных.  
Словно пуля сквозь душу, святая вода  
К самой себе призывает туманы.

Гнезда пустые.  
Журавликов крик.  
Журавли улетели, как листья.  
Свято и просто, к чему я привык  
За тридцать лет или триста...

Звезды в полете. Шрам золотой,  
Невидимые нервы ветра.  
Мавка из камня, Лукаш худой,  
На всё готов за пол-литра.

Пузо провинции.  
Напыщенный центр.  
Слепой скрипач на перекрестке  
Песню продает за хлеба цент.  
Курва стоит.  
Ласкать до последней крошки.

Яблони юные уже вот-вот зацветут.  
Расцветать труднее, чем засыпать.  
Весна.  
Поднимается даже ртуть.  
Тесно только летать.

## **В БАРЕ**

Фонари погашены.  
И холодное пиво.  
Платит кто-то ненашими  
Выпившим и красивым.

Память, точно подрагиванье:  
«Быть или не быть».  
Плач гитары-радуги  
На женской груди.

Ляжет гроздь лепестков  
Тихо и неуловимо  
На небесный покров  
Сквозь нашествие дыма.

Можно жить взаперти  
И на птиц посмотреть,  
Но нельзя запретить  
Им на юг улететь...

Где душа и золото  
Быть мечтают вместе,  
Продается молодость  
Дешево и честно.

*Перевод с укр. Виталия Науменко*



## Сергей ЛАЗО

/ Тернополь /

### МУЗЫКАНТЫ УХОДЯТ ИЗ МИРА...

Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields.  
Nothing is real and nothing to get hung about.  
Strawberry Fields forever...

*The Beatles — Strawberry Fields Forever<sup>1</sup>*

Не виню... Так и знай,  
Это был мой лучший танец между смыслом тьмы и света.  
Не хочу... Но прощай,  
Будь как прежде недоступна и легка, как бабье лето...

*В.Хурсенко*

В советские времена часто звучала поговорка «Хороший человек — не профессия». Может, в обиходной жизни, когда всё сводилось к понятию «шо я могу с этого иметь?», оно и логично, но когда завершается человеческая жизнь и время подводить черту, эта логика не работает. Вдруг становится ясно: быть хорошим человеком — действительно профессия, и едва ли не самая сложная из всех существующих. Меняется шкала оценок, и неминуемый итог не поддаётся ретуши. Хотя, как принято, об ушедших в мир иной говорят либо хорошо, либо не говорят вообще. Нет идеальных добродетелей, как нет и абсолютных злодеев. Всё перемешано, важно лишь в каких пропорциях. Больше светлых тонов — веселее картина, а значит, есть о чём вспомнить, есть что сказать...

За человеком тянется шлейф прожитой жизни: его царства, мечты, осуществлённые и несбывшиеся, его дела, поступки, разочарования и открытия, музыка души и ритмы сердца.

---

<sup>1</sup> Позволь мне забрать тебя с собой — ведь я возвращаюсь в Стробиерри-Филдс. /Ничто не реально и ничто не заслуживает внимания./ Земляничные поляны навсегда... Стробиерри-Филдс (англ. «Земляничные поляны») — сиротский приют, неподалеку от которого в детстве жил Джон Леннон.



Больно, когда уходят музыканты. И чем глубже проникают их песни в наши души, тем невосполнимей утрата.

Музыканты уходят из мира,  
Преждевременно, безвозвратно.  
Музыканты уходят из мира...  
Видно, с миром что-то не ладно.  
Наугад календарь листая,  
Покидают нас друг за другом,  
Души их сбиваются в стаи,  
И летят, словно птицы к югу.  
Ну а мы, с выражением скорбным,  
Их записываем в герои,  
Привыкая к речам надгробным,  
И к хождению печальным строем.  
Мы дадим им салют из танков,  
Поскорбим об ушедшем духе,  
И попляшем на их останках,  
Как бескрылые, злые мухи.  
Музыканты уходят из мира,  
Оставляя бездарям место,  
Музыканты уходят из мира,  
И причина лишь им известна.  
Может быть, расплевавшись с болью,  
Ставят точку почти насильно  
И выходят от нас на волю,  
Словно зритель с плохого фильма.  
То же Солнце на небе, вроде,  
Та же осень и то же лето,  
А они все равно уходят,  
— Это очень плохая примета...<sup>1</sup>

Впервые эту примету мы ощутили в октябре 1970 года, когда почти одновременно ушли из жизни Джанис Джоплин и Джими Хендрикс. (Им было по 27 лет! Нам — по 17, и казалось, они очень взрослые. Лишь сейчас понимаешь, как рано они ушли, и как много успели сделать...) Собрались компанией в кафе, разбросали по столу диски и фотографии, пили водку, трагически сокрушались: Как?! Почему?! Зачем?!..

Спустя десятилетие, ушёл Джон Леннон... Эту грустную весть принёс Володька Сардак. Я играл в ресторанном оркестре. Подошёл к микрофону, объявил: «Сегодня убили Джона Леннона». Спел «Imagine» и ушёл со сцены, играть было невозможно.

Из отечественных талантов поразила гибель Игоря Талькова и совершенно ошеломила смерть Владимира Высоцкого. Эта трагедия,

<sup>1</sup> Стих А.Макаревича. (Прим. автора)

словно цунами, прокатилась по всей стране, освободив великого барда от необходимости рвать горло, струны и наши сердца. Хотя сердца рвались сами по себе. От детонации.

Ещё более рвёт душу прощание с талантливыми людьми, которых знал лично. Да что там знал, вместе жил, творил, сочинял, радовался, плакал, пил огненную воду, обнимался, строил безумные планы на будущее. Вот оно, это наступившее будущее, и кто знает, как оно видится (и видится ли вообще?) улетевшим душам наших друзей...

### **Виталий Колесник**

Когда-то учился в музучилище, но так его и не закончил. Романтик, прятавшийся в раковину себя самого. Бессребренник, собака по гороскопу и по жизни. С «Ямахой», издавшей виды, которую таскал в Тернополе, Москве, Питере, по ресторанам и гастролям. Ничего не скопил, один в прокуренной полутёмной комнате, с «битами» на обшарпанной стене и продавленным диваном. Осталась песня.

Кто, если не ты,  
Грусть мою по ветру развеет...

В Тернопольском драмтеатре ставили смелую по тем совковым временам пьесу прибалтийца Грушаса — «Любовь, джаз и чёрт». Нужна была песня. Я написал текст и отправился к Колеснику, который жил в соседнем дворе. Он, конечно, загорелся, сразу сел за клавиши. Через день запаниковал режиссёр, мол, песня нужна срочно, без неё не выстраиваются какие-то мизансцены и так далее. Я позвонил Витьке. Тот стал пространно формулировать вызревание некоего полифонического замысла, но я остановил эти творческие метания одной фразой:

— У тебя есть день. Не успеешь, отдам текст Перчуку...

Игорь Перчук был очень уважаем среди музыкантов и, понятное дело, с песней бы не тянул. На следующий день я лично заявился к творцу, не стал слушать его сбивчивых аннотаций и предисловий — показывай, что есть! Он обречённо сел за пианино, приладил к подставке скомканный текст и выдал. «Какой же ты, собака, красавец!» Я обнимал его, рассыпался в восторгах, которые по большому счёту мало что значили: мелодия, голос — вне всяких похвал! Витя конфузился:

— Голос как голос... Немного похож на Фила Коллинза...

Думаю, если б Колесника записать на тех студиях, где работал Колинз, последнему, возможно, пришлось бы потесниться.

В общем, песня удалась и явно тянула на шлягер. Однако не хватало припева. Думали, рожали, но ничего путного не выходило.

Подвизали даже Перчука, случайно залетевшего в Тернополь. Он, оторвавшись от рюмки, что-то наваял на пианино, и закрыв крышку, снисходительно подытожил:

— Ну, что-то в этом роде...

Закончилось тем, что мы коллегиально сочинили припев, который и по сей день вызывает некоторую неудовлетворённость. Витькин запев сильнее припева, а в песне должно быть наоборот.

Как-то, почти одновременно, мы сделали ошеломляющее открытие: иногда в снах звучали песни, которые смело можно было назвать шедеврами. Такие откровения, конечно, вдохновляли, и мы делали героические попытки как-то зафиксировать ночные видения. Я настраивал себя на аварийное пробуждение. Безрезультатно. Бессовестно храпел, а дивные песни, райски звучащие во сне, бесследно исчезали, оставляя утром лишь воспоминания об испытанной радости. Витя пошел дальше. Он изобретал и экспериментировал, пытаясь все-таки ухватить за хвост ускользающие шедевры. Около разваливающегося дивану — места дислокации снов — он установил кассетный магнитофон с микрофоном, чтобы при малейшей возможности, едва вынырнув из сонных тенет, успеть записать заветную мелодию. У меня для этой цели в изголовье всегда покоились ручка и открытая тетрадь. Как-то среди ночи, не зажигая свет — не вспугнуть бы! — даже что-то записал, однако утром так и не смог разобраться в таинственных каракулях. Витькин опыт оказался успешнее. Как-то он позвонил в передобеденную пору и взволнованно сообщил:

— Только что проснулся. Удалось записать! Какая тема! Чувак, ты очумеешь! Это атомная бомба! Причем, даже не по пьяни!..

Неужели удалось?! Я полетел к Колеснику (нас разделяли каких-то сто метров) — и вот мы уже припали к заветному магнитофону. Тема действительно была гениальной. Даже не сговариваясь, сразу определили название: Yesterday. Жаль лишь, что значительно раньше она приснилась Полу Маккартни...

Набирали обороты шальные 90-е. На глазах рождался и становился на ноги отечественный шоу-бизнес. Дико, хаотично, беспредельно, как всё в этой разваливающейся державе... Зато пьянила упавшая с неба свобода. Из Питера на побывку в родной Тернополь приехал Саша Назаров, создатель и лидер довольно известной группы «Форвард». Он демонстрировал свои аранжировки, которые создавались на новейших синтезаторах, сэмплерных инструментах, и мы задыхались от восторга — наконец-то стали пробиваться правильные звуки, появилась возможность достойно одеть собственные песни. Он сотрудничал с композитором А.Морозовым, я очень удивился удачному сочетанию совкового лиризма и современного электронного звучания. Интересный голос Виктора Салтыкова (по рассказам, недавно оторванного от токарного станка), цепляющая песня «Улетели листья» (достойный текст поэта Николая Рубцова)... Назаров — красавец: абсолютно раскован, прост, весел и циничен. Щедро угощает

собравшихся музыкантов, протягивает кому-то тугой бумажник, «возьми что-нибудь выпить и закусить», никогда не пересчитывает деньги — и это без апломба, без понтов и намёка на собственную значимость. Уезжает покорять Москву другой бас-гитарист, Володя Дубовицкий, и — о, чудо! — покоряет. Фантастическая карьера: старт — ансамбль Валентины Толкуновой, сложный тандем с пока ещё мало известным Игорем Крутым, затем «АПС», «Песня года», Давид Тухманов, роды «Электроклуба», куда перетянул и Назарова, и Салтыкова... Через год-другой приехал повидаться с родными. Встретились, он знакомит с новой женой (рыжеволосая огненная красавица с восточными глазами). Мне вскользь нашёптывает: «Увидишь, скоро она будет популярней Аллы Пугачёвой...» Я иронично улыбаюсь и стараюсь запомнить фамилию, явно взятую напрокат из музыкальной терминологии: Ирина Аллегрова. Зря, кстати, улыбался...

Тогда-то и возникла идея создать свою команду, ну и, ясное дело, занырнуть под крыло «Электроклуба», быстро набирающего популярность. Застрельщиком проекта стал Анатолий Мельник, соратник Дубовицкого и Назарова по первой тернопольской команде «Искатели» из далёких тинейджерских 70-х. Так появился квартет «Макси», который стал гастролировать с «Электроклубом», играя в первом отделении на разогреве. Работа в раскрученном коллективе, с хорошими музыкантами, конечно, много дала. Я писал тексты, Мельник — музыку, аранжировку делали сообща, хотя больше всех потел над синтезатором Толик. Витя Колесник пел. Голосом, слегка похожим на Коллинза. Он и песни пописывал, и на клавишах играл. В общем, сделали вполне приличный по тем временам альбом, и виновый лонг-плэй вот-вот должен был выйти в монопольной «Мелодии». Но, зная, не судилось, и зависли наши песни на километровых бобинах студийной плёнки... Я в состав «Макси» не входил, на гастроли не ездил, но всегда ждал возвращения приятелей, иногда приезжал в Москву, где они на Шаболовке снимали квартиру... Время шло, жизнь и обстоятельства вносили свои коррективы. Первоначальный «Электроклуб» разваливался, нужно было решать, что делать дальше. Приглашала Аллегрова, но решили остаться с Салтыковым. «Макси» трансформировался в «Армию любви»... Однако и этот проект не выдержал испытания временем. Музыканты вернулись домой. Витя женился, уехал с женой в Питер. Новых песен я от него не слышал — вероятно, бытовые бури не способствовали вдохновению. Однажды он признался:

- А ведь Аллегрова хотела петь нашу песню...
- Какую? «Кто, если не ты»?
- Да. Но я не дал.
- Ну ты мудило... Чего же не дал?!
- А мне что тогда петь?
- Так новую песню написали б!!!

Потом Колесо вернулся в Тернополь, уже без жены, грустный и непривычно пополневший. Всё в ту же прокуренную комнату с пианино и старым надорванным плакатом битлов. Он по-прежнему висел на стене, испещрённой номерами полузабытых телефонов. Витя играл в ресторанчике, где-то на отшибе, иногда выныривал, появлялся на горизонте, однако былого бунтарского единения уже не было. Все мы оставались друзьями, но при этом у каждого была уже своя собственная жизнь... А если не связывает жизнь, то что же связывает?

Года разводят... А с годами нас  
Уж не разлуки — встречи разлучают.  
Спасает, что никто из нас не знает,  
Кто проведёт кого в последний раз.

Пути Господни неисповедимы, и так случилось, что именно мне пришлось провожать его в последний путь. Как-то нелепо всё произошло: Витя поздно вернулся с работы, утром плохо себя почувствовал. Отвезли в больницу, а вечером взорвалась поджелудочная. И всё. Никто ничего толком не знал, никто не успел помочь. Когда я примчался в больницу, он был уже в морге. Там сразу же задали вопрос:

— Надо помыть, одеть, привести в порядок. Кто будет оплачивать?

Вот уж не думал, что когда-нибудь буду организовывать Колесу услуги морга... Стали искать одежду, нашли какой-то пиджак, брюки, в которых его никто раньше не видел. Возникла дилемма, в каких туфлях хоронить: старых или новых, даже нехоженых? Настояли, чтоб ушёл в новых...

Потом привезли гроб, и водитель траурного автобуса заявил, что не обязан укладывать покойников. Вот и пришлось вдвоём с Вадимом (тоже музыкант и старый приятель) переносить негнущееся тело с бетонного стола в деревянный ящик. Даже в этом кошмарном состоянии не мог заставить себя воспринимать происходящее, как свершившийся факт. Смотрел на землистое осунувшееся лицо и не верил, что это Витя Колесник. Тот самый, когда-то вернувшийся с первых московских гастролей, весёлый, счастливым, неожиданно разбогатевший на новые джинсы и только-только появившийся кассетный плеер «Sony Walkman»... Воткнув мне в ухо один наушник, и одновременно слушая другой, он восторженно делился: «Новый Стинг. Тру-у-ба-а! Вот как надо лабать!»

— Да ты сам поёшь как Коллинз!

— Не-е... Так, иногда, слегка похоже...

Кто, если не ты  
Грусть мою, словно сон, развеет.  
Кто, если не ты,  
Высушит и слёзы, и дожди,

Кто руки мои  
В ласковых ладонях согреет,  
Кто, если не ты, если не ты.  
Одна лежит дорога в два конца,  
Любовь обоих делает сильней,  
И если разлучаются сердца,  
Становятся счастливей и добрей...

.....

Далее проигрыш.

### **Андрей Остапенко**

Поколение музыкантов, пришедшее после нас. Уже не запрещалась рок-музыка, уже Ниагарским водопадом бушевал музыкальный поток, и уставшие гэбисты перестали глушить музыкальные каналы «Голоса Америки». Вовсю расцветала пора ВИА (вокально-инструментальных ансамблей), формировался отечественный поп-рынок. Совок отражал поп-музыку, словно кривое зеркало, песни лепились под определённый шаблон (это можно, а то — нельзя!), даже фирменные инструменты, привезенные из-за границы, звучали как-то импотентно, без живого импровизационного драйва. С одной стороны худсоветы отфильтровывали откровенную пошлость и китч, с другой — выхолощивали живой голос кухонь, дворов и подворотен. Даже названия тех самых ансамблей, дозволенные министерством культуры, были по-советски аккуратно причёсанные. Вспомните: «Добры молодцы», «Самоцветы», «Весёлые ребята», «Лейся, песня», «Водограй», «Синяя птица», «Песняры»... Андрей играл в коллективе Софии Ротару и был профессиональным музыкантом. Приобретая нужный опыт и осознав, что творческий взлёт там для него не предусмотрен, он вернулся в родной Житомир, обустроил музыкальную студию и стал творить как композитор и аранжировщик. Я застал его в облаках сигаретного дыма, вдохновенно обкуривающего заветный синтезатор «Роланд». У него всегда были самые последние звуковые примочки (впоследствии компьютерные программы). С техникой он не то, что дружил, он колдовал над ней. Я готовил свой первый альбом, послал Андрею две новые песни и вскоре приехал для возможного сотрудничества.

Близился конец прошлого тысячелетия (фраза, вырванная из контекста, приводит в ужас — словно период нашей синтезаторной деятельности пришелся на какое-то раннее Византийское средневековье!), время катилось к двухтысячному году. Андрей встретил весялой, чуть ироничной улыбкой и без предисловий выпалил:

— Я прослушал запись, и должен признаться, произведения мне понравились. Если честно, даже не ожидал...

Работалось легко и быстро. Очень порадовала его интерпретация песни «Я ушёл», где губная гармошка звучала, как у Джаг-

гера. Но живой-то гармошки не было и в помине, эти звуки он извлекал из внутренностей своих мигающих электрических ящиков, спаренных разноцветными проводами, и звучали они как настоящие, даже лучше. Я не знал, кто мог бы так сыграть на губной гармошке — о тембре звучания вообще говорить не приходится. И тема «Унесённые любовью» звучала не стандартно, интересно была прописана гитара, сама манера игры чисто гитарная, хотя проигрывалась на клавишах. В общем, наш первый блин не вышел комом, а доставил удовольствие, утвердив взаимное уважение и крепкую дружбу. Контрольное прослушивание свежеспеченных песен, конечно же под коньячок, в его синей «Хонде», честно заработанной и недавно пригнанной из Германии...

И сам богат безмерно,  
Покуда не богат...

Эти строки вполне соотносимы с Андреем Остапенко. Он никогда ни на что не жаловался, всегда излучал улыбку. От него постоянно исходил весёлый позитив, вне зависимости от того, чем он занимался в данный момент: трудился, играл, сидел за рулём, чокался рюмкой или рассказывал анекдот. Всегда одержим работой, сутками просиживал на студии, а ведь была ещё семья, киевская квартира на улице Саксаганского, дети, быт, родственники в Житомире... И он это разруливал, имея всё, и отдавая всё, без раздумий, напряга и сожалений.

Постоянное место обитания Остапа — студия Михаила Дидыка в дальнем торце Киевского института музыки им. Р.М.Глиера. Маленькая комнатка, заставленная компьютерами, аппаратурой, клавишами, плеерами, кучей дисков. Раньше это была аппаратная, почти всю переднюю стенку занимало темное окно, когда-то смежное с несуществующей нынче артистической. Окно это утратило первоначальное назначение и теперь служило местом размещения фотографий, визиток друзей и соратников (приятно отметить, среди них красовался и мой фэйс). Существует легенда, что Юлий Цезарь обладал способностью выполнять несколько дел одновременно. Уверен, Остапу он бы проиграл, потому что я не раз становился свидетелем примерно такой картины: захожу к Андрею, он сидит в кресле, удерживая коленями компьютерный блок и что-то туда пристраивая, свободной, третьей, рукой здороваются со мной, четвёртой прикуривает, пятой угощает домашним молдавским вином (кто-то отблагодарил!), шестой доигрывает музыкальную фразу, а седьмой записывает (мне!) последний альбом Джорджа Бенсона, и при этом ведёт деловой разговор по двум телефонам...

— Андрюша, надо сделать аранжировку... Сможешь?

— А что, есть подходящая жертва?

И всё это одновременно! А ведь ещё постоянно кто-то заглядывает, чего-то хочет, и с этим тоже надо как-то разбираться... Единственную свободную от полок и аппаратуры стену украшали афиши, где Остапенко выглядел неприлично молодым, с беснующимися кудрями и абсолютным отсутствием живота. Выше располагались выгравированные на золотистых пластинах дипломы авторских побед на «Шлягере» и других телерадиопроектах.

Особенная, пламенная и взаимная любовь у Остапа была с техникой. Наверное, она возникла ещё в совковые времена, когда в комплект музыкальных инструментов обязательно входил паяльник (и припой в спичечном коробке). Время неслось вперёд, и хотя паяльник традиционно присутствовал среди прочих аксессуаров андреевой каморки, её хозяин был постоянным обладателем модных телефонов и навороченных программ. Сев ко мне в машину, он тут же настроил десяток нужных радиостанций (я безрезультатно бился над этим не один месяц!), а потом выдал:

— Нужно добавить низов, у тебя в динамиках сплошная середина...

Я даже не предполагал, что там прячется эквалайзер! Вообще, все эти ручки, кнопки, колёсики, тумблеры, вызывающие у меня страх и растерянность, для него были добрыми друзьями и близкими родственниками.

Очень непросто было заманить Остапа на какое-то мероприятие, проходившее вне стен студии. Даже при его желании поприсутствовать, тотальная занятость не позволяла. Мне это удалось дважды: в первый раз на авторском вечере в Союзе писателей (он аккомпанировал моему дуэту с Натальей Сумской), второй — когда приехал в Киев горячо любимый нами гениальный Маркус Миллер. Я вручил приобретённый заранее билет и стал шантажировать:

— Если не явишься на концерт, пожалуюсь лично господину Миллеру...

Подействовало. Ну и, понятно, послеконцертные «ахи», восторги, и «горит она, эта работа»... А вот ко мне на юбилей он приехать не смог, зато прислал дарственную фонограмму с надписью: «Бессмертному Творцу в День Совершеннолетия!!!» Это в мои-то 50! Я пел:

И хоть былых дней не вернуть,  
Из них открыты в завтра двери,  
Важна единственная суть —  
Любить, надеяться и верить...

Аплодисменты делили поровну. Как, впрочем, и веру-надежду-любовь.

Финал был трагичен в своей неожиданности и фатальности. Позвонили друзья, сообщили: у Остапа серьёзные проблемы, он на обследовании в житомирской онкобольнице. Что хорошего в подобном



известии? Немедленно позвонил Володе Шинкаруку, который, конечно же, знал больше. Конкретика резанула по живому: саркома, шансов нет... Вечером позвонил Андрею, шутили, да, мол, надо сдать анализы, а там, через пару дней увидимся в Киеве...

Через пару дней его не стало.

А ещё через неделю состоялся вечер памяти Андрея Остапенко, и пришло много талантливых людей, и мемориальным музеем стала его комнатка, где всё, даже начатая пачка сигарет и мобильный «apple», были на своих местах; так, словно он только что вышел, просто так, на минутку, и вот-вот появится, с этой неистребимой провокационной улыбкой, которая нескончаемо прокручивалась на экране, и друзья из «ManSound» пели реквием, и звучали слова об ушедших музыкантах, такие простые и такие ёмкие...

*«Мы жили в одно время, в одной стране, в одном городе, вместе играли, пили, дружили. Просто любили жизнь. Потом вам суждено было уйти в лучший из миров, а нам остаться здесь. С годами стало казаться, что вы всё-таки были лучше нас, может потому, что мы так и не достигли вершин, о которых мечтали когда-то, и во многом из-за этого ваши светлые имена сегодня незаслуженно преданы забвению. Простите нас за это. Коллеги-музыканты, братья по цеху, друзья далёкой юности. Нас разделяет небо, но связывает память, ибо до тех пор жив человек, пока о нём помнят».*<sup>1</sup>

Соло.

### **Вячеслав Хурсенко**

Кому судьба — мать родная, а кому — мачеха. Славик Хурсенко каким-то удивительным образом наследовал оба эти понятия. Человек, владеющий чудесным голосом, написавший десятки отличных песен, лауреат музыкальных конкурсов и фестивалей, имевший диски, клипы, большие сцены, остался за кулисами славы и популярности, не пиарился в раскрученных телепрограммах, не зависал в хит-парадах. При этом народ любит и фамилию знает. Почему так? Этот вопрос давно стал риторическим, логического ответа не найти, а обстоятельства чаще всего складываются в пользу воинствующей посредственности. Увы. Может, не судилось ему встретить хорошего продюсера, а может все неудачи провоцировал его характер, взрывной, импульсивный, иногда романтично-наивный, а чаще нрав городского парня нашего двора, отстаивающего простой, но справедливый кодекс чести. Это в школьных пенатах в чести состояли опрятные отличники с комсомольскими значками на выглаженных рубашках. В жизни же уважали крепких парней со своими взглядами, умевших делиться последней сигаретой и глотком вина, умевших дать по роже за обиду и предательство, умевших заставить плакать сердце, когда под

---

<sup>1</sup> Реквием «Man Sound», в память о Владимире Михновецком.

рукой была гитара. Такие не стояли в очереди за счастьем, не лизали задницы состоятельным и влиятельным дядям. Такие спорили до изнеможения, дрались до крови, любили честно и обречённо...

Мои распахнутые окна  
Вдохнули звуки городские,  
А в них сливаются так часто  
Шаги знакомые людские.

Мои распахнутые двери  
Тебе, любимая, так рады.  
Скажи то ласковое слово,  
И мне под силу все преграды.

Мое распахнутое небо  
Услышит песни этой звуки.  
Я так давно тебя не видел,  
Меня пытаются дни разлуки.

Мое распахнутое солнце  
Мою любовь так не согреет,  
Как твое трепетное сердце,  
Оно понять меня умеет.

Твои глаза темнее ночи,  
Необъяснимые вопросы,  
Как не оконченная сказка  
И как божественные росы.

Мои распахнутые руки  
Тебя ласкать не перестанут  
И не прощу себя уж, если  
Тобою буду я обманут...

Его песни сюжетны. Можно, конечно, придираться к несовершенству отдельных строк, но, во-первых, это не стихи, а песни, а во-вторых, — страницы жизни, реальной, такой, какая она есть на самом деле.

Кого чекала, я не знав,  
Пришов і все тобі сказав,  
І в поспіхах тебе поцілував.  
Я не білів, не червонів,  
Я кров твою на мить зігрів,  
І те зробив, чого давно хотів.  
Бо я твої книжки носив,  
Бо я твоїх піжонів бив,  
Бо я тебе по-справжньому любив...

Самая известная песня Хурсенко, его визитка, — это, конечно, «Соколята». Достаточно хоть раз услышать её, чтобы стало ясно, песня эта навсегда прописана в вашем сердце. Пусть не каждому она покажется самой лучшей, но то, что она есть — факт неоспоримый. Родилась она много лет тому назад, написана под впечатлением реальной жизненной драмы, постигшей известного певца В.Зинкевича, ему же и предназначалась для исполнения. Судьба распорядилась по-другому: «Соколята» оказали на Зинкевича такое душевное потрясение, что петь эту песню он не мог. Ничего в этом мире не происходит случайно, потому что исполнить её довелось автору, и, поверьте, никто бы лучше него эту песню не спел. Драгоценный камень редкой огранки в филигранной оправе аранжировки Дмитрия Гершензона:

Крутилось пір'я на вітру, і я згадав негоду ту,  
В яку мене моя любов покинула.  
Виймали жало із грудей очата двох моїх дітей,  
І вся моя любов на них рікою хлинула.  
Зростають у гніздечку соколята  
О, боже, ти за все мене прости.  
О, як я їх не хочу відпускати  
У простори юнацької мети.  
В руках моїх така велика сила,  
Та долю не затримати нічим.  
Сини мої, візьміть мої вітрила  
Та й батька не забудьте поміж тим...

«Соколят» записывали в Луцке. Вот, как об этом вспоминает автор аранжировки. «У нас в студии стоял старенький аппарат, который мы называли «Геббельсом». Старинные магнитофоны в те времена не позволяли накладывать голос. Слава пел мне на ухо мелодию, а я играл аккомпанемент. Нам нужно было ухитриться записать песню практически с одного дубля. Но, к сожалению, первый вариант оказался неудачным. Помню, холод был ужасный. Тогда мы хлебнули спирта (держали флакончик для протирания магнитофонных записывающих головок) — и все пошло. Именно эта запись звучит до сих пор».

Моё знакомство со Славиком состоялось на стадионном концерте Виктора Павлика в его родной Теребовле. Накануне Витя позвонил и сообщил:

— Хурсенко будет ехать из Луцка, через Тернополь. Созвонитесь и договоритесь, на чьей машине поедете, зачем гнать две...

Мы встретились возле Палаца культуры «Березиль». Он подкаптал на «восьмёрке», когда моя серая «Лянча» уже стояла у служебного входа. Пафосней, конечно, было ехать на моей, но Славик пересаживаться не стал, и мы помчали на его боевом коне. В атмосфере витала какая-то ревнивая настороженность: я уже был автором

двух нашумевших хитов, у него за спиной развевались «Соколята», в общем, было, что делить... Однако вскоре это мальчишеское соперничество благополучно развеялось, а впоследствии трансформировалось в добрые дружеские отношения.

Однообразная попса утомляла. Хотелось сделать что-то нестандартное, и я решил осуществить идею, показавшуюся весьма оригинальной. Автор-артист. Концерт автора и артиста в одном лице. Сюда же удачно вписывалась презентация новой книги и диска. В таком ракурсе у меня со Славиком складывался отличный дуэт, идея ему понравилась и вскоре была удачно воплощена на сцене тернопольского драмтеатра. Увертюрой стало театрализованное чтение артистами стихов из моей книги «Магія кружіння», после чего оба выступили как авторы-исполнители своих песен. Вячеслав Хурсенко подкупал простотой и абсолютным отсутствием модной прилизанности, что в костюме, что в манере исполнения. Выйдя на сцену, он снял пиджак, закатал рукава — пришёл работать, а не красоваться в ожидании аплодисментов. Комментировал песни мало, но с обязательной житейской интригой, подогревающей зрительский интерес и лишней раз напоминающей: всё, звучащее на сцене, — часть его жизни.

— Сейчас хочу спеть песню, которую посвятил отцу. Я вырос без него, и встретились мы уже в зрелом возрасте. Если б встречались чаще, я, наверное, не написал бы «Соколят»...

Кохану загубив, бо соколом літав за хмари.  
Був чортом на землі і падав у хмілю у чари.  
Чого шукав я там, де лихо — як сльота,  
Навіщо долю проклинаю...  
Гірка вона, бо нудить самота,  
Бо й досі ще гуляю.  
Ні жінки, ні дітей, ні тину, ні дверей — могила.  
Чи є ще та любов, щоб зле моє життя простила...  
Нема її, нема, нап'юся й не засну,  
І ту, що загубив, — згадаю.  
Зна тільки Бог — любив лише одну,  
Хоч й досі ще гуляю...

Пронзительная исповедь о потерянной любви и бесконечном одиночестве. И горечь, и жалость, и даже сочувствие к человеку, бросившему тех, за кого был в ответе...

— А вот история, которая чуть не довела маму до инфаркта. Вернее так, это была такая любовь, что когда о ней мама узнала, то потеряла сознание на работе...

Мне не было семнадцати, ей было двадцать пять,  
Когда она решила меня околдовать.  
«Ты мой глоточек жизни...» — шепнула мне она,  
Раздела как ребёнка и выпила до дна.

Она была богиня в натуре и в любви,  
Она во мне дышала, жила в моей крови.  
Я помню дни и ночи, и даже каждый час,  
Антоновские песни, в которых всё о нас.

Это было, было, было всё о нас.  
Это было, было, было всё у нас.

Мне не было семнадцати, ей было двадцать пять,  
Когда о скромном сексе я начал забывать,  
Звезда моих желаний горела до утра,  
А утром повторяла: «Мой маленький, пора...»  
Как жаль, что нашим звёздам когда-нибудь пора,  
Как жаль, что эта книга прочитана вчера.  
Жил-был хороший малый, жила-была она,  
Он был её игрушкой, глотком её вина.

Конечно же, бурные аплодисменты, которые Славик прерывает следующей фразой:

— Но я хочу добавить, что это ещё не конец песни (в зале хохот). Прошло несколько лет... такие приятные воспоминания... я решил написать ещё одну.

Был для неё я тёплым и сладким, летним и долгим дождём,  
А в остальном был строгим и кратким, но это сюжет не о том,  
Совсем не о том...  
Всё мне казалось в жизни вечным,  
Был я наивным и беспечным.  
Ну, а сегодня закурил под вечер,  
Ну, а сегодня закурил под вечер  
В мажоре крепкого вина...  
А ты, конечно, не одна,  
И в этом есть моя вина...

Такая вот история о стратосферном половом возмужании юного романтика, слава Богу, мама её благополучно пережила.

Аншлаг, цветы, автографы... Диски разбираются вчистую, приходится выгребать из багажника всё, что осталось...

Через пару месяцев такие же концерты в Трускавце и Моршине. Продюсирует волк курортного шоу-бизнеса Лёня Молдаван, уникальный знаток анекдотов всех времён, стран и народов, с пышной курчавой шевелюрой и необъятным животом, способным уместить меню среднего ресторана. Гроза отдыхающих женщин в возрастном диапазоне от тургеневского до бальзаковского. Славик выезжает из Луцка, я — из Тернополя. Только-только поменял резину, мчусь, перемежая шелест новых шин с американской классикой в исполнении Рода Стюарта. Под Рогатином ловлю гвоздь, подкачиваю колесо и кое-как дотягиваю до шиномонта-

жа — плохая примета. Звонит Лёня, нервничает. Обычно днём, в день концерта, заявленные артисты выходят на площадь перед бюветом, местом максимального скопления народа, где прямо на улице сидит, увешанная афишами, билетёрша, бойко торгует, успевая при этом петь дифирамбы исполнителю в старый трескучий мегафон. Присутствующие артисты надувают щёки, раздают автографы и служат приманкой, живой рекламой, вот, мол, приехали, приходите на концерт... Такое мероприятие, естественно, способствует уплотнению публики в зале, а значит, увеличивает рентабельность. Но есть и вторая сторона медали: не очень хочется артисту торчать на лобном месте, а ведь и дождь может сеяться, и ветер холодный веять, да и не царское это дело, если уж честно. Но стоят, стоят, и заслуженные, и народные... Славик от этого рекламного шоу сразу отказался: «Кто захочет, тот придёт, а клоуном стоять не буду!».

Я приехал с опозданием, встретился с Молдаваном, понаблюдал вялотекущий процесс реализации билетов и направился в дом культуры, где у служебного входа уже стояла синяя «Ауди» с волынскими номерами. Встретились, обнялись, пошли смотреть сцену...

Особого ажиотажа концерт не вызвал, потому и людей мало. Я и не надеялся на аншлаг, но полупустой зал выглядел удручающе. Отработав своё отделение и объявив выход Вячеслава Хурсенко, заспешил в артистическую — самое время расслабиться, согреться, чаи погонять. Она оказалась запертой, и я затосковал: ключи, ясное дело, у Славика, а он на сцене. Вернулся, спрятался за кулису и стал подавать выразительные призывные знаки. Славик пел своих «Соколят» и не обращал на меня никакого внимания — просто не видел. Я понял: так сиротливо мёрзнуть придётся до конца концерта, с чем, конечно же, трудно согласиться. Поэтому на последних аккордах песни вышел из кулис и с улыбкой конферансье направился к кланяющемуся Хурсенко. Народ аплодировал и удивлённо наблюдал за моим повторным появлением: неужто опять петь будет?... Я приблизился к одинокой фигуре, вопрошающе на меня глядящей, и тихо шепнул:

— Гони ключи!

Он стал рыться в карманах брюк, я же одарил публику восторженной улыбкой и, приняв позу памятника Ленину, с рукой, указывающей на суетящегося исполнителя, провозгласил:

— Вячеслав Хурсе-е-нко!

Все снова захлопали. Он, наконец, как бы незаметно, вернул ключ. Получилось, я его дополнительно объявил, а он, порывшись в карманах, тут же на сцене сразу и рассчитался. Мы потом долго смеялись, представляя эту сценку со стороны...

После концерта выезжали в Моршин, там ждала гостиница, там же планировали поужинать. На выезде заправились под одиноким тусклым фонарём бензоколонки и, развернувшись, выкати-

ли на трассу. Лёня ехал со мной в качестве штурмана. Славик рулил сзади. Я нажал педальку, и «мерседес», как угорелый, понёсся в ночь.

— Не гони, — предупредил Молдаван, и через мгновение я понял причину его беспокойства. Просто из ниоткуда возникла трёхметровая стальная штанга, перекрывающая дорогу. В последний момент я успел резко вывернуть влево, так что удар пришёлся в оконную стойку и нижнюю часть лобового стекла. Действительность перед Лёниными глазами исчезла, подёрнувшись непрозрачной паутиной — стекло хоть и треснуло, но не рассыпалось. Мы выскочили из машины. Штанга крепилась у края дороги и от удара качнулась вправо, освободив проезд. Как можно перекрывать дорогу, ночью, без освещения, отражателей, опознавательных знаков?!?!

Рядом стоял гаишник, который был настолько пьян, что слегка покачивался. На все эмоциональные извержения он отвечал одинаково односложно: «Мукумэнты!» В разгар моих возмущений (кто заплатит за ремонт?) подъехала машина ГАИ.

— Ну вот, пусть начальство разбирается, какие алканавты у него работают! — начал было я и тут же осёкся. Приехавший инспектор, видать, устал ещё больше, так как не мог даже вылезти из-за руля... Никогда в жизни не видел такой доблестно-пьяной службы гаишников! Славик взял на себя двух покачивающихся зомби, а Лёня оттянул меня в сторону и стал вразумлять:

— Спорить с ними бесполезно! Ничего не докажешь, а они сотряпают любой протокол, и проблемы будут у тебя!

— Здесь что, полный беспредел?!

— «Не говори так, сынок, это — твоя Родина»...

Я знал этот анекдот, но сейчас было не до анекдотов.

— Так что делать?

— Садись в машину. С твоей стороны дорогу видно, потихоньку поедешь. Я сяду к Славе, ты за нами. А с ментами сейчас договоримся...

— Только не гоните! — крикнул ему вдогонку и чуть не рассмеялся: пару минут тому он говорил мне то же самое.

Мотор тихо урчал, водительская сторона стекла действительно почти не пострадала, дорога просматривалась. Настроение ни к чёрту, я выключил приёмник, нажал кнопку стеклоподъёмника. Стекло поплыло вниз, стали слышны пьяные возгласы. Внезапно всё стихло, и нестройные милицейские голоса дружно затянули «Соколят»...

В Моршин прибыли в аккурат к закрытию гастронома. И здесь сработала всё та же волшебная палочка: спели с продавщицей «Ты подobaешься мені» и обслужились как VIP-клиенты. Прикупили разнообразной снеди, овощей, даже какой-то десерт к чаю (кипятивники по старой гастрольной традиции всегда под рукой!). Славик взвесил на руке поллитру водки, засомневался и потянулся за семьсотпятидесятиграммовой. Молдаван опередил его и снял с полки литровую.

— Это, чтоб второй раз не ходить. К тому же магазин закрывается, к чему этот ночной геморрой...

Я пью мало, водку не пью вообще, поэтому ограничился чекушкой коньяку. На все два гострольных дня. Приятели снисходительно похлопали по плечу и заверили:

— Если не хватит, от себя добавим «колдовства в хрустальный звон бокала» — ха-ха!

Кто бы сомневался! Конечно, реальный сценарий был совершенно иным: они благополучно убрали свой литр, а после, как бы невзначай, вспомнили о моей чекушке... В общем, рюмку я всё-таки себе нацедил, остальной коньяк смаковали они, одобряя выбор и, похохатывая:

— Тебе, Серёжа, очень вредно увлекаться алкоголем. Скоро предстоит долгая дорога с невесёлым пейзажем за лобовым стеклом. Да и с ментами, как оказалось, ты не очень дружишь...

В Моршине людей на концерте было больше, какой-то гонорар перепал, но с учётом предстоящего ремонта это были, конечно, крохи. Энтузиазм на время поутих, тема совместных авторских концертов утратила былую привлекательность.

Несколько месяцев спустя позвонил Славик и пригласил в Киев на съёмки клипа. Когда-то я снимался в собственном клипе, но это было давно и полупрофессионально, а здесь — студия, съёмочная бригада, артисты, режиссёры... Я и так находился в столице, поэтому приглашение принял. Съёмки проходили на Левобережье, в большой студии-ангаре: какие-то декорации по углам, туча всяких прибаббасов, море видеотехники, минирельсы с тележкой и оператором, железная рука крана с вращающейся камерой, софиты, отражатели, масса народу, суеящегося в созидательном движении. Главный объект съёмки — разумеется, Хурсенко, главный руководитель процесса — режиссёр. Последний, как положено, с засаленными волосами, в грязных джинсах и растянутом свитере. Очки, борода. Среди технических помещений комната, служащая одновременно раздевалкой и закуской: в углу свалена одежда, рядом зеркала с подсветкой, а чуть поодаль стол с выпивкой и закусками. Славика гримируют, пудрят лоб, щёки, что-то подкрашивают, он между прочим успеваает опрокинуть рюмку коньяку, вот уже зовут на сцену, он срывается, потом возвращается — забыл гитару. Ну и, понятно, рюмочка вдогонку...

На чётко очерченном месте расположили инструменты, поставили четыре высоких стула, расселись музыканты: Славик, два гитариста и перкуссионист. Стали настраивать свет, включили «фанеру». Ясное дело, никто реально не играл и не пел, но визуально всё выглядело очень натурально. Музыкантов выбрали не по таланту, а по фактуре, однако какие-то элементы соло, пассажей, сбивок они, конечно, отрепетировали. Это и создавало телеиллюзию натуральной игры на инструментах. Несколько раз прогоняли песню, опера-



тор колесил по рельсам, тягловой силой были три помощника, медленно толкающие тележку взад-вперёд. Потом перед артистами поставили стул, обращённый к ним спинкой. К нему подошла яркая блондинка в накинутой на плечи длинной шубе. Режиссёр напутствовал, сопровождая наставления танцевальными жестами рук и бёдер, потом утвердительно кивнул и направился к оператору. Блондинка подняла руки, шуба, как по волшебству, соскользнула на пол. Народ замер: под шубой ничего не было! Голая красавица грациозно раздвинула ноги и уселась поперёк стула, к зрителям спиной, а лицом (и всем остальным) к артистам. Снова включили фонограмму. Теперь в ракурс съёмки то и дело попадала обнажённая натура, поглаживающая сидение соблазнительными ягодичками. Насколько дивная картинка открывалась музыкантам, можно только догадываться...

Она мне нежно шепчет, что снова скоро придёт,  
А мне ничуть не легче, пока она не уйдёт.  
Я больше не могу ей молча лгать,  
И ей ни к чему об этом знать.  
Я просто сумею её подождать...

В следующем дубле танцовщица покачивалась уже во весь рост, без стула, трусила упругим бюстом. В финале ей услужливо накинули на плечи потерянную шубку. Не запахиваясь, она без всякого стеснения развернулась и зацокала высокими каблуками в раздевалку.

Она, наверное, птица,  
Ей надо много летать.  
Её полёт часто снится,  
Но мне её не догнать...

Отдельно снимались детали: две огромные морские раковины с льющейся водой и гроздью жемчуга, горящая свеча, цветок в высокой стеклянной вазе... Потом Славик жёг фотографию (по сюжету, надо полагать, изображение любимой, о которой пел) — она легко занялась от свечи. Потом всех отвели подальше, кинокамеру направили на вазу, в которую стали палить из пистолета. Настоящего! Ваза оказалась какой-то бронестойкой — треснула лишь после третьего выстрела. После монтажа всё это будет смотреться хорошо и вовремя: пауза, подъём музыки на полтона, разлетающаяся ваза и припев на эмоциональном взрыве:

Я никому уже давно не верю,  
И о любви давно не говорю.  
Но, помня каждую свою потерю,  
Я это всё когда-то снова повторю...

Снова горит погасшая свеча, ваза цела и невредима, но песочные часы на исходе, один за другим исчезают музыканты... Последним растворяется в пространстве певец Хурсенко, на опустевшей сцене лишь инструменты, доигрывающие мелодию.

Когда-нибудь спую ей «В добрый час»,  
Она вдруг поймёт, что всё о нас...  
И крылья вспорхнут в последний раз...

Модуляция.

### ***Последняя рыбалка Вячеслава Хурсенко<sup>1</sup>***

В понедельник рыбалка сорвалась, было выступление в Херсоне. Да и глупо что-либо затевать в этот день; как говорится, понедельник — день тяжёлый. Переиграл на вторник. Вернулся утром, очень хотелось расслабиться. Предварительно собраться не было необходимости, всё, что надо, лежало в багажнике: удочки, подсак, раскладной стульчик... Давно собирался порыбачить в Шепеле: и от Луцка недалеко, и клёв хороший. Места прикормленные, с хозяином пруда давний уговор — чужих не подпускать, только свои...

Ещё с утра Славик отказался от компании, поэтому выезжал один. Последние годы он полюбил своё одиночество, вернее, даже не одиночество, а уединение, потому что одиночество было при нём всегда: и в детстве, когда ушёл отец, и в юности, когда учился на фельдшера, мечтая о карьере певца, когда занимался музыкой, играя на виолончели, но мечтая об электрогитаре. И в армии, и после, уже взрослея, среди музыкантов, в ресторанах, на концертах... Даже любовь, ураганом ворвавшаяся в жизнь песнями Юрия Антонова и принявшая облик умопомрачительной Татьяны, на восемь лет старше его, закончилась крахом и одиночеством, всё тем же до тошноты знакомым состоянием собственной никому ненужности. «Жил-был хороший малый, жила-была она. Он был её игрушкой, глотком её вина...» — напел он свою давнюю песню, оставшуюся в тех далёких 80-х...

Включил зажигание. Машина тихо заурчала и послушно завелась. Были в жизни, конечно, и радостные моменты: дочь, песни, рыбалка, машина... Его царства, его владения, где можно быть недосягаемым и счастливым. «Ауди» А-6, пусть не последней модели, пусть с восьмилетним стажем, но верный боевой конь немецкой породы и надёжности. На ней он исколесил всю Украину, не опоздав ни на один концерт. Весь предыдущий автомобильный ряд — и первый «москвич», и крутая по тем временам «восьмёрка» — в подмёт-

---

<sup>1</sup> 8 сентября 2009 года во время рыбалки погиб талантливый автор-исполнитель Вячеслав Хурсенко. Это, как и тексты песен, реальный факт, всё остальное в данном повествовании фантазийно (прим. автора).

ки не годились «ауди», которую любил и которой втайне гордился, понимая при этом, что существует море новых навороченных тачек с более громкими брэндами. Славик не любил позёрства и понтов, жизнь научила радоваться тому, что есть. Вместе с мотором включился плеер, из динамиков понеслась шестая песня его диска «Крик белых журавлей»:

Я не могу понять, какой сегодня день,  
И потому мне всё равно, который час.  
Я так давно уже не вижу свою тень,  
И только вижу блеск её красивых глаз...

Он редко слушал свои песни в машине, разве что на этапе проверки студийной записи, ну, ещё когда кому-то демонстрировал... Песни приедались на концертах, могли не совпадать с настроением, но он их любил, всех, скопом, потому что это была страстная и взаимная любовь на всю оставшуюся жизнь. А вчера вдруг захотелось прокрутить «Журавлей», снова нахлынула волна воспоминаний и щемящего чувства не востребованности: альбом бешено нравился друзьям и никак не трогал продюсеров, менеджеров FM-ов и телепрограмм. Денег на раскрутку не было, а последнее время их не хватало даже на запись нового альбома. И это несмотря на то, что тексты и музыка свои, как, кстати, и вокал, и гитара... Почему песни не идут в народ? И что нужно этому народу? Сказал же как-то в студии Володя Бебешко: «Я раскручу кого угодно, вопрос только в цифре. Тебе обошлось бы дешевле — не надо писать песен, они уже готовы...». И цифру назвал — сто штук «зелёных», это если с нуля... В общем, за сотку из ничего в звёзды, а что за душой? Неужели публика настолько дебильна?! «А какая же она? — отвечивал внутренний голос. — В основном такая и есть: макболтонсимум напруга для ног и минимум — для головы...» «Нет, нет, приходят же люди на концерты, кричат «браво», дарят цветы, покупают кассеты, диски... Значит, слушают...» «Ну и где твои концерты?» Концерты были, но мало. Нет, не то, чтоб никуда не звали и ничего не предлагали... «Просто за эти деньги не поеду. Бездарям платят в несколько раз больше. Не хочу! Не поеду!» И не поехал. Раз не поехал, другой — не поехал. Звонить стали реже. Но жить-то за что-то надо. Да ещё дочь в столичном университете учится...

Такие невесёлые рассуждения провоцировали волну досады, и, вероятно, поэтому опускались руки и всё чаще накатывал жестяной депрессняк, когда ничего не хочется, а единственное возникающее желание — послать всех нафиг.

Мне так не верится, что мне немало лет,  
А призрак счастья улыбается другим.  
Я очень часто выключаю в доме свет,  
Я этот мир люблю давно уже таким.

Мне показалось, я так мало говорил  
Любимой женщине красивые слова,  
Я с этой женщиной безумие творил,  
Но это новой нашей повести глава.

А эта тема всегда была особенной и не познанной. Почти все песни Славика повествовали о любви, и почти все песни о любви предполагали её трагическую надорванность. Он не был обделён женским вниманием, скорее наоборот. В юности даже составил дон-жуановский список, и сверстники ему завидовали, но гораздо содержательней был другой документ, вернее не документ, а исповедь души — его песни. Здесь бушевали стихии всех сердечных болезней, побед и поражений, радостных надежд и грустных разочарований. Здесь он и король, и шут, и просто заблудившийся странник, обречённый искать выход из лабиринта соблазнов, страстей, восторгов, обманов... В общем, как говорится, «ничто человеческое не чуждо...»

Мне не было семнадцати, ей было двадцать пять,  
Когда она решила меня околдовать...

Так начиналась школа любви. И немало было в ней учительниц и одноклассниц...

Теперь в динамиках звучала «Не виню», и вспомнилась другая история, о рыжей танцовщице, пылких каникулах на Шацких озёрах, страсти и обмане, измене — обратной стороне любви...

Ты удалялась все дальше и дальше,  
Я задыхался от пауз и фальши, как жаль.  
Трудно поверить и трудно представить,  
Но невозможно поднять иль поправить вуаль.

Жаркое солнце палящей пустыни  
Мне суждено было видеть отныне, о, нет.  
Я не о том напевал не однажды  
И утолял твою страстную жажду сто лет.

Не виню, так и знай,  
Это был мой лучший танец  
Между смыслом тьмы и света.  
Не хочу, но прощай,  
Будь как прежде недоступна  
И легка, как бабье лето...

Какая песня! Её выкупили в Москве, и петь хотел Авраам Руссо (тогда он был на пике популярности). Но не спел. Спел автор, и клип сняли, и в «Шлягере» отметили, но хитом песня не стала...

Ни о чём не написано столько песен, сколько их есть о любви. И все они разные, потому что у каждого своя любовь, своя непознанная планета, никем до конца не открытая и не изученная. На этот раз планета явилась в образе городского троллейбуса с пассажиркой, излучающей фантастический блеск...

Ольга ехала со своей лучшей подругой, к ней в гости. Краем глаза заприметила молодого человека, устремившего на неё серьёзный взгляд. Приставания на улице, в общественном транспорте — в наше время дело обычное, но этот персонаж вроде и не приставал. Просто глядел, как загипнотизированный. Удивляло и то, что одет он был как-то нетрадиционно для сверстников: костюм, рубашка, галстук вместо привычных джинсов, майки и куртки. На остановке девушки вышли, вслед за ними и молодой человек. Подошёл, представился и попросил подругу Свету оставить их для важного tet-a-tet. Наглость, конечно, невообразимая, но Светлана поняла серьёзность момента и исчезла. Скоро они поженились, а через год родилась Мария.

Славик ностальгически вспоминал эту историю, витала идея сделать из неё песню, но руки не доходили. Воплотился только финал:

А за вікном стоїть весна,  
Птахи так радісно співають,  
А любі подруги мої  
Мене до шлюбу проводжають!

Шумить палац урочистих подій,  
Проштампували і наперербій,  
Дружина плаче — я вже не дійду,  
Чи то на щастя, чи то на біду.

Время шло, жизненные коллизии и чувственные катастрофы убедили: как бы заманчиво не выглядели неоткрытые острова и океанские дали, нет ничего надёжней и роднее своего дома, для кого-то пусть невысокого, неказистого, зато, пожалуй, единственного, где по-настоящему любят и ждут.

И кричу в толпе прохожих, незнакомых, непохожих  
Голосом оставшейся любви...

. . . . .

И ты простишь меня ещё, ещё, ещё в последний раз,  
И я останусь навсегда в плену твоих красивых глаз...

Настоящая беда постучала в двери, когда возникли проблемы со здоровьем, и врачи поставили диагноз: сахарный диабет. Славик, имеющий медицинское образование, знал о последствиях, но, как все молодые люди, надеялся на лучшее и в отчаянье не впадал. Да-

же когда инсулин уже стал жизненно необходимым и постоянно находился под рукой, мог выпить с друзьями и не ограничивался диетами. Колот в ногу, прямо через джинсы, и садился за стол. После укола необходимо было что-то съесть, для этого на всякий случай имелась баночка мёда...

Но впереди рыбалка, этих несколько часов кайфа, когда никто и ничто не мешает быть самим собой, когда можно расслабиться и слиться с природой, послушать, какие песни поют караси и карпы, шифруясь в зарослях камыша. Луцк остался позади, потянулись посадки, сорящие сентябрьской листвой. Славик потянулся к бардачку и сменил диск. Теперь звучал горячо любимый Майкл Болтон. Зазвонил телефон, пришлось сделать музыку тише. На табло высветилось: Молдаван. Трускавец.

— Ах, ты на рыбалку? Тогда слушай анекдот: «Встретились два дружбана, один другому и говорит: — Поедем на рыбалку? Купим водочки, возьмём девочек... — А удочки? — Удочки? Ну ладно, удочки тоже возьмём...» Как? Спорим на 100 баксов, ты мне сейчас вопрос задашь...

— Какой?

— Ну вот, ты его и задал...

«Весёлый мужик Лёня Молдаван, зовёт в Сваляву, но что там делать?» Громче запел Болтон, но не успел допеть свой «Vintage», потому что справа проплыл указатель «Шепель», и показалось отвлечение дороги, ведущее к озеру. А вот и он, съезд, чуть покатый, с двумя разбитыми колеями...

Славик остановился, вышел из машины, потянулся и пошёл за удочками. Открыв багажник, глянул на озеро, лежащее, как на ладони. По воде плыли облака, кое-где у берега плавали редкие пожелтевшие листочки — единственное напоминание об осени, которая неделю как наступила, но вокруг царило лето, всё ещё лето, со щебетом, стрекозами, буйством трав, солнечное и жаркое, хотя вечером всё ощутимей веяло прохладой, холодившей спину. По ту сторону озера тянулись луга, паслись коровы, а на буржке живописно разлеглись трое пастухов. «Волхвы! — подумал Славик, иронично улыбнувшись. — А где же дары? А звезда на небосклоне?» Недалеко от дороги в воду уходил небольшой деревянный настил, привычное место рыбаков. Об этом мостке ходила легенда, неоднократно рассказываемая новичкам за вечерней ухой. А звучала она примерно так:

«Расположился на мостике приезжий мужик, парень лет тридцати пяти. Солидно, основательно расположился. Кресло с подлокотниками. Три удочки заброшены. Причиндалы всякие разложены. Сидит, пиво потягивает, наблюдает за поплавами. Появляется дед. С простенькой удочкой, коробушкой и явным желанием порыбачить. Добродушный такой. Спрашивает у парня:

— Ну как, сынок? Клюётъ?

Парень глянул через плечо и отвернулся: вопрос игнорирует.

— Не потесню я тебя, если тут вот с краешку присяду? — не обращая внимания на недружелюбный прием, улыбаясь, спрашивает дед.

Парень оборачивается и говорит:

— Слушай, дед, ну те чё, берега мало? Ты же видишь, тут и одному-то тесно. Не поместимся...»

На самом деле мостик как раз на двоих и был рассчитан. Славик хорошо это знал, потому что с этим же дедом здесь как-то и рыбачил. Он вот так же подошел «Не потеснишься, сынок? Поместимся?», Славик чуть сдвинулся к краю, он сел рядом на свою коробушку, и они пару часов душевно порыбачили. Без проблем. Так вот, продолжение истории:

«Дед осмотрелся. Других свободных мостиков рядом нет, а с берега ловить не с руки. Он повернулся к неуступчивому парню и сказал, всё так же добродушно:

— Ну, раз не поместимся, сынок, стало быть собирайся и уё\*ывай.

— Чевооооо? Как это — уё\*ывай? Ты чего, дед?

— Ну, вопче-то, это мой мостик.

— Что значит твой?

— Мой. Я ево делал.

— Ну, раз так, то сразу бы и сказал! Садись, уж как-нибудь поместимся...

Парень нехотя сдвинул кресло и стал подбирать своё хозяйство.

Дед не сдвинулся с места. Он выдержал паузу, подождал, пока тот обратит на него внимание, и спокойно закончил:

— Нет, сынок. Не поместимся. Сбирайся, говорю, и уё\*ывай. Нам с тобой теперь везде тесно будет...»

С мостика Славик ловить не стал. Узкой тропинкой он спустился в ложбинку, там и пристроился. Снарядил удочку, достал мастырку — деликатес для плотвы и карасей, который никогда не покупал, а делал сам, словно алхимик, колдующий над таинственным варевом. Правда, ингредиенты были вполне обиходные: манка да горох... Закинул. Что ловить? Подводных чешуйчатых обитателей, слова, без которых не бывает хороших припевов, запоздавшую славу, признание, пристойные гонорары из сказочных пиратских сундуков, шальную любовь и риск потерять голову окончательно и бесповоротно?..

Крик белых журавлей, между берегов моей печали,  
Я думаю о ней, в паутине слов дыша едва ли...

Поплавок сначала ушёл в сторону, потом выпрямился и завис в небесной синеве. Остановилось и время. Всё таяло и теряло очертания в этом зеркале с одиноко плывущим облаком, купающимся солнцем и множеством искр, дрожащих в воде. Здесь исчезали неудачи и разочарования, сотни километров, намотанные на колёса, спутанные нервы, сомнения, мостовые чужих лиц, фальшивые улыбки, рукопожатия, написанные и не спетые песни, забытые мечты, долги, опустевшие вокзалы воспоминаний, улетающие журавли, ампулы инсулина, мёд, законсервированные обиды, анекдоты о музыкантах и рыбаках, гитара «Fender», голос, всё чаще забывающий слова собственных песен...

Никто не скажет, как рядом оказался дедок. Он улыбнулся слезящимися от солнца глазами и доброжелательно поинтересовался:

— Ключёт?

— Ещё не знаю, только закинул...

— Ну-ну... Чую, большую рыбу поймаешь.

— Эх, батя, твои бы слова, да Богу в ушко.

— Оно так и есть, сынок, так и есть, в ушко...

Присели, закурили. Славик вспомнил, что недавно звонила жена, спрашивала о лекарстве, сказал ей, что сделал укол, хотя это было не так — инсулин остался в машине. «Оставлю на деда удочку, схожу, уколюсь», — подумал он, но в этот самый момент дедок неожиданно остановил:

— Знаешь, откуда у тебя сахарна болезнь?

«Вот это да!! Ну, дед даёт!!»

— От нелюбви. И папаня тебя любви своей лишил, и мамка за кордон уехала. А помеж людей где её на всех взять... На всех не будет...

Лицо деда менялось на глазах, черты обретали какую-то особую значимость, взгляд становился серьёзным, а простецкую деревенскую улыбочивость оттеняла грустная доброта.

— Ты хоть и доктор, но должен ведать — всех болезней порошками не вылечить! Кто чем болен, про то и поёт. Как там у тебя...

В городе моем ну что-то стало одиноко мне,  
А на календаре напомним осень зло о предстоящем дне.  
Может потому, что опустели гнезда перелетных птиц  
Или потому, что надоели мне улыбки серых лиц...

Вот уже и осень, и день предстоящий наступил. И про птиц ты сказал правильно: все мы — птицы перелётные. Так что, пора...

— Отец, слушай, хочу тебя попросить — побудь минутку с удочкой, я к машине сбегаяю...

— А ты не суетись. Сейчас клевать будет.

Славик улыбнулся.

— Большая, говоришь?



— Большая. Таковую ты ещё не ловил, — отвечивал старик и вдруг странным образом пропал. Всё вокруг меняло очертания, и земля поплыла под ногами. Мгновеньем позже Славик ощутил фантастическую лёгкость и стал медленно взмывать вверх. Так всплывают со дна тёмной реки, освобождаясь от водорослей, старых косяг, болезней, зависти, постылого равнодушия подводных обитателей. Раскинув крылья, он летел навстречу солнцу и гармонии звуков, в которой звучали все любимые, написанные и ненаписанные, песни, симфонии, стихи, письма, объяснения в любви, открытия тайн и неведомых пространств. Навстречу льющемуся потоку нежности, белоснежной, держащей на крыле. Ах, эта пьянящая сладость полёта и свобода, свобода души, уставшей от земной геометрии! Лети! Одна власть царила над миром, одна сила — сила любви. Её прикосновение исходило и от мира недавно оставленного им, но помнящего, скорбящего, любящего. От свечи, зажжённой в иерусалимском Храме Господнем, от сотен тысяч благодарных слов, рвущихся на волю из уст, писем и космических электронных сетей: «Вячеслав, хоть Вас и нет уже среди нас, Вы там, где всегда счастье, спокойствие и мир — хочу сказать Вам огромное спасибо за Ваши вдушупроникновенные песни... Я очень люблю песню "Крик белых журавлей", слушаю ее очень часто, получаю удовольствие и какое-то спокойствие на душе... У меня скоро свадьба, и я хочу под эту песню танцевать со своим любимым. Думаю, Вы не будете против...» Нет, он не против. И не против того, что его похороны стали его последним земным концертом: когда после отпевания из храма вынесли тело Вячеслава Хурсенко, народ встретил его аплодисментами. Такие аплодисменты дорогого стоят!

— Нет конца любви небесной, как и нет пределов земной печали, — пробормотал старец в монашеском платье и побрёл берегом, не видимый людскому оку, а значит и пастухам, давно наблюдавшим за одиноко стоявшей синей иномаркой и странным рыбаком, который, закинув удочку, сам с собою разговаривал, а потом прямо в одежде нелепо завалился в воду. И руками махал, точно плыть куда собрался... Явно ошибся Славик, окрестив их «волхвами». Простые деревенские пастухи, ибо если бы действительно были волхвами, непременно заметили и старца, и сияние, возникшее над распростёртым телом, и крик белых журавлей, и невидимую в ясном небе звезду, излучающую мир и покой.

Coda.



## Василь МАХНО

/ Нью-Йорк /

*Перевод с укр. Станислава Бельского*

### НИТКА

ниткой шерсти проползаешь  
сквозь маленькое  
ушко иголки  
в эту жизнь

и сразу  
убегаешь  
от этой жизни

ниоткуда и — наверное — в никуда

так когда-то ты выполз  
из утробы матери

мышцы её живота  
извергли тебя  
как вулкан магму  
и ты сразу съёжился  
от холода  
и одиночества

ушко всё время сужается

— укорачивается —  
— истончается —  
эта нитка

ищешь ключ  
чтобы замкнуть  
за собой двери  
от чего ты хочешь отгородиться

и прищемляешь нитку  
жизни

сначала для того  
чтобы вырвать  
молочный зуб

потом  
чтобы завязывать узелки  
потому что можешь о чём-то забыть

потом узелки невозможно  
сосчитать

верёвочка  
превращается в  
грубые узлы потерь  
и тоненькая нитка шерсти  
становится канатом  
и всё меньше сил её волочить  
за собой

с которым уже  
в игольное ушко  
никак не втиснуться  
как в битком набитый  
автобус

и остаёшься на остановке  
один

следующий автобус  
как всегда опаздывает

## **СОВЕТ КАК ЛУЧШЕ ЗАПИСЫВАТЬ СТИХИ**

один твой глаз читает кириллицу  
а другой — латиницу  
кто-то записывает стихи слева направо —  
Иегуда Амихай писал справа налево  
золотые китайские поэты записывали в столбик:  
эти несколько чёрных зёрен цинамона  
не лишняя приправа для кухни мировой поэзии

но независимо от времени (в котором жили)  
— способа писания —

азбуки (которой пользовались)  
— все любили: вино и женщин — цепи гор —  
жареную рыбу — салат из красного перца  
— тратить деньги и не возвращать долги —  
все были ловцами звуков  
— большими детьми с сетками  
    для ловли рыбы и бабочек —  
или законченными алкоголиками  
безнадёжными наркоманами  
сексуальными извращенцами —  
нарциссами — одиссеями — орфеями

одни писали пером  
— другие резали себе жилы — и макали в загустевшую  
от алкоголя и наркотиков кровь  
— цыганскую иглу —  
хоботок сонной пчелы  
— но независимо от жидкости которая засыхала  
на бумаге или манжете рукава —  
    любым способом записанная  
поэзия становилась цветом и звуком  
помётом — блевотиной  
и сукровицей

иногда  
из какого-то иного пространства  
падает умирающая пчела  
на подоконник твоего дома;  
и пока — лёжа на спине — она разгребает вязкий осенний воздух  
ты отречёшься от всех советов как записывать стихи  
ибо наблюдая: как готовятся яхты покинуть эту бухту  
и — как моряки — прощаются со своими временными любовницами  
и — как расплывается мазут вниз головой — как мертвец — по воде  
и — как тысячи саксофонов — знаками вопросов — переваривают в  
своих желудках зелёный помёт музыки  
и — как по тончайшей струне скрипки пробегает электрический ток  
который испепеляет наименьший бунт фальшивой ноты  
ты знаешь:  
что идти по этому мостику  
выложенному полным месяцем  
на парчовом теле воды  
опасно

и поэтому любой совет окажется неуместным

кажется кто-то это уже попробовал

# Михаил ОКУНЬ

/ Аален /



## ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

### *Последние известия*

Очень не любил, когда дедушка слушал по радио «Последние известия». Радовался, когда они заканчивались. Недоумевал искренне, почему они повторяются вновь и вновь, — ведь были же «последние»!..

### *Искусственный спутник Земли*

Когда в 1957 году запустили первый искусственный спутник Земли, я подумал, что запустили человека, о чем и сказал вслух. Было это в комнате наших родственников, в нашей же коммуналке на Большой Московской улице; мне было шесть лет. Все слушали сообщение по радио.

Взрослые меня высмеяли: этого не может быть! Как там человек может находиться?.. А через каких-то три с половиной года — Гагарин...

### *Плагиат*

В детстве повесть Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания» понравилась настолько (хоть и не понимал оба слова в названии), что взялся за труд переписывать книжку от руки. Чтобы все подумали, что это я ее написал...

### *Сиротство*

Сколько помню бабушку по материнской линии, всё она любила есть с маленьких тарелочек, из блюдец. Скажешь ей: «Бабушка, возьми

нормальную тарелку!» — «Не надо, и так хорошо...» А когда стал постарше, понял: это деревня в Тверской губернии, десятые годы позапрошлого (уже!) века. Мама ее умерла рано, отец подался в город, оставив дочку на воспитание родственникам (обосновался в Мариенбурге под Петербургом, где завел другую семью). Это от въевшегося сиротства — тарелочка маленькая, ем немного, не объедаю!

### **Старые евреи**

По Загородному бредут два старых-старых еврея. Теперь таких уже не встретишь, это был Ленинград семидесятых годов. Повемерели, а новых «старых евреев» в Петербурге больше нет.

Оба в донельзя изношенных зимних пальто. На одном нелепая мутоновая ушанка типа армейской, одно ухо смотрит вверх, другое опущено вниз. На ногах — разбитые валенки с галошами.

Я поравнялся с ними у проходного садика, где в фонтане два бронзовых мальчика дерутся из-за гуся. В нем я обычно прогуливал первый урок, когда на него опаздывал. Школа была неподалёку. Несколькими годами назад садик изуродовали одноэтажным сарайчиком азиатского ресторана.

Я прохожу мимо них и слышу, как один каким-то безнадежным голосом спрашивает другого:

— А муж вашей дочери как?

Тот, что в ушанке, таким же голосом отвечает:

— Пяница...

### **«Как из горящего театра...»**

*Куда идут они, когда так неспешно проходят по улицам? Где спят они, и если не могут уснуть, что проплывает тогда перед их печальными глазами? О чем они думают, просиживая целыми днями в городских садах, склонив голову на руки, которые словно бы сошлись из разных далей, чтобы спрятаться друг в дружку? Сплетают ли они еще настоящие слова?.. А то, что они говорят, — это еще фразы, или из них всё вырывается уже в полном смятении, как из горящего театра, всё, что в них было зрителем и артистом, слушателем и героем? Неужели никто не думает о том, что в них есть детство, которое гибнет, и сила, которая увядает, и любовь, которая рушится?*

(Р.М. Рильке. Из письма.)

### **Блок**

28 ноября 2015 года исполнилось 135 лет со дня рождения Блока.

Парголово, Озерки... Унылое сидение в станционных ресторанчиках. Компания всё та же: Чулков, Женя Иванов, Зоргенфрей. «Ты великий поэт, Саша!..» — «Нет, не великий... Поехали в другое место».

Дома — разграфленная толстая книга, кожаный переплёт с золотым обрезом, первоклассные письменные принадлежности. Каллиграфическая фиксация приходящей почты. Каждый час — новый стакан из шкафчика, тщательно протираемый полотенцем, «Нюи» елисеевского разлива №22. Любимая фарфоровая собачка смотрит красными стеклянными глазками. Вечером — куда? — Шувалово, Озерки, Стрельна?

День проходил как всегда:  
В сумасшествии тихом...

### **«Вот бы мне этак...»**

*В Старинном театре, который, как известно, давал пьесы из разных эпох, а может быть, в каком-нибудь другом театре (но не в цирке) шла какая-то антрактная клоунада. Блок с интересом наблюдал грубую перебранку шутов, которые колотили друг друга бычьими пузырями и по-дурацки хохотали при этом. «Вот бы мне этак погаерничать, — обратился ко мне Александр Александрович. — Иногда очень хочется!» Потом, помолчав, прибавил: «И безо всяких иносказаний: просто так, колотить пузырьём, и чтобы меня колотили. И кувыркаться».*

(Конст. Эрберг. Воспоминания. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год. Л., 1979.)

### **Не потерявший отчаяния**

Восьмого августа 2015 года в восемь утра не стало Самуила (Саши) Лурье. Нашел в почте его последнее письмо:

<Без темы>  
От кого: Самуил Лурье <slavir-kelur@list.ru>  
Кому: Mikhail Okun  
12 февраля 2014, 5:07  
Дорогой Миша!  
Большое спасибо за письмо, за память и за доброе слово.  
Напишите еще, пожалуйста, про себя. Мне очень интересно, как Вы поживаете и что пишете.  
И от фотографии с Литераторских мостков — разумеется, не откажусь.  
Спасибо.  
Ваш С. Л.

Это он о снимке надгробного памятника героини одного из его последних эссе — Марии Ватсон, сделанном как-то случайно при посещении Литераторских мостков Волковского кладбища в сентябре 2009 года. Предложил ему прислать.

Прекрасно о Лурье написал А. Арьев:

*Николай Николаевич Пунин сказал как-то своей жене, Анне Андреевне Ахматовой: «Не теряйте своего отчаяния». Вот эти загадочные слова необыкновенно ценила Анна Андреевна, и потом многим своим молодым друзьям говорила, что они не должны забывать своего отчаяния. И вот, когда я вижу Саню Лурье, я всегда вспоминаю эти слова. И более того, мне кажется, что единственный человек, который действительно за все сорок лет, которые я его знаю, не потерял своего отчаяния, это — Самуил Лурье.*

### **Настоящий поэт**

Когда-то один поэт старшего поколения сказал мне: «Кто портвейн по забегаловкам не пивал, тот настоящим питерским поэтом никогда не станет!..»

Прав он был или нет? Нынешние-то всё по фуршетам...

### **Прекрасные, удивительные...**

Всё понимаю, но читаешь ленту в фейсбуке, и как-то уж чрезмерно: «Прекрасный такой-то читал свои чудесные, удивительные стихи...» (На прилагаемом фото — пожилой господин со всеми приметамы возраста. Понимаю, что он «светится внутренним светом», но тем не менее. И в стихах ничего чудесного и удивительного. Ложная многозначительность, словесные водопады под стать Бенедиктову, — но что же в том удивительного?)

### **Атрофия**

Некоторых стихотворцев, на мой взгляд, постигает большая беда, — у них напрочь атрофируются всякие сомнения по поводу ими написанного.

### **«Автор издательств»**

Из многочисленных титулов одной литературной дамы («Член союзов», «Президент конкурсов» и пр., всё это непременно с прописной буквы) меня почему-то более всего тронуло «автор издательств». Со строчной.



## **Деформация языка**

Цитата:

*Травма может иметь место, а может — не иметь, и я не могу увидеть ее операторную природу, то есть не могу подействовать травмой как инструментом на поэзию, чтобы продвинуться вглубь, преодолеть коммуникативную поверхность. Разговор о травме напоминает вытесненный историко-биографический подход к толкованию письма, так как разворачивается в свете факта, на этот раз того, который не может быть назван. Мне же важно ответить на вопрос о деформации языка с позиции имманентной истории поэзии.*

(«НЛО», 2-2015)

Даже интересно стало, как же автор изъясняется в повседневной жизни? То есть как излагает обыденные желания свои? Неужели та же деформация языка? Или строго разделяет «высокую науку» и низкий быт?

### **«Лейтмотивная метонимия эсхатологичности»**

В Энциклопедическом словаре «Литературный Санкт-Петербург XX век» (2015) статья критика К. На просторе двух абзацев: эсхатологичность, эсхатологический — 4 раза; метонимия, метонимически — 3 раза. Кроме того, апокалиптический, метафорический, теургическое, теологичная, культурософской — по разу. Апофеозом: «лейтмотивная метонимия эсхатологичности».

## **Редакционный отбор**

Иногда старый «Новый мир» печатал по одному стихотворению от автора, а не подборкой, как обычно принято. Помню номер 60-х годов, где было напечатано всего одно стихотворение Давида Самойлова «Память». Может быть, давал поэт подборку, а оставили одно? (но какое!..) И в том и состояла строгость редакционного отбора? (Замечу, что так же — по одному стихотворению — печатали и некоторые литературные журналы Серебряного века).

## **Пушкинская, 10**

Жалобы литературного юноши в фейсбуке на то, что Арт-центр «Пушкинская, 10» — «приговорили». Это в связи с тем, что охранник запретил ему припарковать велосипед у входа.

Для меня Пушкинская, 10 закончилась ровно тогда, когда она стала Лиговкой, 53 — с таинственными бронированными дверями, камерами видеонаблюдения, теми же охранниками...

### ***К сведению господ литераторов***

*Легенда о Тутивилле (демоине-писце — М.О.), отдающая демону право на запись человеческих дел и слов, без сомнения, включена в круг представлений об общей связи дьявола и письма: в одной средневековой легенде Сатана, решив стать писателем, вызвал гнев Бога и был свергнут с небес; с тех пор Сатана диктует смертным произведения, которые он сам бы хотел написать.*

(Сад демонов. Словарь инфернальной мифологии. М., 1998.)

### ***В аэропорту***

Первое, что услышал по прилете в аэропорт Пулково, когда вошел в зал получения багажа — не «добро пожаловать», или «посетите такие-то достопримечательности Петербурга», или что-либо в том же роде. Нет. Строгий женский голос немного печально сказал: «Прокуратура Российской Федерации предупреждает об ответственности за дачу взятки должностному лицу...»

С другой стороны, оно и понятно: первое должностное лицо, с которым сталкиваешься — таможенник. А потому с предупреждением медлить нельзя...

### ***Один процент***

В телепередаче «Познер» директор статистического «Левада-центра» Л.Гудков назвал поразительные данные: в России один процент населения владеет семьюдесятью шестью процентами всех богатств, и это самый «отъявленный» показатель в мире.

Мне кажется, этот зубастый «один процент» не успокоится, пока не доведет свои семьдесят шесть процентов до ста.

### ***Побег из военного госпиталя***

В новостях передали: из психиатрического отделения военного госпиталя в Петербурге бежали трое военнослужащих, убив при этом двух медсестер, которые попытались им воспрепятствовать. Видимо, больше некому было...

Лежал я в этом госпитале. Новый, 1970-й год там встречал. Всё, что под рукой было, пошло в ход: флакон одеколону «Дзинтарс», пятидесятиграммовый шкалик коньяку, пара порошков от кашля с кодеином. Всё смешать и без ветки омель...

Выздоровливающие должны были дежурить на приеме новых больных. Особенно не хотели тех, кого в кожно-венерологическое отделение привезли, сопровождать. Боялись что-нибудь «подцепить».

Помню, доставили здорового парня с соответствующей фамилией — Собаковский. Прибыл под конвоем на психиатрическую экспедицию. Когда ему тапки и халат подавал, говорит: хана мне, на-верняка нормальным признают, и вышка — я офицера убил!

### **Сто лет спустя**

*Огненное крещение народовластия в свободе завершилось на Западе уже окончательно. Там демократия может изменять себе, возрождаться, из льва делаться кошкой, строить на потухшем вулкане удобные лавочки, продавать свое первородство за чечевичную похлёбку мещанства, но соединяться с рабством сознательно, религиозно, не за страх, а за совесть, не может, если бы даже хотела. А в России может.*

(Д. Мережковский. Две тайны русской поэзии. 1915 г.)

И через сто лет, увы: в России — может!

### **Премия «Поэт» 2016 года**

Обсуждают премию «Поэт», полученную Наумом Коржавиным. Иронизируя по поводу возраста лауреата (скоро ему 91). Мол, в очередь, сукины дети, доживете до девяноста — и вам дадут. Вот один пиит-критик (или критик-пиит, нынче почти все юноши это дело совмещают) называет старика «прикладным поэтом», помяная по отношению к нему и слова Мандельштама «переводчик готовых смыслов».

Как же охотно прилагают они надерганные цитаты из Мандельштама к кому угодно — только не к себе и не к членам своей «интеллектуальной секты»! И видится мне он, «голубоглазый, чистенький, с германской вежливостью, аккуратностью приказчика и шубертовской голубой дымкой в глазах». (О. Мандельштам. Армия поэтов.)

### **Беглец**

В связи с признанием Германией факта геноцида армян в Османской империи вспомнилось, как в первой половине 60-х годов дважды вместе с мамой снимали комнату и жили под Сочи, в местечке с названием «67-й километр». Ближайший более-менее цивили-

зованный населенный пункт — поселок Мамайка, а тут — лишь несколько разрозненных домов, прячущихся среди деревьев и зарослей кустарника фундука на склоне горы. Железнодорожная ветка Туапсе — Сочи, проходящая вдоль берега по бетонной эстакаде (по километражу от Туапсе и название этого места). Между эстакадой и морем — узкая полоска галечного пляжа.

Это было поселение армян, бежавших в 1915 году в Россию через Черное море, и их потомков. Собственно, из беглецов, в живых к тому времени оставался один-единственный старик. Вечерами перед закатом он выходил на крошечную площадку на высоком берегу и, опершись на палку, подолгу стоял и смотрел в сторону Турции. И так ежедневно...

### ***Блистательно навсегда!***

Увидел объявление о вечере под названием «Настоящее и будущее петербургской поэзии» (так, вроде). И вспомнились слова бывшего ленинградского шахматиста, гроссмейстера Геннадия Со-сонко (Голландия), сказанные о шахматах, но вполне применимые и к петербургской поэзии:

*...Настоящее неопределенно, будущее тревожно и только прошлое — блистательно навсегда.*

### ***Заморозок***

Когда-то в восьмидесятых читала она мне это стихотворение, а было мне немногим больше тридцати, и оно проскользило мимо, только «всадник без головы» и запомнился. А тут просматривал предпоследний ленинградский «День поэзии» (1988), перечитал его и всё понял — может быть, потому, что стал вдвое старше...

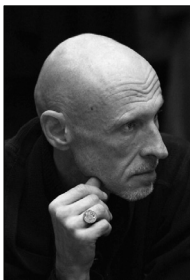
НАТАЛИЯ ГРУДИНИНА  
(1918–1999)

### **ЗАМОРОЗОК**

В блеске инея, в треске веток,  
В жажде власти над всем живым  
Мчится заморозок рассвета —  
Бледный всадник без головы.  
Ничего-то ему не надо  
В мире слякотном и кривом, —  
Опахнуть бы деревья сада  
Легким призрачным рукавом,  
Испугать бы дыханьем стужи

Самый красный задорный клён,  
Да чтоб синий глазочек лужи  
Был бы наглухо застеклен.  
И ни роздыха, ни отбоя  
Той тревоге воздушной нет...  
Неужели и нам с тобою  
Предстоит и такой рассвет?  
Рассмеётся пустое эхо  
Над умнейшею суетой,  
Кто-то властный придет помехой  
Нашей осени золотой.  
С тихим звоном взлетит на воздух  
Листьев бронзовых кутерьма...  
Что ж, прими этот день морозный  
И не жмурься. Идет зима.

*Аален — Петербург, июль 2015 — июнь 2016*



## Юрко ИЗДРЫК

*/ Калуш, Ивано-Франковская обл. /*

### ДЕМОСЕЗОН

ну вот пережили зиму  
 как переползли болото  
 всего что сошло со снегами —  
 как будто и не было  
 а в окна отверстия ныне  
 весна пробивается золотом  
 рисует на дереве пятна  
 и мглою туманит стекло  
 она авитаминозна  
 но неумолима как трактор  
 и трескает спелое семя  
 и гонит вовсю хлорофилл  
 кто знает — что с нами будет  
 свой каждому фактор риска  
 всегда есть фактор искрения  
 двух слитых физических тел  
 ведь наши проблемы — квантовы  
 а наши приходы — мечены  
 и наши сезоны — кончены  
 и наш перелет — шагал  
 но — байка все перечисленное  
 весна одевает бантики  
 и солнца медалька катится  
 аллах еще тот акбар...  
 а мы перебыли зиму  
 как перебили фразу  
 мы сбили сердечные ритмы  
 и соль превращали в мель

и все это как-то странно  
и все это как-то сразу  
и смотрит в глаза охотнику  
беспечно веселая цель

### THIRD

я выхожу в свой новый день как в море  
меж двух стихий мой бесконечный лов  
незримые границы акваторий  
порталов бухт заливов и портов

а дом мой — ночь и сонный тихий берег  
я сам теперь — лишь сумма сновиде-  
ний и за неимением критериев  
меж инь и ян я выбираю тень

меж днём и ночью выбираю вечер  
пришвартоваться на причал сойти  
меж двух стихий предпочитаю третью  
и милый дом в котором снишься ты

### ПЛЕНЕНИЕ

«Крылья мои холодные, мокрые» —  
Птица глаголет вещая  
«Где ж твое небо бескрайне высокое?  
где твой апрель обещанный?  
где твои пальцы цепкие чуткие  
всех аллергий свидетели?  
где же твой норов?  
похоть жуткая?  
золото где моей клетки?»

птичка моя  
не спеши в неволю  
олова злата не дам я  
дам только хлеба воды и соли  
дам тебе свежую память  
вволю воздуха и психочувства  
шёлк простыней прохладу  
нежность станем мешать с распутством  
тысячу лет кряду  
будем летать будем петь, и пряность

в сердце лета пролита  
будем друзей в гости звать как в нирвану  
из эры палеолита —  
сферы воздушных змеев из ваты  
планеры из салфеток  
мы перепишем события даты  
и книги в библиотеках  
мы обустроим весь мир по-новому  
станет апрель днём летним  
только пожалуйста не верь на слово  
дай лишь себя согреть мне  
крылья капризны метаморфозны  
ты мотылёк — не птица  
как пролетела сквозь ливни и грозы  
страны миры и лица?  
не смастерил я ни клетки ни стана —  
плена ярма погони  
вольной — воля  
а домом пусть станет  
горсть из моих ладоней

## FLY

Твои лайки я словно янтарь находил  
помнил комменты знал все репосты  
в виртуальном пространстве никто не один  
но у нас был свой собственный остров  
твой зеленый сигнал восхождения в чат  
мне мигал словно глаз светофора  
бил на газ и калечил незрелых девчат  
наши рейтинги дали всем фору  
и воротами в рай называл я вай-фай  
инь и ян конвертируя в байты  
настроили мы писем на весь терабайт  
и любовь почтальонили в скайпе  
и забанили нас за шальную любовь  
Цукерберга М. злые агенты  
и теперь между нами закружатся вновь  
самолетики белых конвертов

## ПРЕДЕЛЫ

обозначить вещи не названные  
называть людей без имени  
определения станут пазлами  
этот мир весь на них распиленный



имена и названия станут масками  
не убитыми но и сменными  
будут прятать игру гримас и  
прочь отсеивать тлен от тлена  
название имя — такая иллюзия  
словно все учтено и подсчитано  
и воздастся всем по заслугам  
и воскреснет то что сокрыто  
хоть на самом деле все в мире —  
лишь транскрипции одного имени  
между слов границы размыты  
меж вещами — пунктирные линии  
и меж нами граница условна  
будто тихая гладь воды  
я с размаху бросаю слово  
и вода похищает следы

*Перевод с укр. Сергея Лазо*

# Ярослав ПАВУЛЯК

/ 1948–2010 /

Перевод с укр. Сергея Лазо



*Ярослав Павуляк родился на Тернопольщине. Учился в Львовском училище прикладного искусства на отделении керамики. После окончания работал во львовской картинной галерее, затем в научно-реставрационных мастерских.*

*1 мая 1969 г. Павуляк установил в родном селе Настасов памятник Тарасу Шевченко, за что подвергся преследованию КГБ. Его дважды исключали из вузов: Черновицкого университета и Каменец-Подольского педагогического института. В 1973 г. Павуляк поступил в Литературный институт имени Горького в Москве.*

*По окончании уехал в Чехословакию (Братислава). Там в 1979–1991 годах работал в Словацком литературном агентстве. В 1991 г. вернулся на родину. Последнее место работы — заведующий Тернопольским историко-мемориальным музеем политических заключенных и репрессий.*

*Автор трёх книг стихов и поэм.*

\* \* \*

В моей каморке среди ночи  
На стенах окна расцвели,  
Лежу, к стене прижавшись боком,  
Накрытый сонными крыльями.

В моей каморке одинокой  
Поют бутылки под столом,  
Лежу, уткнувшись в полночь оком,  
С распахнутым во тьму челом.

В моей каморке ночь и брага,  
Танцуют двери на траве,  
А я лежу на левом шаге,  
Сжимая солнце в голове.

\* \* \*

Безлюдно здесь.  
Сон за дверями.

И к небу месяц прилипает.  
Кружат, петляют меж домами  
осиротевшие трамваи.

А там в селе...  
И телу снится —  
где-то в селе в ночь ив бессонных  
девчонка держит на ресницах  
тьнь тишины ночной стотонной.

\* \* \*

*Ирине Сидор, лемкине,  
от которой записал более 200 песен*

Ещё малышкой научили меня петь песни коров.  
А та, словно вишня, на кончике рога с росой — пела грустную.  
Ох, та, словно вишня.

А эта зеленая, на кончике рога с листочком — пела с приплясом.  
Ох, эта зеленая.

А та голубая, на кончике рога тонко — пела про слоника.  
Ох, та голубая.

Бабця, а где ж те коровы?

Поумирали, сынку, поумирали...  
И эта зеленая,  
И та голубая,  
И та, словно вишня.

\* \* \*

Кого-то нет, кого-то не хватает,  
меня или кого-нибудь ещё,  
здесь, на земле, и в комнате вот этой,  
и в зале  
не все, не все как будто собрались.

День голубой и рядом город млечный,  
стекает время и скользит из рук.  
Приду опять ко всем и ни к кому, конечно,  
кого-то нет, всегда кого-то нет.

И ты, и я, нет,  
мы не одиноки,

но вместе ли, если кого-то нет?  
Он никуда не шёл, не приходил ни разу,  
неправда, мы не все,  
ещё не все идём.

Светает сердце, рядом рой цветочный,  
река неподалёку, и гнездо.  
Сбегаемся, нащупываем, кличем  
того, кто опоздал, чтоб всем хватило всех.

\* \* \*

Вчера  
сегодня  
завтра  
послезавтра...  
Дни так тесно сжались словно кольца,  
в сердцевине деревьев.  
Все слипаются и слипаются  
в чью-то краткую жизнь или дольше...

Не уснуть, не уснуть мне.

Лежат на дороге дни, как киты,  
держатся за животы  
держатся за головы.  
Дни без окон и без дверей,  
пустые, как бубны, и полные людей.  
Дни — самоцветы,  
дни — кометы,  
дни покрашены, как штахеты.

Не уснуть мне никак — беда —  
жизнь моя подо мной тверда.

И вдруг летне-летняя тишь дождя...  
то явилась ты,  
ясная, как лунная ночь...  
Мама,  
покатились камни из твоих глаз  
покатились дни,  
мама.

\* \* \*

Голос колодца,  
соблазнитель ушей и окрестностей.

В горле колодца  
качаются чёрные ведра.

В душу колодца  
как в прорубь ушли ступени.

Над ним дни без ветра, роение, шелест,  
и кружит времени птица.

Полон рот  
голоса,  
клёкота,  
грохота.

Это голос колодца —  
в нем утонуть можно,  
это голос первичного света —  
им захлебнуться можно.

Я его поднимаю, как тост,  
за того,  
кто букет головы не склонил,  
за того,  
кто расцвёл на коленях,  
за того,  
кто возносит всё выше и выше  
этот голос колодца.

\* \* \*

Вознамерилось солнце взойти,  
светает в гнезде,  
в камне,  
в сердце.  
А деревья тугими корнями  
выгребают теней синь.  
Утро.

Аминь.

\* \* \*

Ищем  
что-то  
вместе  
поодиночке

а нас  
матери  
высматривают  
из рая  
каждой  
морщинкой  
на лице.

\* \* \*

Флейты дождя  
Вонзились в землю.

Синеглазые  
Кони  
Помчали  
Помчали  
Смотреть.

Белые флейты дождя  
Галопом.

\* \* \*

Будущее  
Так сосредоточено,  
А мы торопимся  
В него,  
Обескураженные...

\* \* \*

Вот место  
нашего поцелуя.  
Испекли его  
мы устами  
и упрятали  
в птичье гнездо.  
Потом поселились в дупле,  
обмотались корою  
и под ветром качались  
вместе  
с деревом,  
гнездом,  
поцелуем.

\* \* \*

Знаю, ночка, знаю,  
Что мигают звезды,  
Что лежу под ними  
За селом во ржице.  
Но о чём страдают,  
Но о чём мечтают  
Те, что здесь со мною  
Прячутся в ресницах.

Знаю, ночка, знаю,  
Что пасусь в мечтаньях,  
Только кто же, кто же  
В этом виноватей —  
Заблудилась девушка  
В ласковых объятьях,  
И домой дорожки  
Не найти никак ей.

\* \* \*

Наши предки —  
мечами тесаны до костей,  
наши предки —  
с копий кормлены по горло,  
но твердыми глазами  
они видели нас.

Наши отцы —  
штыками татуированы,  
наши отцы —  
пулями сверлены насквозь,  
но твердой кровью  
они зачали нас.

\* \* \*

Лежит лицо на тротуаре.  
Ну ж распознайте — это кто?  
Мелькают мимо тени, пары,  
Мчат бестолковые авто.

Лицо на путь упало косо,  
Его обходят дни, как прах,  
Когда-то так, худы и босы,  
Валялись дети в будяках.

Ему бы крикнуть, только кожа  
Дрожит больнее, чем струна.  
Своё лицо найти не может  
Какой-то человек среди нас.

Когда и от кого сбежало?  
Зачем из глаз так рвётся крик?  
Я подошел, а рядом ало  
Светился вырванный язык.

\* \* \*

Не надо тёрна и тюрьмы,  
Не надо гневаться ветрами,  
Если упал я — подними  
Всеми весенними ветвями.

И хмуро взгляд не отводи,  
горят во мне столетий шрамы,  
Если блуждаю, позови  
Всеми напевными ручьями.

Я — твой огонь, а ты мой край.  
Не будем враждовать сердцами,  
Коль испугаюсь — покарай  
Всеми свинцовыми дождями.

Пусть я должник. Не в этом суть.  
Душой дороже, чем деньгами.  
Если отчаюсь — позабудь  
Всеми моими сыновьями.

\* \* \*

Во рту человека  
вулкан зашнурованный.

Заботливо отглаженные крылья  
висят в шкафу  
на гвоздике.

Стебли молчания  
от пола до горла, до нёба.

Во рту человека  
всё тот же  
восход и закат солнца,  
всё тот же  
пейзаж зашнурованный.



Иногда в нем  
заблещет молния.  
А потом снова  
глубокий  
глубокий  
вздых.

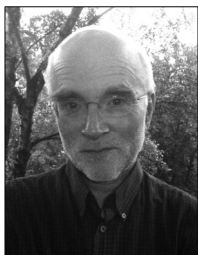
Крылья на гвоздике,  
Изрядно поношенные,  
Мышами изъеденные —  
укладываем под дверь  
и вытираем ноги.

Зачем нам летать, если стены, потолок,  
воздух разрисованы крыльями?  
Навзничь лежим на полу,  
демонстрируем пальцем —  
кому,  
когда,  
какие и как  
приглянулись.

\* \* \*

В час ранний рождения солнца  
деревья, прижатые к стенам,  
боятся лестниц,  
далёкие руки любимой  
тоже страдают.  
В час ранний рождения солнца,  
ноги взбивают пыль,  
над кирпичной вазой  
седое дитя дыма  
тянет вверх шею.

Крону моей памяти  
полну-полнёхоньку гнёзд,  
полную птичьего щибета  
армада лестниц окружила.  
Крона во мне болит  
вокруг,  
вокруг,  
руки любимой щемят  
далеко,  
далеко,  
в час ранний рождения солнца.



## Михаил СУХОТИН

/ Москва /

### САМИЗДАТ НА ПАПИРОСНОЙ БУМАГЕ

*Николай Боков. Созерцания и вздохи. — Париж: Editions de la Caverne, 2015.*

Кого-то из читателей этот сборник стихов, наверное, удивит: автор гораздо больше известен как прозаик. Книга «На улице Парижа», изданная в 1998 году во французском переводе с предисловием знаменитого покровителя бедных и бездомных Аббата Пьера, в своё время стала бестселлером.

Философ с университетским образованием, он эмигрировал в 1975 году из Москвы после преследований КГБ. Помню как в 74-ом, оканчивая школу, мы с друзьями тайно передавали друг другу и читали в самиздате на папиросной бумаге<sup>1</sup> памфлет Бокова «Похождения Вани Чмотанова», где главный герой играл роль Ленина, лёжа вместо него в мавзолее. В то время срок можно было получить не только за авторство, но и за «хранение и распространение антисоветской литературы». Именно С. Бычкову, Н. Бокову и небольшому кругу их друзей и единомышленников история русской поэзии обязана первыми самиздатскими поэтическими сводами таких известных сегодня поэтов как Г. Айги и Я. Сатуновский. В эмиграции Боков с конца 70-х несколько лет ещё продолжал издательскую деятельность. В основанном им журнале «Ковчег» (вышли 6 номеров) публиковались Г. Оболдуев, Л. Чертков, С. Красовицкий, Е. Мнацаканова, Г. Айги, Я. Сатуновский, Вс. Некрасов, М. Соковнин, А. Амальрик, Ю. Мамлев, Д. Пригов, А. Монастырский, Э. Лимонов и многие другие авторы, большинство из которых оставались в России. На сегодняшний день важность

---

<sup>1</sup> Характерно, что спустя почти полвека, подготовленные Боковым в «Амзоне» книги, не забыли своего родства с самиздатом: сам-себя-издательство «Editions de la Caverne» ещё недавно производило на свет его книги с обложками из обоев.

этого журнала бесспорна. А были ли отзывы на него тогда в эмигрантской прессе? Разве что один неодобрительно зауспокойный, под занавес, когда у журнала не было больше средств для существования — Марка Сергеева в «Русской мысли».

С середины 80-х Боков странничал, путешествовал по святым местам как SDF (человек без определённого места жительства), о чём многие его рассказы и повести, изданные уже в 2000-х после его «возвращения в мир». С тех пор он активно пишет, в том числе и как блогер.

В «Созерцаниях и вздохах» — стихи за последние 5 лет, некоторые из которых автор помещал в своём фейсбуке, так сказать, на горячую руку обсуждая их с читателями. Такой способ письма-презентации переключается с тем, что сам он пишет о сиюминутной «оперативности» в предисловии к книге: «Ещё нужно сказать об оперативности поэзии по сравнению с прозой. Эта последняя — всегда полотно и картина, её нужно готовить, а время идёт, чувство вянет, и когда появляется подходящая ему страница, это уже не живой цветок, а сухой, пусть и роскошный, из гербария, что тоже не лишено достоинств, конечно. Но утренняя бегунья уже пробежала, возмущенье прошло, горечь растаяла. В стихотворении всегда тень сангвиника Пушкина, в прозе же нечто от Будды».

Временной диапазон поэтических форм и приёмов весьма широк в сборнике Бокова: от назиданий потомству («Торжественно»), обычного для эпохи классицизма, или, скажем, от сентиментальных идиллий («Победа») и до современности. Причём все эти формы видятся автором с определённой дистанции, как формы второго прочтения, хорошо известные и узнаваемые. Не случайны поэтому и часто встречаемые аллюзии: «Ночь, улица, фонарь, аптека» Блока («и аптекарша лежит расстреленная»), «Юнкер Шмидт» Пруткива («А теперь он Мессершмидт»), «Новые стансы к Августе» Бродского («Новые стансы в августе») и т.п. Здесь есть и лаконичный философский афоризм, и стих-хроника, и «вещий сон» с мрачным предсказанием, и откровенно эротические стихи, и реакция на последние политические события, и стих-молитва... Гекзаметр, белый стих, сонет, верлибр, повторы и схемы высказываний, возводимые автором к конкрет-поэзии, тексты, выросшие из фрагментов писавшейся тогда же прозы — только беглое перечисление формального разнообразия книги.

Особенно интересны, на мой взгляд, эти «прозаические стихи». Когда Жюль Ренар, например, писал стихотворения в прозе, его интересовал именно образный мир стиха, каким он тогда представлялся, с присущими ему тропами и открытостью к обобщениям, имеющий начало и конец, но просто высказанный на языке прозы. Видимо, тогда так получалось «разговорить» поэтический язык. У Бокова же совсем не так. Его «прозаические стихотворения» всегда связаны с ситуацией за кадром, которую автор только предлагает читателю угадать. Так

текст «У грота» начинается словами: «Он ждал у фонтана Медичи в Люксембургском саду», а затем даётся только описание скульптурной группы, где «огромный Полифем в / грот заглядывал, где Галатя нежилась в объятиях / — ах, кого же? Запомнювал». То, что герой ждёт любовного свидания — почти наша уверенность. Но из чего мы исходим? Из ситуации сборника? Ситуации автора? По сути «У грота» — фрагмент какой-то большей прозы, но именно благодаря своей отъединённости от неё, этот фрагмент начинает демонстрировать где-то на границах разрыва свою ситуативную природу, действительно, на тех же основах современной поэтики, что были заложены ещё Вс. Некрасовым и М. Соковниным, хорошо знакомыми автору по его жизни в России.

Вообще «фрагментарий» — это собственно Боковский жанр. Так же называется и одна из его книг, и фрагментность — это, наверное, свойство не просто его мышления, но и мировоззрения. Тем интереснее, что такие тексты как «У грота», «Вы не будете спорить с человеком», «Река Гераклита», «Сущее» чередуются в сборнике с вполне устоявшимися формами регулярного стихосложения, которые я уже здесь упоминал. Они как бы оспаривают право на поэзию с другой территории (прозы), и это тоже Боков.



# Лев БЕРДНИКОВ

/ Лос-Анджелес /

## БОДРАЯ СИЛА

Рашель Мироновна Хин (1863–1928) снискала славу видной русской и русско-еврейской писательницы, как писал её современник, «одарённой чуткою, отзывчивою душой, любящей правду настолько, что имеет смелость высказывать её, не раздумывая над тем, как кто отнесётся к убеждениям». Уроженка черты оседлости, она происходила из ассимилированной семьи богатого еврейского фабриканта и не знала ни иудейской веры, ни языка предков. Родители ее рано переехали в Москву, где Рашель окончила 3-ю Московскую женскую гимназию. Широкое же гуманитарное образование она получила в парижском Коллеж де Франс и Сорбонне.

Заметная личность, яркий драматург, блистательная мемуаристка, она на рубеже веков держала модный литературный салон в Москве, ставший местом паломничества передовой интеллигенции. Ученица Ивана Тургенева, она печаталась в ведущих русских и русско-еврейских изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Авторитет Хин был в своё время столь высок, что мог сравниться разве что с Владимиром Соловьёвым и Максимом Горьким.

Хин думала и писала о России, о её людях. Однако исследователи говорят о двойной цивилизационной идентичности писательницы — русской и еврейской. И если еврейская составляющая её творчества сколько-нибудь изучена, русские темы и сюжеты по существу остались вне поля зрения исследователей.

Первая её публикация — в ежемесячном журнале «Друг женщин», издаваемом в Москве в 1882–1884 гг. под редакцией Марии Богуславской. Журнал объявил своей задачей «предоставление женщинам высказывать свои суждения обо всём, что их касается, о своих нуждах и потребностях» и сосредоточился главным образом на их религиозно-нравственном воспитании. Первое выступление Хин в печати вполне вписывалось в программу издания. Речь идёт о просветительском очерке «Судьбы русской девушки», посвящённом народным свадебным обрядам (Друг женщин, 1883, № 2). Автор говорит здесь о народных нравах и обычаях, как о живых отголосках стародавних времён. Она раскрывает глубокий смысл свадебного ритуала, даёт картину последовательного развития форм брака в связи с судьбою девушки. При этом использует сборники фольклора, иллюстрируя

материал яркими примерами из народных песен. Хин демонстрирует широту взгляда, обращаясь к трудам о первобытной культуре и истории цивилизации Джона Леббока и Эдуарда Беннета Тейлора, а также этнографа Матиаса Александра Кастрена, путешествовавшего по северной России и Сибири, описывает свадебные обряды русские, малоросские, белорусские самоедские, сербские, лужицкие, мордовские; особое внимание уделяет таким обрядам, как свадебные плачи, куплю-продажу, похищение, уход и увоз невесты, обоюдные договоры, битьё плёткой, смотрины и глядины, и т.д. Её вывод: изучать народный быт — превостепенная необходимость, «хотя бы по отношению к одному из частных вопросов — вопросу о судьбах девушки в различные эпохи общественного развития».

В следующем же номере журнала «Друг женщин» (1883, № 3–6) появилась повесть «Из стороны в сторону». Уже в ней выявляется стремление Хин к показу характера характер в его становлении. Американский литературовед Кэрл Бэйлин подчёркивает: «Повесть Хин предостерегает читателя — это мужчины могут положиться на женщину в эмоциональном и материальном планах; женщина же, всецело доверившаяся мужчине, обречена на несчастье». Интересно, что писательница не обошла вниманием феминистские тенденции в современном ей российском обществе. Она создаёт пародийный воинствующей феминистки, чьи слова и дела доведены до полного абсурда. «Языком горы ворочает, а на деле дрянь выходит», — говорит об этой кликушествовавшей особе один из персонажей повести.

Впрочем, эти образы рефлексирующих, мятущихся женщины стоят особняком в творчестве писательницы. Уже три её последующие произведения 1886, 1890 и 1891 годов, впоследствии объединённые в книгу Хин «Силуэты» (1894) могут рассматриваться как единый цикл. Соединяет их сродство главных героинь, с их преданностью делу, твёрдой жизненной позицией. Как отметил литературовед Семен Венгеров, героини Хин «всегда представляют собой соединение ума, красоты и благородства». Это женщины сильные, самодостаточные, с крепкой нравственной заковкой, которые хотя «иногда и теряют головы перед ударами судьбы, но... опять поднимают голову и продолжают биться до конца. При этом у Хин нет нытья и слащавости, везде бьют ключом бодрая сила и живая энергия». Заметим, что именно такой образ женщины, независимой и самодостаточной, культивировался адептами российского феминизма конца XIX века. Прозу Хин и рассматривали в этом ключе, отмечая, что она «пишет с чисто женской точки зрения, останавливается на тех мелочах, которыми любят заниматься женщины и трогают женское сердце».

Очерк «Силуэты» (Русская мысль, 1886, № 8–9) посвящён борьбе за самостояние и место в жизни молодой художницы Нины Высогорской и её жизни во Франции. Русскую колонию эмигрантов в Париже Хин изображает «в однотонном сером колорите». Это люди вечно празднующиеся, «затянутые в беличье колесо кружковой жизни», кажутся «искалеченными». И не случайно у героини возникло желание непременно вернуться домой, в Россию. Но протрезвление настало быстро. «Дикая, алчная, ничем не сдерживаемая погоня за карьерой и беспечальным житием — вот что нашла Нина на родине». Она в отчаянии: «Меня одолела эта пошлая мещанская яма; я и сама не знаю, чего хочу. Стыдно, стыдно!» Единственно, что её спасает в этой ситуации — творчество, и она с головой уходит в работу. — Её талант выручит, — говорят о Нине окружающие.

Повесть Хин «На старую тему» (Северный вестник, 1890, № 1) отличается «свежестью, душевной теплотой и глубоким нравственным настроением» (Русское богатство, 1890, № 1–2). А в её главной героине Татьяне Обуховой, умной и цельной, критики находили сходство с Татьяной из «Евгения Онегина», впрочем, Татьяны новой, сознательно убеждённой. Это чуткая, чистая глубокая натура. Но даже малопривлекательные персонажи под пером Хин обретают известную многомерность: «в самой, казалось бы, загрубелой душе, одичавшей от самодурства, озверелой от пьянства она своим чутким ухом умеет различать самые нежные звуки и ясно передаёт их, вызывая ярость к падшим и сочувствие к страдающим».

Обращают на себя внимание образные выражения автора, обладающие афористической меткостью: «Всю жизнь был благородным дворянином, собаку через ять писал... Я кругом запечатана... Она даже не хандрила, а как-то застыла в своей печали... .. Она из тех, кто умирает с улыбкой на устах, чтобы не огорчить окружающих... Облагонамерились... Перестаёт говорить и речет, как пророк».

В повести «Наташа Криницкая» (Русское обозрение, 1891, Кн. 3, № 6) конфликт поколений — легкомысленной и ничтожной матери и чуткой, с твёрдыми нравственными принципами дочери. Мать, Софья Петровна, уверена, что судьба, щедро осыпавшая её дарами, будто назло, забыла дать один — богатство. Она уверовала в свою неотразимую красоту, которой все должны поклоняться. Покорять, царить, возбуждать восторг стало её потребностью. Наташа совсем другой закалки, это натура цельная, к людям участвующая: «Я выросла среди труда. Молодёжь нашего завода — это ведь все мои товарищи и подруги». Наташа чётко формулирует своё жизненное кредо: «Я верю, слышите, несмотря ни на что, верю, что есть люди, для которых слово любовь не значит только любовь к женщине, которые имеют мужество громко стоять за то, что они считают правдой и не боятся показать слишком много участия бедняку». Деятельная любовь к людям — вот что держит Наташу Криницкую и ведёт её по жизни.

Как видим, героини писательницы побеждают обстоятельства тем, что угадывают и находят своё главное предназначение. Одних спасает талант («Силуэты»), других — живое дело, забота о детях («На старую тему»), третьих — деятельная любовь («Наташа Криницкая»).

Резюмируя отзывы на эти повести Хин, отметим единодушные критиков в оценке «хорошего литературного языка рукою нервной до страстности женщины». И как тут не обратиться вновь к афористичности её стиля. В тексте то и дело встречаются колоритные фразы: «Высокомерная порядочность российского индифферента.... Страдающий человек лучше, чем блаженствующая скотина (трезвый практик)... Искренний человек — дикарь, который лезет с дубиной на всякого, кто ему не по нраву... У меня в жилах кровь течёт, а не кислая простокваша» и др.

Указывалось и на то, что «у писательницы есть в достаточной мере то, что Тургенев называл "выдумкой"; в повествованиях же нет ничего придуманного, то есть деланного и насильно притянутого эффекта. Зато содержался призыв к взаимной деятельной любви, к доброжелательству, к созданию таких семейных и общественных отношений, при которых в семье и обществе можно было жить "по-человечески"».

Остановимся на произведениях писательницы, включённых в её сборник «Под гору» (1900). Художественно-тематический диапазон здесь заметно расширяется. Как об этом писала авторитетная «Галерея русских

писателей» (1901), теперь «Хин сосредотачивает внимание на выяснении пустоты и фальши аристократической салонной культуры, пошлости буржуазной среды — среды модных адвокатов и модных докторов».

Рассказ «Одиночество» («Из дневника незаметной женщины»), опубликованный ранее в «Вестнике Европы» (1899, Т.5, Вып. 9-10, Сент.), интересен не столько самой свыкшейся со своим духовным одиночеством героиней, убеждённой (точнее, давшей себя убедить) в отсутствии у неё какого-либо таланта и целиком растворившейся в семье, сколько её домочадцами — дочерью Лили и мужем, модным адвокатом Юрием Павловичем. Первая эгоистична и чрезвычайно своеобразна, деньги для неё они — «винт, на котором вертится мир». И сама Лили, и её молодое окружение — поколение скептиков, они решительно ничему не удивляются, не ведая ни трепета, ни восторга, ни робости, ни сомнений. Такие считают хорошим тоном смотреть на жизнь с презрительной усмешкой.

Под стать дочери и её отец, достигший в юриспруденции степеней известных. При этом Хин, знаяшая адвокатскую среду не понаслышке, ориентировалась здесь на вполне реальный прототип. Впрочем, карьера некоторых адвокатов — из прогрессистов в реакционеры — было явлением не редким во все времена. Вот и Юрий Павлович, когда начал входить в моду, слыл западником и выиграл несколько громких процессов. Он тогда любил разглагольствовать на тему дикости русской жизни, при этом тонко давая понять, что разве только где-нибудь в Англии человек его таланта мог бы найти надлежащий простор. Но со временем всё поменялось решительным образом: он более не восторгался эпохой великих реформ. Им овладел индифферентизм, и если он где и хотел казаться искренним, то только в сфере красивых и безопасных ощущений. Жанр текста Хин «Последняя страница» (Под гору. М., 1900, С. 201-247) определён как «отрывок». И в самом деле здесь выхвачен день из жизни русской эмигрантки в Париже, сумасбродной графини Прасковьи Львовны Бежецкой. Эта бывшая красавица (а ныне толстая маленькая фигурка с жёлтым одутловатым лицом), пребывает в вечно раздражённом настроении и злословит в адрес окружающих. Эгоцентрик и мизантроп, Бежецкая патологически скаредна, тиранит всех вокруг. Небольшой эскиз Хин «После праздника» (Под гору. М., 1900, С. 311-323) с описанием шумной разноязыкой толпы изысканно одетых кавалеров и дам на Медицинском конгрессе навеивает скорее меланхолическое настроение, мысль о скоротечности бытия.

В центре эскиза «Ёлка» (Под гору. М., 1900, С. 321-341) хлопотливая домоправительница Марья Егоровна Василькова, занятая украшением рождественской ёлки в богатой семье. Она вынуждена терпеть хозяйский гнев, жестокость детей, подавляя в себе чувство незаслуженной обиды, бессилия и одиночества, поскольку в конце концов *привыкла* к такому обращению. Сколько же на своём веку она украшала таких ёлок чужим детям! «Это — ёлка одиноких».

«Повести Хин задуманы небанально и читаются с интересом», — отмечали критики. Но особая ценность их в том гуманистическом послые, который автор доносил до читателя. И современники это понимали и принимали: «Хин верна одной религии — добра и справедливости, что всего выше, эта *глубоко симпатичная* писательница с непоколебимую мягкостью, истинно гуманно относится к порочным, испорченным и обездоленным.... Она своим чутким ухом умеет различать самые нежные звуки и ясно передаёт их, вызывая милость к падшим и сочувствие к страдающим».



КРЕЩАТИК  
(Перекресток)

Международный  
литературный  
журнал

Главный редактор издательства  
*И.А. Савкин*  
Дизайн обложки *И.Н. Граве*  
Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*

Издательство  
«Алетейя»,  
192171, Санкт-Петербург,  
ул. Бабушкина, д. 53.

Подписано в печать 28.07.2016. Формат 66x88<sub>1/16</sub>.  
Усл.-печ. л. 21. Печать офсетная. Заказ 114  
Тираж 500 экз.

# KRESCHATIK #73

П Е Р Е К Р Е С Т О К

[www.kreschatik.kiev.ua](http://www.kreschatik.kiev.ua)  
[www.magazines.russ.ru/kreschatik](http://www.magazines.russ.ru/kreschatik)

Мы – в неустанном поиске  
новых имен, неизвестных авторов,  
где бы они ни жили – в Киеве,  
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке  
или Мюнхене, мы – перенесенный в  
ментальное пространство проспект,  
как бы он ни назывался  
в каждом городе, где когда-то  
завязывались великие дружбы,  
писались великие стихи,  
происходили знаменательные  
встречи...

